

СОФЬЯ ТОЛСТАЯ



Нина
Никишина



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Эта книга будет безусловно интересна ценителям творчества Льва Николаевича Толстого. Быть спутницей жизни гениального человека необычайно сложно. Культуролог и писатель Н. А. Никитина рассказывает о Софье Андреевне Толстой, разделившей судьбу классика русской литературы и посвятившей после его смерти свою жизнь сохранению его памяти.

- [Софья Толстая](#)
 - [Глава I. Круг замкнулся](#)
 - [Глава II. Fatum](#)
 - [Глава III. Три сестры](#)
 - [Глава IV. На пороге любви](#)
 - [Глава V. Первенец](#)
 - [Глава VI. «Фарфоровая кукла»](#)
 - [Глава VII. «Цыц, девы!»](#)
 - [Глава VIII. Форс — мажор](#)
 - [Глава IX. «Не люблю хозяйства никакого»](#)
 - [Глава X. Детская](#)
 - [Глава XI. «Творить, хотя бы шить»](#)
 - [Глава XII. Тридцать три](#)
 - [Глава XIII. «Всё на моих руках»](#)
 - [Глава XIV. «Родильная машина»](#)
 - [Глава XV. Зазеркалье](#)
 - [Глава XVI. «Семь человек и я восьмая»](#)
 - [Глава XVII. «Сержусь и возмущаюсь!»](#)
 - [Глава XVIII. «Тысячи мелочей»](#)
 - [Глава XIX. «На разных дорогах»](#)
 - [Глава XX. «Я souffre-douleur»\[1\]](#)
 - [Глава XXI. «Под фирмой жены»](#)
 - [Глава XXII. Натурщица](#)
 - [Глава XXIII. Спальня](#)
 - [Глава XXIV. «Une victime»\[2\]](#)
 - [Глава XXV. Заколдованный круг](#)
 - [Глава XXVI. Консерваторская дама](#)
 - [Глава XXVII. Сиделка](#)

- [Глава XXVIII. «Не удержать!»](#)
 - [Глава XXIX. «Кипела в смоле»](#)
 - [Основные даты жизни С. А. Толстой](#)
 - [Библиография](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Софья Толстая

Глава I. Круг замкнулся

После смерти мужа Софья Андреевна чувствовала себя одинокой и ненужной. Для нее наступил теперь совсем иной отсчет времени. Она постоянно болела и уже вся была в прошлом. Все валилось из ее рук. Прожив с Львом Николаевичем почти полвека, она никак не могла поверить, что там за холмом, на краю оврага Старого Заказа, в лесу лежит он, вторая ее половина.

Это чувство потерянности, пустоты, страха делало все вокруг, даже дом, ее гнездо, столь заботливо свитое, нежилым, сиротливым, чужим. «Одиноко и тяжело», «страшно и будущего нет» — именно с такими мыслями она просыпалась и засыпала. Ей не надо было больше «писать» меню повару с неременной пометкой — «для Льва Николаевича», не надо было больше проверять, что он надел и куда вышел... Не надо... И от этого мертвенного «не надо» вся ее жизнь, казалось, теряла смысл.

Смерть мужа сплотила семью, сблизила ее с младшей дочерью, расставив все по своим местам. Теперь близкие относились к ней особенно душевно и заботливо. И все же, несмотря на приезды детей в Ясную Поляну, усадьба пустела, и эту пустоту не могла заполнить даже любимая сестра Татьяна. Что уж говорить о милейшем докторе Душане Маковицком, прозванном за кроткий нрав «Душой Петровичем», или о «Жюли — Мули» — Юлии Ивановне Игумновой, секретаре — помощнице и подруге дочери Александры.

Радоваться Софья Андреевна разучилась совсем. Ведь любимые сыновья покинули ее. Например, Илья «уехал с какой-то дамой в Америку», Лёва одно время находился где-то за границей — то ли в Швеции, то ли во Франции, в Ницце, а где теперь, ей было неизвестно. Она также не знала, где обитает младший сын Миша с семьей. Был вроде на Кавказе, но где сейчас, она себе даже не представляла. Переживала, что ее дочь и сын, Саша и Сережа, голодают в Москве.

Теперь ее и близких охраняло в Ясной Поляне шестеро красноармейцев, проживавших в доме, в комнате под сводами. Она привыкла к ним, ей даже казалось, что они хорошие ребята, но все-таки было не по себе от сознания, что в доме находятся посторонние люди, и к тому же вооруженные. А в сентябре ночью прибыли красноармейцы с командиром, которые заняли четыре комнаты, «завели» грязь, беготню по дому и по Ясной Поляне.

В общем, ей казалось, что жить в Ясной Поляне стало плохо: провизия быстро «подбиралась», сама же она была не в силах что-то изменить. Тем временем незаметно наступил 57-й свадебный день, и она пошла на могилу мужа. Жизнь уходила в вечность, и Софья Андреевна готовила себя к скорой встрече с ним, лежащим под этим могильным холмом. Силы убывали. А ей надо было заботиться о своем пропитании, думать о еде для старшей дочери и внучки, проживавших во флигеле Кузминских вместе с семьей бывшего зятя Николая Оболенского. Она устала от непосильных забот, связанных с сохранением наследия мужа, и передала ключи от ящичков с его рукописями, находящимися в Румянцевском музее, своему сыну Сергею.

Тяжело становилось и оттого, что до нее доходили гнусные пересуды о ее супружеской жизни. О ней, прожившей бок о бок с гением 48 лет, говорили много дурного, на ее голову сыпались обвинения в том, что она довела мужа до того, что он на старости лет покинул Ясную Поляну. Ее сравнивали с Ксантиппой, доставлявшей уйму проблем своему мужу Сократу. Этот омерзительный образ прилип к ней словно вторая кожа.

Софья Андреевна нередко задумывалась: соизмерима ли ее жизнь с ним, ставшим мировым достоянием, великим Львом? Да, она не последовала за ним в его новых идейных исканиях, не повторила судьбу героических жен декабристов, променявших домашний уют на сибирскую каторгу ради убеждений своих мужей. В ней, как она понимала, столкнулись два сильных чувства, вполне равновеликих — любовь к мужу и любовь к детям. Ее выбор был очевидным. Софье Андреевне казалось, что свою семейную дилемму «кто прав и кто виноват?» она решила: никто. Ведь страдали все: и муж, и дети, и она.

Конечно, существовала и совсем иная точка зрения на ее домашний конфликт, в котором она представляла как лицо страдающее, как ангел — хранитель своего мужа, образец для подражания, идеальная жена. Но Софья Андреевна была убеждена, что истина находится посередине, хотя бы потому, что все представления о ней — это некий взгляд со стороны. Воображаемые биографы рассматривали только видимую сторону ее жизни, не зная того, что было скрыто внутри. Все представления о чьей-либо чужой жизни — насквозь мнимые, надуманные, а потому фальшивые. Разве можно, например, расценивать ее влияние на мужа как оппозиционное? Вряд ли. Скорее, оно было регулирующее. Да, в их совместной жизни все было не так гладко, как хотелось бы, но кто вправе судить ее? Ведь вытерпеть гения может только любящая жена. Разве она недостаточно любила его, не была «нянькой» его таланта?

Словно предчувствуя лицемерие в своей постжизни, один мудрый писатель решил оставить своим потомкам двойные письма: одно он отсылал адресату, а другое, в котором откровенно писал то, что думал о себе, оставлял неотправленным. Софье Андреевне такой прием казался вполне оправданным.

Надорвалась ли она, неся такой непосильный груз? Достигла ли успешных результатов в гармонизации своих супружеских отношений? Удалось ли ей, по крайней мере, не надоесть мужу? Софья Андреевна мучительно искала ответы на эти непростые вопросы и утешала себя тем, что не стала серой мышкой и обыкновенной домохозяйкой. Она всегда стремилась к большему — к сотрудничеству с мужем, не ограничивая своей компетенции ролью секретарши. Ей удавалось вдохновлять его. Она-то прекрасно понимала, что целый сонм мужниных героинь в чем-то был схож с нею, был «списан» с нее.

Подводя итог совместной жизни, она часто задавалась вопросом: была ли она счастлива с ним? Безусловно, ее счастье было прерывистым, своенравным, не вписывавшимся в магическую формулу халифа Абдурахмана, уместившего свое счастье всего в 14 дней. Нет, ее счастье было значительно больше. Она находила его в материнстве, в сотворчестве с мужем, в семейных радостях и, конечно, в своей профессии «жены писателя». Софья Андреевна была для Льва Николаевича всем — и музой, и слушательницей, и советчицей, и переписчицей.

Жизненное благополучие, доставшееся ей с таким трудом, не пошло прахом. Многие годы бушевала ее любовная буря, заставлявшая терзаться и терзать. Она преодолела в себе многое, в том числе и честолюбивые порывы — сочинять подле мужа. Она смогла обуздать эти страсти, поняв, что писать рядом с ним просто глупо.

Но ее деятельная натура не знала покоя. Она налаживала усадебный быт, заботилась о домашнем комфорте, воспитывала детей. С годами ей открылась простая истина: семейное счастье достигается только незаурядной любовью. Свой смысл пребывания в Ясной Поляне она теперь видела в увековечивании памяти мужа, в сохранении его «колыбели и могилы». Это было, по ее мнению, лучшее лекарство от забвения.

Что теперь видели ее стареющие глаза, когда его не было рядом? Пожалуй, всю совместную жизнь, промелькнувшую словно мгновение. Теперь ей хотелось все разложить по порядку, вернуться к тем магическим августовским «стальным» дням, когда они стояли на пороге любви.

Глава II. Fatum

Соня знала, что судьба бережет того, кого лишает славы. Была ли она любимицей судьбы? Кажется, да. Спустя годы многое, что происходило в ее жизни, воспринималось совсем не так, как прежде, когда все только начиналось. К старости многое уяснилось и улеглось. Страх одиночества отпустил, силы возвращались к ней, как и воспоминания, нахлынувшие с новой силой.

Она медленно погружалась в самую счастливую пору своей жизни, связанную с чудными лунными ночами, проведенными с «милым comte» на даче в Покровском — Глебове близ Москвы. Как будто снова оказалась она на той самой поляне, ярко освещенной полной луной, отражавшейся в ближайшем пруду и словно купавшейся в нем. Этот образ августовских бодрящих, свежих ночей стал тогда для нее очень чувственным, наполненным эротическим томлением, игрой воды и луны, действующих возбуждающе.

Магическая сила воды и луны совершала почти невозможное — словно отрывала ее от земли и поднимала ввысь. Она вслушивалась в звуки ночи, предчувствуя любовное признание. Словно заново проживала она этот счастливый миг, который запомнила в мельчайших подробностях, убеждаясь, что жизнь не то, что прожито, а то, что запомнилось. Ей было что вспоминать.

Высокая луна, блеск пруда, призрачный свет, черные глубокие тени от деревьев — все это позволило ей назвать те далекие ночи «сумасшедшими, стальными», ставшими метафорой ее счастья. Как она тогда торопила время, как мечтала побыстрее перевернуть страницу девичьей жизни, простой и легкой, для того чтобы начать совсем иную, незнакомую, но уже такую желанную, взрослую, супружескую жизнь. В тех незабываемых августовских романтических встречах на балконе яснополянского дома или во время их лунных прогулок в Покровском было что-то фатальное.

Считается, что даже такая явная мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света. В жизни Софьи Андреевны не раз случались подобные «взмахи» судьбы. Так, например, правдивая история с двумя представителями родов Толстых и Исленьевых, предопределившая впоследствии их знакомство, осмыслялась ею как несомненный знак судьбы.

Это произошло задолго до ее рождения и было связано с псовой

охотой, страстными любителями которой были отец Толстого и ее родной дед, Александр Михайлович Исленьев, бравый красавец, бонвиван, владелец имения Красное, находившегося в 37 километрах от Ясной Поляны. Их знакомство, переросшее в дружбу, случилось благодаря гончей собаке, подаренной Николаю Ильичу Толстому известным охотником П. А. Офросимовым.

Однажды отец писателя отправился в засеку травить волков, прихватив с собой двух егерьей и обретенную гончую. Охота вышла азартной и особую остроту ей придал этот гончий кобель, промахавший за волком десятки верст и оказавшийся близ исленьевской усадьбы, далеко от Ясной Поляны. Александр Михайлович сразу же узнал в прибившемся к нему кобеле офросимовскую собаку. Он отправил Н. И. Толстому письмо, в котором объяснял, что гончая теперь у него, и он намерен вернуть ее владельцу. Вскоре дружба Толстых — Исленьевых переросла в родство, ставшее возможным благодаря «собачьему следу». Софье Андреевне казалось, что без участия высшей силы здесь не обошлось.

Тем временем судьба продолжала тянуть события в Сонину сторону. Вряд ли ее будущий муж выкинул бы свой «отличный карамболь», женившись на ней, не увидь он ее во сне и не отнесись он к этому сну, как к вещему. Лев Николаевич придавал большое значение сновидениям, которые не раз управляли его поступками. Так произошло и в этом случае. Сохранилась дневниковая запись писателя: «Клубника, аллея, она, сразу узнанная, хотя никогда не виданная, и Чепыж (участок леса в Ясной Поляне. — Н. Н.) в свежих дубовых листьях, без единой сухой ветки и листика». Софья Андреевна была «узнана» им, потому что была увидена в Покровском 26 мая 1856 года, когда была еще «милой и веселой» двенадцатилетней девочкой, к которой тогда он еще не мог испытывать каких-либо матримониальных чувств. Однако ее образ невольно отпечатался в одном из его сновидений.

Толстой предполагал или жениться в 1856 году, или, как он однажды выразился, «никогда». Но то была абстрактная мечта о женитьбе, подпитываемая скорее любимой им тетушкой Татьяной Александровной Ергольской, считавшей, что негоже племяннику быть одному. Тем не менее это было скорее тетушкиным душевным желанием, нежели иррационально — судьбоносным знаком.

Как бы то ни было, сон стал пророческим провозвестником судьбы. Душа, устремленная ввысь, созерцала то, что должно было произойти только через три года. Этот сон, как казалось Софье Андреевне, стал сигналом для его женитьбы, и она, а не ее сестра Лиза, была предназначена

ему сновидением свыше.

В ее жизни было много странных сближений. Присутствие судьбы ощущалось и в повторении событий, происходивших как в жизни ее родителей, так и в ее семейной жизни с точностью один к одному. Так, к моменту свадьбы ее нареченному, как и ее отцу, в момент женитьбы было 34 года. Их венчание состоялось 23-го числа, у нее, как и у ее матери, родилось 13 детей, пятеро из которых умерли в младенчестве. И так же как и у матери, из выживших детей осталось пятеро сыновей и три дочери. Ее мать, так же как и она, была гораздо моложе своего мужа. Похоже, разница заключалась лишь в том, что мать переехала жить в Москву из Красного, а Соня из Москвы перебралась на жительство в Ясную Поляну.

Режиссура судьбы не терпит каких-либо возражений. Она довольно категорична, неотвратима, целенаправленна и неслучайна, как может показаться на первый взгляд. Судьба упорядочивает хаос бытия, зорко следит за развитием земной жизни, управляя ею.

Многое из того, что происходило в жизни Сони, казалось бы, по случайной прихоти, на самом деле решалось где-то там, на небесах. Быть может, именно поэтому ее «Лёвочка» утверждал, что в его женитьбе было «что-то роковое». Судьба привела их к алтарю и в будущем помогла ей предугадывать его мысли. Их совместная жизнь являла собой сочетание возможного и невозможного, представляла некий любовный роман обыденного с необычным, любви со страстью.

Соня не раз задавалась вопросом: могла ли она утвердительно ответить, что разгадала его любовь? Жизнь постоянно опрокидывала ее догадки. Можно ли ей было изменить параболу своего пути? Ей казалось, что все было заранее предрешено. Как говорил Лев Николаевич, для женитьбы необходимы три условия: любовь, рассудок и судьба. В этой триаде Соня на первое место поставила бы судьбу, которой бесконечно доверяла, порой болевая от откровений, приходивших к ней во сне.

Тем временем судьба наводила свои мосты между двумя семействами. Даже в детских хаотичных забавах были заметны ее следы. Так, одна из дочерей Исленьева, Любочка, подружилась с Машей и Лёвой Толстыми (детьми Н. И. Толстого. — *Н. Н.*). Она была чуть постарше их, но это не помешало Лёве влюбиться в нее. Она впоследствии со смехом вспоминала, как он в порыве ревности чуть было не столкнул ее с балкона, видимо, для того, чтобы спустя годы жениться на ее средней дочери Соне.

Сонина мать, Любовь Александровна, в девичестве носила вымышленную фамилию Иславина. Она, как и все ее братья и сестры, была незаконнорожденным ребенком. Их мать, графиня Софья Петровна

Завадовская, в 17 лет была насильно выдана замуж за никчемного человека и пьяницу, князя Козловского. Однажды в Петербурге она встретила Александра Михайловича Исленьева, жуира, поклонника карт и цыган, покорителя женских сердец. Своим рыцарским отношением он сумел обворожить ее до такой степени, что она, не задумываясь, тайно обвенчалась с ним, оставаясь при этом официальной женой Козловского.

Они поселились в принадлежавшем Исленьеву имении Красное, где вели уединенный образ жизни, изредка общаясь с Николаем Ильичом Толстым. Здесь у них родилось шестеро детей, три сына и три дочери. Жизнь Софьи Петровны Завадовской была наполнена постоянной тревогой за судьбу своих детей, вызванной пристрастием мужа к карточной игре. Ведь на кон ставилось не только имение, не раз им проигранное и заново отыгранное, но и будущее ее сыновей и дочерей. Однако судьба наградила ее мужа редким везением. Он всегда отыгрывался. Поэтому их дом по — прежнему оставался полной чашей, а их брачный союз, заключенный на небесах, счастливо просуществовал 15 лет и был прерван неожиданной смертью жены.

Между тем Александр Михайлович недолго вдовствовал, вскоре снова женился, что не помешало ему по — прежнему проявлять отцовскую заботу о своих детях, особенно о дочерях, две из которых уже были невестами на выданье. Он прекрасно понимал, что отшельническая жизнь в Красном создавала большие проблемы с поиском достойных женихов. Поэтому предприимчивый отец решился ради дочерей поменять свой образ жизни. Он присмотрел в центре Тулы на Киевской улице вполне приличный особняк, и вскоре на тридцати подводах перевез весь семейный скарб в город, где и началась для Исленьевых новая жизнь. Любящий отец зря времени не терял, он стал подыскивать женихов, прибегая к простому, но одновременно хитроумному способу: он выставлял на подоконнике подсвечник с зажженной свечой, тем самым как бы приглашая зайти «на огонек» молодых холостяков. Впоследствии эта мода «приходить на огонек» с успехом использовалась его младшей дочерью Любочкой уже в московской кремлевской квартире, когда ее собственные три дочери стали невестами.

Тем временем две старшие дочери Исленьева благополучно вышли замуж. Теперь подрастала и младшая, Любочка, которой исполнилось 15 лет. Она была хороша собой, прекрасно сложена. Но юная темноволосая красавица постоянно проводила время или в одиночестве, или в общении с мачехой и гувернанткой француженкой Мими, которая и скрашивала ее жизнь, занимаясь с ней музыкой и литературой. Так однообразно проходил

день за днем, пока не приключилось несчастье: она так тяжело заболела, что тульские врачи только беспомощно разводили руками, не в силах определить причину недуга. А девушка буквально таяла на глазах. Ее спас случай, под которым скрывалась сама судьба. Нежданно — негаданно в Туле проездом оказался московский врач Андрей Евстафьевич Берс, направлявшийся в Спасское — Лутовиново к Варваре Петровне, матери Ивана Тургенева, у которой он служил в качестве домашнего доктора.

Теперь можно только гадать, каким волшебным образом ему удалось спасти юную пациентку. Помогли ли профессиональные знания или возникшая между ними возвышенная любовь? Похоже, тут на свой лад была разыграна вечная тема «спящей красавицы». После отъезда «спасителя» девушка заскучала и на Рождество занялась гаданием, героем которого стал конечно же он, ее замечательный исцелитель. Она поставила под кровать глиняную чашку, наполненную водой, и накрыла ее дощечкой. Во сне она увидела грудю камней, через которую перепрыгнула благодаря суженому, протянувшему ей руку. Сон оказался вещим: Андрей Евстафьевич Берс, вернувшись из тургеневского имения, сделал ей предложение. К этому времени Любочке исполнилось 16 лет, а жениху 34 года. 23 августа 1842 года они обвенчались и уехали жить в Москву.

Андрей Евстафьевич Берс (1808–1868) был личностью чрезвычайно колоритной. Большой ловелас, знаток высшего света, любимец слабого пола, всего в жизни добивавшийся своим трудом, ведь родители не оставили ему ничего, кроме фамильных легенд и преданий. С успехом закончил Московский университет, после чего отправился в Париж, чтобы сопровождать чету Тургеневых с их сыном. Связь молодого врача с Варварой Петровной Тургеневой оказалась столь крепкой, что у нее в 1833 году родилась внебрачная дочь Варвара (В. Н. Богданович — Лутовинова, в замужестве Житова. — *Н. Н.*). В Париже Андрей Евстафьевич прожил два года, занимаясь самообразованием, слушая лекции по специальности, а заодно приобщался к итальянской опере.

Возвратившись в Москву, похоронив отца, он поселился вместе с матерью, Елизаветой Ивановной, в девичестве Вульферт, которая осталась жить с сыном даже после его женитьбы.

Быстрая и ловкая, она успешно занималась домашним хозяйством и впоследствии благодаря своему веселому нраву стала любимицей своих многочисленных внуков.

Поначалу Любочка чувствовала себя неловко в обществе мужа, свекрови и ее сестры, Марьи Ивановны, которые постоянно находились рядом с ней, делая ей замечания по любому поводу. Чтобы хоть как-то

скоротать время в ожидании мужа, она занималась вышиванием на пальцах, премного в этом преуспев. А одновременно развлекала своих родственниц милой болтовней. Они же помогали ей в изучении французской литературы. Вскоре эти занятия были прерваны ее первыми родами. Всего она родила 13 детей. Ее жизнь с мужем и детьми протекала в скромной кремлевской квартире, в здании «ордонансхауса», примыкавшего к дворцу. Иван Тургенев утверждал, что более счастливого семейства, чем у Андрея Евстафьевича, он никогда не видел. Много детей, много музыки, много слушателей — вот, пожалуй, квинтэссенция этого гостеприимного и патриархального дома.

Московские Берсы, в отличие от питерской родни, хорошо знали, что их семейным миром правят мифы. По преданию, их предок, выходец из Саксонии, скупил дома в Москве, которые сгорели в 1812 году вместе со всеми документами, в том числе дом со ставшим их семейным гербом, изображавшим медведя, отбивающегося от пчелиного роя. Но самое главное, Берсы дорожили всем тем, что удалось возродить из пепла Андрею Евстафьевичу, который за счет собственной воли, предприимчивости, энергии многого достиг: стал гофмедиком, титулярным советником, врачом дирекции императорских московских театров, был внесен в дворянскую родословную книгу Московской губернии, наконец, проживал с семьей на кремлевской территории, в царском доме, покинутом с петровских времен царями, вошел в историю, соединив свой род с Львом Толстым. Отсутствие какой-либо «царской» роскоши Берсы компенсировали многим: радушием, милым детским лепетом, вроде Сониного «алалай» вместо «самовар», поэзией детства, глупостью молодости, ароматом пирогов и вкусом бланманже, рассказами Любови Александровны о детях, супружестве с всегдашним блеском в глазах.

Не случайно поэтому в августе 1862 года к Андрею Евстафьевичу явился некто от Льва Николаевича Толстого и сообщил, что граф и его сестра будут рады видеть господ Берсов в Ясной Поляне. Приглашение было принято с радушием, потому что Лев Николаевич был завидным женихом, правда, неприлично долго, по мнению старшего Берса, приглядывался к их старшей дочери Лизе.

Глава III. Три сестры

Семья Любови Александровны Берс была Толстому очень симпатична. Не случайно он говорил, что если когда-нибудь женится, то только на представительнице этой семьи. Действительно, атмосфера этого дома была очень привлекательной, она невольно затягивала своей «паутиной любви». Этому не могло воспрепятствовать даже то обстоятельство, что квартира гофмедика, располагавшаяся в бывшем потешном дворце, была крошечной. Она состояла «из одного какого-то коридора, дверь с лестницы вела прямо в столовую, кабинет же самого владельца был — негде повернуться, барышни спали на каких-то пыльных, просиженных диванах. Теперь это было бы немыслимо. Немыслимо, чтобы к доктору больные ходили по животрепещущей лестнице, чтобы в комнате висела люстра, о которую мог задеть головой даже среднего роста человек, так что больной, если не провалится на лестнице, то непременно расшибет себе голову о люстру, — все это теперь считается невозможным, а это-то и есть роскошь», — вспоминал спустя годы Лев Николаевич. А Соня, уже живя в Ясной Поляне, не раз говорила о родительском жилище, как о грязном каменном доме.

Толстому было суждено именно здесь найти свою единственную, вторую половину. А это было не так-то просто, ведь в доме проживали одновременно три обольстительницы, одна прелестнее другой, каждая из которых мечтала о своем принце. Безыскусная обстановка берсовской квартиры с лихвой компенсировалась романтической атмосферой, девичьим флером, исходящим от Лизы, Сони, Тани, пребывавших в состоянии сладостного ожидания возлюбленного, стремившихся к замужеству как к некоему лучезарному идеалу. Поэтому их дом был постоянно наполнен молодыми людьми, элегантными юношами, дарившими девицам конфеты. Здесь было весело и шумно, устраивались домашние спектакли. Однажды поставили даже «Марту», где главную героиню сыграла очень «натурально» Соня. Благодарные поклонники после этого уверяли ее, что она призвана стать большой актрисой.

Кроме милого юного щебетания и полулюбовных признаний сестры проходили школу жизни под руководством своей матери. Любовь Александровна готовила своих дочерей не к случайному абстрактному будущему, а к реальной жизни. Она охотно делилась с ними своим богатым супружеским опытом. В то время как ее муж Андрей Евстафьевич был

охвачен светскими увлечениями, наносил многочисленные визиты, играл вечерами в карты или разъезжал по «практике», она учила Лизу, Соню и Таню «науке страсти нежной». Дочери запомнили ее как рассудительную холодную строгую красавицу, не допускавшую по отношению к дочерям никакой нежности, ведь она сама с детских лет была лишена материнской ласки. Ее философия жизни заключалась в том, что нельзя держать мужа, словно пришитого к юбке жены. Она прививала дочерям «простые истины»: что в браке нужно как можно меньше любить мужа, жить не любя, и быть с мужем «хитрой, умной, скрывать все дурное, что есть в характере, и не любить всерьез». Она часто «хвалилась», что благодаря этому ее так долго любит муж. Каждая из дочерей по — своему усвоила материнские уроки.

Любовь Александровна приучала дочерей ежедневно молиться Богу. Соне порой было неловко за свою забывчивость, ведь она иногда этого не делала. Но самое главное, как она считала, осмысливая родительский опыт, заключалось в том, что мать и отец всерьез никогда не заботились о своих взрослых дочерях. Родители «забывали» о том, что их дочери не могут довольствоваться одними поучениями о замужней жизни, о различных болезнях и разговорами «ни о чем», или как они выражались: «О чем тетерева?» Поэтому Соня была убеждена, что ее родители порядочные эгоисты, особенно папа с его нервным характером, внушавшим ей страх. Ведь мать, если бы и хотела, ничего не могла сделать без папы, даже ради своих дочерей. А он, будучи чрезвычайно мнительным, постоянно хандрил, жалуясь на свои болезни. Но дети тем не менее не слишком строго судили своих родителей, особенно мать, которая, как считала Соня, «очень многое вынесла» и наконец поняла, что «лучше прожить не любя». Любовь Александровна рассказывала дочерям о своей самой счастливой поре жизни, проведенной в имении Красное, об усадебной вольнице и о том, как она любила танцевать наивный менуэт. Когда она читала «Детство», написанное ее детским другом Лёвочкой, который был всего двумя годами младше ее, она многое узнавала из своего милого прошлого, такого близкого и родного.

Соня внимательно слушала материнские воспоминания и даже выписала в свой дневник слова Толстого: «Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными побуждениями в жизни?» Тайком прочитав эти строки в дневнике сестры, Лиза написала: «Дура!» Свою потребность

любви Соня впервые ощутила, когда прочитала «Детство» Льва Толстого, наполненное нежной чувствительностью автора, невольно «перелившейся» на юную читательницу. Ведь только поэтическую душу можно полюбить «до ужаса». После прочтения «Детства» ее линия жизни впервые пересеклась с толстовской. С этого момента литература со своими вымышленными историями стала накладываться на ее жизнь. За сентиментальность и излишнюю чувствительность она была прозвана старшей сестрой «фуфель», что означало для Лизы «пускаться в поэзию и нежность». Мать же при этом делала «строгие глаза», так как была уверена в том, что все мужья, прежде влюбленные, делаются с годами непременно холодными.

Соня словно обречена была стать женой писателя. Ее тайная влюбленность в автора любимых ею сочинений началась в тот самый миг, когда она, как зачарованная, стала читать его произведения. Любимые книги невольно призывали самой взяться за перо и попробовать себя в литературном творчестве. Возможно, все это происходило оттого, что она, как выражалась мама, принадлежала к «черным» Берсам. Согласно семейной традиции все Берсы делились на «белых» и «черных». «Черные» — это сама Любовь Александровна, Соня и Таня. Все остальные — «белые». У «черных» ум порой «спал», но когда он «просыпался», они всё могли сделать. У них была большая уверенность в собственных силах. Ум их «спал» еще оттого, что они часто влюблялись. У «белых» же Берсов ум был слабым и мелким. Лев Николаевич ценил «черных» Берсов, считая их умными и очень похожими друг на друга. Соня особенно была похожа на Любовь Александровну. Если, например, она принималась за работу, то ее нельзя было от нее оторвать. Могла с уверенностью говорить о том, чего не знала, и Толстой тотчас же узнавал в ней мама. Даже отрицательные черты были у них одинаковыми.

Соня выбрала свою судьбу, будучи еще одиннадцатилетним ребенком. Она хорошо помнила то время, когда все три сестры влюбились в Льва Николаевича. Он много играл с ними, заставлял их петь, рассказывал интересные истории. Однажды он приехал к ним в кремлевскую квартиру, чтобы попрощаться перед тем, как отправиться на Севастопольскую войну. Соня и Таня, услышав об этом, «страшно плакали». Это был первый знак юного увлечения, пробудившего жизнь чувств. С этого момента она уже жила с любовью к нему, душу его угадывала инстинктом, хотя чувства еще были абсолютно безымянными. Мечтательная Соня была наполнена этими переживаниями, разбуженными книгами Льва Толстого. Свое призвание она интуитивно видела в том, чтобы быть рядом с ним. Для нее замужество

явилось продолжением литературного увлечения Толстым. В общем, удача находит людей, подобных Соне, талантливых и любящих. Милая, добрая, мечтательная Соня стремилась понять собственную душу, чтобы разобраться в своих переживаниях и отыскать нужные слова для их точного выражения. Очень полезным для этого оказался дневник.

Тем временем жизнь шла своим чередом. Почти ежедневные прогулки по кремлевскому саду, недельное дежурство по дому, выдача провизии, приготовление чая и кофе для отца. Монотонная повседневность нарушалась только по субботним дням. Соня запомнила эти беспечные посиделки у шипящего самовара в ярко освещенной столовой: на столе котлеты, потом сладкий пирог — непременно субботнее угощение. Потом танцклассы в доме барона Боде, а в их кремлевской квартире журфиксы, литературно — куртуазные игры и безумство веселья. Но самым интересным стали импровизированные сказки в исполнении Николая Толстого или занятия, проводимые «парадным и расчесанным» Львом Николаевичем. Он разучивал с Соней какую-нибудь роль, решал задачи, делал вместе с тремя сестрами гимнастику и внезапно торопливо прощался, устремляясь во фраке и белом галстуке на великосветский бал. Но, пожалуй, больше всего ей запомнилось, как они с Лизой и Таней накрывали стол для любимого гостя, прибывшего в военном мундире из Севастополя. Но даже в этой радости Соня умела найти грусть. Не случайно Андрей Евстафьевич не раз восклицал: «Бедная Сонюшка никогда не будет счастлива вполне!», потому что она была обделена завидным даром своей младшей сестры Тани, находившей веселье повсюду. Эту Сонину странность тонко подметила ее младшая сестра: «Соня была здоровая, румяная девочка с темно — карими большими глазами и темной косой. Она имела очень живой характер с легким оттенком сентиментальности, которая легко переходила в грусть. Она не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь и первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и весело пользоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь помешает ей или что-нибудь другое должно прийти, чтобы счастье было полное». Эта черта Сониного характера впоследствии стала доминирующей и многое осложнила в ее жизни. Сочетание веселья с вечно грустным взглядом, в конце концов, привело ее к трагическому финалу. Но присутствующая младшей сестре Тане умение радоваться жизни она очень ценила, с печалью заметив однажды: «И видна ты с этим удивительным, завидным даром находить веселье во всем и во всех; не то что я, которая, напротив, и в веселье умеет найти грустное».

Глава IV. На пороге любви

Соня родилась 22 августа 1844 года и прожила несколько жизней, в которых многие события не раз повторялись.

Вот она стоит на пороге любви, пока еще мало изведанной и стихийной. Ее душа жаждет постичь другую душу, и поэтому ее прежняя кремлевская жизнь должна уступить место совсем иной, еще такой непривычной. Ее мистерия любви началась давно, но сначала была придуманной, условно — поэтической. Теперь пришло время, когда ураган любви закружил ее в своем вихре.

Она вспоминала, как это начиналось, как он в Ясной Поляне стелил ей постель, как развертывал простыню, и что она при этом чувствовала, испытывая неловкость и вместе с тем что-то приятно — интимное, невыговариваемое было в этом общем приготовлении яснополянского девичьего ночлега. Вспоминала и о внезапном, но так ожидаемом ею объяснении в любви с помощью начальных букв, написанных им мелком на ломберном столике 28 августа 1862 года в день его рождения: «Вот, — сказал он и написал начальные буквы...» Она легко прочитала слова, потому что уже предчувствовала их заранее, слилась с их автором душой еще задолго до этого объяснения, когда она была маленькой девочкой, а он был уже известным писателем, веселым и шумным. Бывая в Москве, он обязательно посещал Берсов, с его визитами так многое связывалось: вот он радостно сообщает о том, что продал Каткову за тысячу рублей своих «Казаков», а она горько плачет, прослышав о проигрыше этих денег в китайский бильярд. Или приводит к ним Афанасия Фета, который одаривает всех комплиментами: папа он называет «обходительным стариком», мама — «красивой, величавой брюнеткой», а трех сестер — «безукоризненно скромными девицами». Визиты Толстого в их дом породили ложный взгляд на его отношения с Лизой, ее старшей сестрой: вся Москва в то время решила, что он женится именно на ней, и Лиза поверила и полюбила его за это. Соня помнила, как старшая сестра страдала от того, что он, кроме разговоров с ней о литературе, ни на что более не намекал, и как она была поэтому «красиво несчастлива». Лёвочка потом вспоминал, что Лиза соблазняла, а Соня трогала боязнью.

Ураган любви, захвативший Соню, помог ей победить не только соперничество Лизы и недовольство родителей, но и убедить Льва Николаевича в силе и искренности своей любви, заставил поверить его в

то, что именно она есть та самая, одна-единственная его любовь, а совсем не ее старшая сестра. Ее судьбу решило пение Тани на одной из любительских вечеринок. Лев Николаевич аккомпанировал ее младшей сестре и загадал: «Ежели она возьмет хорошо финальную ноту, то надо сегодня же передать письмо Соне. Если возьмет плохо — не передавать...» Через некоторое время Соня с письмом в руках уже стремительно бежала вниз в свою комнату. Это долгожданное письмо, которое он два дня носил в кармане, никак не решаясь его передать, она теперь читала, «задыхаясь от волнения», и дочитав до вопроса: «Хотите ли быть моей женой?», словно «замерла», недочитав послания до конца. Страшный стук в дверь сестры Лизы заставил ее очнуться. Лиза истерично потребовала, чтобы Соня отказала графу. Однако Любовь Александровна очень строго отнеслась к Лизе, мудро рассудив, что если младшая дочь откажется, то Лев Николаевич вряд ли от этого больше полюбит Лизу. А потому мать «почти вытолкнула» Соню из комнаты, крича: «Пойди к нему и скажи свой ответ!»

Соня, движимая не только материнским толчком, но и своей любовью, твердо ему ответила: «Разумеется, да!» Потом, успокоившись, она закрылась в своей комнате и еще раз внимательно перечитала только что полученное письмо: «Софья Андреевна! Мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: «нынче все скажу», и ухожу с той же тоской, раскаяньем, страхом и счастьем в душе... Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его Вам, ежели опять мне нельзя или не достанет духу сказать Вам все...

Скажите, как честный человек, хотите ли Вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело Вы можете сказать: «да», а то лучше скажите «нет», ежели есть в Вас тень сомнения в себе. Ради Бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать «нет», но я его предвижу и найду в себе силы снести; но ежели никогда мужем не буду любимым так, как я люблю, — это будет ужасней».

Двухмесячная лихорадка в конечном итоге завершилась шампанским, поздравлениями. Правда, многие гости сначала поздравляли Лизу, думая, что она виновница торжества, но для Сони самым главным было новое ощущение себя в роли невесты. Хотя невестой она была всего лишь одну неделю — 16 августа было сделано предложение, а на 23 августа назначено венчание в дворцовой кремлевской церкви Рождества Богородицы. Такова была воля жениха, который торопил события. Прежние страхи, что она могла показаться суженому слишком кокетливой или очень вульгарной, теперь наконец исчезли, но им на смену пришли другие. Юная невеста была не обременена каким бы то ни было эротическим опытом, а он,

многоопытный мужчина, вдруг решил перед самой свадьбой, с «излишней добросовестностью», поведать ей о своих добрых похождениях и дал ей прочитать свой дневник, в котором описывал свои любовные приключения, в том числе с яснополянской крестьянкой Аксиньей Базыкиной, от связи с которой у него был внебрачный сын Тимофей. Соня «очень плакала, заглянув в его прошлое», с которым впоследствии так «никогда и не смирилась».

Тем временем родителям Сони нужно было думать о приданом для дочери. Все бы ничего, да жених уж очень настаивал, чтобы свадьба состоялась как можно скорее. Он уговаривал Любовь Александровну не думать ни о каком приданом, ведь Соня и так «всегда такая нарядная», поэтому было решено приготовить для невесты только все самое — самое необходимое.

Всю предсвадебную неделю невеста равнодушно примеряла платья и головные уборы в московских магазинах. Прошлое Льва Николаевича не давало ей покоя. По просьбе жениха заглянув туда, она так ужаснулась, что это больше не позволяло ей легкомысленно летать на крыльях любви. Ее романтическое увлечение Сашей Поливановым на этом фоне казалось еще более невинным, чем раньше. Но, может быть, это были мысли, принадлежавшие той «глупой, ничтожной девчонке», которой она была еще неделю назад? Теперь ей нравилось то, что она больше не будет носить одинаковых с Лизой платьев, что знакомые семьи больше не будут поздравлять старшую сестру как невесту Льва Николаевича.

А жених, кажется, не терял времени зря. Он купил новенький дорожный дормез, в котором собирался отправиться со своей молодой женой в Ясную Поляну, заказал фотографии всех членов семейства Берс, подарил Соне красивую брошь с бриллиантом и обсудил с ней, как провести их медовый месяц — в Москве, а может быть, за границей или в Ясной Поляне. Невеста поступила мудро: выбрала Ясную Поляну, чтобы начать свою жизнь серьезно, по — настоящему, как того требуют семейные узы. Жених был счастлив. Он выпил на брудершафт с младшей Таней, но Соня по — прежнему оставалась с ним на «вы». Но Льва Николаевича это не огорчало, он ее очень любил и был убежден, что самая счастливая семья та, в которой кто-то любит непременно больше другого. Только такой брак получается ровным и спокойным.

Было решено, что их свадьба будет очень простой и с «фастом» (то есть быстрой. — Я. Н.), что после ужина они в ту же ночь уедут в яснополянскую усадьбу. В день свадьбы жених не должен был появляться в доме невесты, но Сонин жених и в этом оказался особенным, вне правил и

вне нормы. У него все получалось так и не так, все выходило иначе, не как у всех. Всю ночь Лев Николаевич не спал и рано утром отправился к невесте со своими сомнениями в том, любит ли она его или нет, любит ли Соня его так, как он ее или это всего лишь самообман? Она же измучилась от его предположений и догадок, но еще больше от мыслей, что вдруг он сбежит из-под венца. Соня вся была в слезах — и это 23 сентября, в день ее свадьбы! Как всегда, положение спасла ее мать, Любовь Александровна, с укором обратившаяся к жениху: «Дочери и так тяжело, да ещё в дорогу надо ехать, а она вся в слезах». Слова должным образом подействовали на Толстого.

В свой свадебный день Соня сильно волновалась. У нее пропал аппетит, она ничего не ела, кроме черного хлеба. И все это из-за боязни потерять его любовь. Толстой же мучился оттого, что она слишком молода, а потому не сможет по — настоящему полюбить его, что многим жертвует ради него и инстинктивно все занесет на его счет.

Между тем время венчания приближалось. Оно было назначено на восемь часов вечера. А жених не появлялся. Соня сидела между приготовленными жоками — дорожными чемоданами из телячьей кожи и плакала. Из-за этого многие находили невесту подурневшей и говорили, что под венцом она была не так уж хороша, а еще удивлялись тому, почему венчание происходит вечером. Ведь в этом было что-то купеческое. Гости приглядывались ко всему, боясь пропустить что-нибудь важное. Они не могли понять, почему невеста заплаканная. Неужели она поневоле выходит замуж? Но разве возможно поневоле выходить за графа? Ведь он страсть как богат. Тогда понятно, почему ее выдали за него. Но между тем абсолютно всем нравилось, что невеста была как овечка убрана!

Действительно, Соня выглядела обворожительно — на голове шиньон, вуаль, прикрывавшая ее бледное лицо, превосходно сидящее белое платье, зрительно увеличивавшее ее рост, руки, затянутые в длинные перчатки. Никто не догадывался о том, какие страшные мысли приходили ей в голову в это время. Ведь утренний разговор с суженым, резко оборванный ее матерью, остался неоконченным, и она продолжала мучиться вопросом: придет ли жених на свадьбу или нет? Однако вскоре прибежал лакей Толстого и объяснил, из-за чего жених опаздывает. Оказалось, что второпях слуга Алексей забыл приготовить хозяину чистую рубашку, уложил только одну фракную пару. Рубашка, которую утром надел граф, была уже непригодна. Лакей обежал уже почти всю Москву, но не смог найти новой рубашки, потому что было воскресенье и все магазины оказались закрыты. Только один из них, к счастью, работал. В нем и была куплена свадебная

сорочка.

Наконец все — жених с невестой и их гости — оказались в церкви. Торжественная церемония привлекла не только приглашенных, но и постороннюю публику. Хор певчих при виде молодых запел «Гряди, голубица», и это звучание, так же как и молитвы, создавало неповторимую атмосферу высокой торжественности, о которой потом не раз вспоминала Соня и которую впоследствии увековечит на страницах романа «Анна Каренина» ее муж. Соня с отсутствующим взглядом смотрела на все происходящее, не вслушиваясь в последние наставления близких, что она непременно первой должна встать на ковер, как и где должна остановиться у аналая, как должна подать жениху правую руку и т. д. Она уже не слышала жужжание толпы, шуршание платьев, не разбирала слов присутствующих о том, что она не стоит его пальца, и о том, хорошо ли держит себя или выглядит смешной. Теперь она слышала только одну тишину, нарушавшуюся падением капель воска. Старичок — священник в высоком головном уборе, расширяющемся кверху цилиндром фиолетового цвета, камилавке, тяжелой ризе зажег две свечи, повернувшись к молодым, «новоневестным», устало и грустно глядя на них, благословил ее с осторожной нежностью, подал ей свечу. Она чувствовала всем своим существом взгляд жениха, хотя не глядела в его сторону. От всего этого ей стало радостно и страшно. В этот миг исчезло все: суэта, тревоги, сомнения. Она слышала только одни торжественные звуки: «Бла — го — сло — ви вла — дыко!» Она словно дышала ими.

Потом священник, снова повернувшись к венчаемым, надел на палец Сони большое кольцо со словами: «Обручается раб Божий Лев рабе Божией Софии». Пол перед аналоем был застлан розовой шелковой тканью, на которую должны были стать новобрачные. Кто-то заметил, что жених наступил раньше, а кто-то, что они стали одновременно. Невесте стало светло и весело после надевания на голову венца, от прикосновения к чаше с красным вином, разбавленным водой и от того, как они ходили вокруг аналая, и от того, как все радовались им. После снятия венца Соня вся сияла от счастья и не могла поверить в то, что все это происходило с ней и что это правда.

Затем новобрачных ожидало короткое свадебное застолье в родительском доме невесты с легким угощением: шампанским, фруктами и сладостями. Здесь были только близкие, а потому тосты звучали самые искренние. Соня быстро переоделась в дорожное платье, а прислуга торопливо укладывала последние вещи. Ведь муж очень спешил с отъездом. На улице молодых ожидал новенький просторный дормез,

приспособленный даже для сна в дороге. И вскоре шестерка славных почтовых лошадей, ловко управляемая форейтором, отправилась в Ясную Поляну, ставшую на долгие годы пристанищем для Сони. Так начинался ее медовый месяц, и она не знала, будет ли он наполнен ароматом меда или горечью разочарования.

Осенний дождь и жуткая темнота за окном дормеза действовали на Соню удручающе. До первой станции «Бирюлево» она почти не разговаривала с мужем, погрузившись в свои девичьи думы. Ее охватили страх и радость неизвестности. В душе она уже рассталась с прошлым, с родительским домом, со своими сестрами, со всевозможными ленточками, милыми влюбленностями, с поэзией беспечной молодости. Как много было во всем этом жизни! Особенно в младшей сестре Тане, в этой «белозубке», как ее прозвал Лев Николаевич, в которой находил много общего с Беллой, героиней Диккенса. Таня, артистическая душа, умела всем внушить любовь, щедро делилась ею с родными. У нее это получалось гораздо лучше, чем у Сони, которая предпочитала играть в куклы, вкладывая в эту игру свои смыслы. В них она находила много общего с людьми. И те и другие лишь игрушки в руках судьбы. Она еще чувствовала теплое прикосновение милых рук и губ своих близких и родных. Она вспомнила, как простилась с больным отцом в его кабинете, как прослезилась сестра Лиза, «знавшая, где бывает счастье» и упустившая его, как рыдала Таня, как перекрестила новобрачных мама, как она расцеловалась с рыдавшей няней и как под конец бросилась на шею матери и услышала ее стон. Поцелуи, слезы, рыдания, пожелания счастья — все это Соня запомнила на всю жизнь. А ее близким после отъезда оставалось только с грустью смотреть на оставленный впопыхах подвенечный наряд невесты.

Задумывалась ли она о том, почему первый месяц супружеской жизни называется медовым? Какие тайны скрыты в этом обольстительном оксюморе, причудливо сочетающем в себе, казалось бы, несочетаемое — сладость и горечь меда? Действительно, медовый месяц был наполнен для нее сладостными предчувствиями и горечью смутной тревоги. Свою жизнь она уподобляла пчелиной, ведь даже когда пчела находится в состоянии покоя, она не знает отдыха, не забывает исполнять таинства приготовления воска. Так и она, покинув родительский дом, общий тесный улей, начинала строить свой новый дом в тишине усадебной жизни с ароматами и мягкостью воздуха и прелестной игрой солнечных лучей. Ее соприкосновение с осенней красотой новой жизни переполняло душу праздником лета. Казалось, что в этом времени нет пока того, что когда-нибудь сбудется, не случайно Лев Николаевич в ее «напуганности»

увидел что-то болезненное и записал в своем дневнике: «Ночь, тяжелый сон. Не она». И это на третий день после женитьбы.

Возможно, все это произошло оттого, что Соня успела рассмотреть в стремительно пронесшемся медовом месяце что-то вроде перста судьбы, которая подсказывала ей мудрые решения и наказывала за глупые. С первой недели своего медового месяца Соня начинала каждое утро с чашки кофе, закладывая традицию семейной жизни и новый ритуал. Она заметила, что учителя мужниных школ были весьма «озадачены» тем, что Лев Николаевич женился не на крестьянке, а на барышне, ведь он когда-то им говорил, что в барышнях заключен «весь яд цивилизации». Конечно, Соня восприняла это с иронией и смогла даже «слишком рассмелиться». От этого ее поведения муж был «неимоверно счастлив» и не раз восклицал: «Неужели это все кончится только жизнью?!»

В это время она подробно писала родным о своем семейном счастье, в котором смешались и «пудра», и ее будущее, и, конечно, настоящее, в котором нашлось место и «довольной тетеньке», и славному брату Сереже, и Лёвочке, который так сильно любил ее, что ей от этого становилось «страшно и совестно». Прочитав подобное в ее письмах, Толстой просил свояченицу вернуть ему эти письма — настолько они нравились ему. А иногда он мог даже заплакать из-за какой-нибудь ее обиды, словно ребенок.

На второй неделе медового месяца случились два «столкновения» между супругами с «тяжелыми» минутами. Соня искала в «медовом счастье» грустную горечь. Права была ее младшая сестра Таня, отмечавшая, что Соня, не умеющая наслаждаться счастьем, любила создавать и лелеять свой «печальный мир». Лев Николаевич формировал свой мир — недоверчивый и деловой. Чувствуя себя несчастной, Соня завела дневник, чтобы «выплакаться в него». Ей казалось, что муж ее не любит, а потому все чаще она вспоминала свой дом, родителей и сестер. Притом что они, Соня и Лев, по — прежнему любили друг друга так, что «дух захватывало».

В самый разгар медового месяца Соню уже терзали сомнения в подлинности Лёвочкиных чувств. Ведь она у него была уже не первой, с которой он целовался. И поэтому, когда он ее целовал, она мучилась мыслями о том, что он делал это не только с ней, но и со многими другими женщинами. Особенно невыносимым было для нее воспоминание о его увлечении яснополянской крестьянкой Аксиньей Базыкиной. Соню настораживала его чрезмерная тяга к «физической стороне любви». Из-за этого ей были неприятны его поцелуи. Ее чувственность еще дремала, не была разбужена им.

Муж же был в восторге от супружества. Каждый раз, словно заново влюбляясь и восторгаясь ею, всякой: и сидящей возле него с закинутой назад головой, и торопящейся в своем желтом платье куда-то по домашним делам... Он любил в ней всё, включая непонятные ему мимику и ужимки, казавшиеся тогда такими очаровательными и милыми. Например, он обожал, когда она забавно выставляла нижнюю челюсть и потом показывала ему язык. От этого Сонино лицо одновременно становилось по — детски напуганным и страстно — привлекательным. Он обожал ее наивные вопросы, с которыми она к нему обращалась: «Отчего трубы в камине проведены прямо, почему лошади живут так долго?» Любовь гораздо больше преобразовывала мужа, нежели жену.

Все-таки Соня мечтала о том, чтобы Толстой относился к ней иначе, например, так же возвышенно, как он воспринимал свою родственницу фрейлину *Alexandrine* Толстую, до которой, как он выражался, ни одна из знакомых ему женщин «не доходила до колена». Однажды Соня разыскала в столе ее письма к мужу и поняла, что эту женщину из его жизни не вычеркнешь, как, например, Валерию Арсеньеву, к которой Лёвочка испытывал скорее воображаемые, надуманные чувства. Именно фрейлина *Alexandrine* очень сильно взволновала Соню, причем настолько, что ей даже захотелось написать сопернице втайне от мужа. Но она не рискнула этого сделать, спасовала. Добавить по — французски всего-то несколько строк в письме Толстого *Alexandrine* все-таки пришлось: муж настоял на этом, быстро поняв, что жена все правильно «чуёт», что «до него касается».

Соня упорно «расчищала» для себя место подле мужа. Ей не хотелось даже на миг остаться без него, довольствуясь, например, сидением дома с шитьем или игрой на фортепиано. Но, слушая бой английских фамильных часов, она сознавала, что не равна ему. Казалось бы, она, полуаристократка, могла бы удовлетвориться тем, что превратилась в аристократку, к чему так стремилась. Так да не так. В одном из писем к своему любимому брату Александру Соня грустно заметила: «Пришла мне глупость в голову. Помнишь, мы говорили: «*nous autres aristocrates*» («наш брат аристократ». — Н. Н.). Вот оно к чему клонилось. Так-то, Саша». Оказалось, что быть всего лишь графиней для Сони недостаточно. Это только одна из ее целей.

Теперь Соню обуревали иные страсти. Она была убеждена, что Лёвочка самими небесами был предназначен только ей, и ни в коей мере не сестре Лизе, не фрейлине *Alexandrine*, а тем более не учителям и ученикам яснополянской школы. Ведь когда-то «дядя Лявон», прочитав ее повесть об «отвратительном Дублицком», в котором тотчас же узнал себя, был отрезвлен Сониным чутьем и талантом. Удачно разыгранную тогда интригу

Соня взяла на вооружение и решила пользоваться ею в своих целях.

С каждым днем она все более обживалась в яснополянском пространстве и на все имела свой взгляд. Так, она решила, что мужнина школа, просуществовавшая уже около трех лет, обошлась ему слишком дорого — в три тысячи рублей! Благотворительность мужа показалась ей слишком избыточной, наносившей ущерб ее «семейным интересам». Поэтому, гуляя по Ясной Поляне с Лёвочкой и делясь с ним своими планами о том, как жить им вдвоем, она непременно заводила разговор о школе, предлагала распустить студентов — учителей, которых, как она выражалась, «начинала ненавидеть», как и сами школьные занятия мужа. Толстой, слушая все это, вспоминал совсем иное: как его жена искусно кокетничала с одним из бабуринских учителей Эрленвейном, болтала с ним с большим удовольствием. В этот миг Соня не казалась ему «боязливой», что так трогало и привлекало его в ней, а, напротив — слишком вызывающей. И он, глядя на нее тогда, «чуть не раскаивался» в том, что женился на ней.

Кокетство с учителем было использовано хитрой и ловкой Соней для того, чтобы полностью овладеть мужем, разлучить его с народом, оставив последнему только одни воспоминания о своем прежнем учителе — «грахе», о том, который когда-то был и которого уже для него больше не будет. Теперь Соня увязывалась всюду за мужем, который уже не знал, «где кончается она и он, и начинается он и она». Их души настраивались в это время на единый ритм.

Итак, их медовый месяц протекал между «слезами, пошлыми объяснениями», которые «замазывались» жаркими поцелуями. Семейное счастье поглощало обоих. Они словно примеривались в это время друг к другу, были захвачены друг другом, но, как выражался Толстой, цитируя любимого Пушкина, «строк печальных не смывали». Соня часто читала из-за его плеча, а он чувствовал себя в этот момент несказанно счастливым и приглашал Афанасия Фета заехать в Ясную Поляну, чтобы заново познакомиться с ним, уже «две недели женатым и счастливым, и новым, совсем новым человеком». Ведь он даже любимых студентов распустил ради жены.

Ревность к прошлому побуждала ее уходить в себя, брать в руки дневник. В это время ей снились страшные сны, и она постоянно думала о том, что скоро умрет. Ее отец, прознав об этом, успокаивал бедную дочь, говоря, что «муж ее страстно любит», что ее жизнь была бы гораздо труднее, если бы она не попала к такому чудесному человеку, который будет всегда для нее верной опорой. Соня была готова «задушить» Толстого

своей любовью, но вместо этого создавала свой печальный мир, а он свой — «недоверчивый и деловой».

Глава V. Первенец

Финалом медовой феерии стал счастливый возглас мужа: «Кажется, ты беременна?!» Похоже было на правду Потому что Соня во время переписывания то «Поликушки», то «Казаков» уже в который раз нечаянно засыпала на том самом счастливом кожаном диване, на котором родился ее Лёвочка. Она теперь словно примерялась к этому старинному фамильному дивану с расчетом на свои предстоящие роды. Радостное событие словно вывело ее из сна, и она по — новому взглянула на яснополянский быт. Соню раздражало теперь, что совсем рядом с домом, в другом флигеле разместилась школа для крестьянских детей, невольно напоминая, что муж не всецело принадлежит ей, а еще учителям и ученикам. Когда она была недовольна, то снова принималась за дневник. Лёвочка в таких случаях говорил: «Когда не в духе — дневник». В ее дневнике появилась такая запись: «Он мне гадок с своим народом. Я чувствую, что или я, то есть я, пока представительница семьи, или народ с горячей любовью к нему Лёвы. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь, и я сегодня убежала потому, что мне все и всё стало гадко. И тетенька, и студенты, и Наталья Петровна (Охотницкая, компаньонка Т. А. Ергольской. — Н. Н.), и стены, и жизнь, и я чуть не хохотала от радости, когда убежала одна тихонько из дому... Страшно с ним жить, вдруг народ полюбит опять, а я пропала». В этих словах заключена квинтэссенция Сониного властного поведения.

Она смотрела теперь на эту школу как на большую помеху для себя и для своих будущих детей. Соня не желала спасать вместе с Лёвочкой «тонущих» Пушкиных и Ломоносовых, которые якобы «кишели» в яснополянской школе. У нее была своя точка зрения на филантропическую деятельность мужа и, в частности, на его проект «университета в лаптях». Для Толстого же школа являлась олицетворением одного из самых «прелестных и поэтических» периодов его жизни. Тем не менее под влиянием жены ему пришлось отказаться от школы, этого «фарисейства», и вскоре «тот» флигель стал использоваться как хранилище книг. Так над школой, «последней любовницей» мужа, Соня одержала победу. Под новый, 1864 год студенты покидали Ясную Поляну, и Лев Николаевич с грустью провожал их прощальным взглядом, думая про себя: «Со студентами и с народом распростился».

После женитьбы для Толстого началась совсем иная жизнь,

наполненная «неимоверным счастьем». Он сам себя не узнавал, любил жену «все так же, ежели не больше», когда писал, то все время слышал ее голос. Прожив 34 года, он даже не мог предположить, что может так сильно любить. Ему порой казалось, что он словно «украл» это незаслуженное счастье. Что ж, любовь, как думала Соня, оглупляет людей, и даже он, ее Лёвочка, не был исключением. Она даже об этом написала сестре Тане и еще о своем горячем желании, «чтобы он был умнее». Ведь мир, как известно, принадлежит только холодным умам. Если в медовый месяц еще как-то простительно так любить, одерживая верх над разумом, то теперь, с точки зрения Сони, любовь должна быть сдержаннее и разумнее.

На свой теперешний дом, в котором она проживала с мужем, его тетенькой Ергольской, она взглянула словно заново, глазами рационально мыслящего человека, и подумала, что дом в пять комнат слишком тесен. Присутствие Татьяны Александровны Соне казалось лишним. Тетенька вызывала у нее раздражение своим «старчеством», как и ее компаньонка Охотницкая, постоянно проживавшая в доме. Соня не знала, как ей поступить с тетенькой. После раздумий она вспомнила о том, что Татьяна Александровна «вынянчила» ее мужа, когда тот остался сиротой. И поэтому она решила, что тетенька может ей быть очень полезной, что она сможет вынянчить еще и ее детей. А однажды Сонино сердце растаяло, когда Татьяна Александровна вручила ей связку больших и малых ключей от многочисленных сундуков, шкафов, бюро, ящичков, кладовой с припасами, погреба, чердака. Ключей оказалось больше тридцати. Довольная Соня прикрепила их к большому кольцу и подвесила к поясу своего платья. Позже эту тяжелую связку ключей она хранила в специальном ящике, с ключом от которого никогда не расставалась.

Соня рано поняла, что ей придется постоянно сражаться с ветряными мельницами своего мужа. За короткое время она успела очень многое изменить в «диком», холостяцком и архаичном образе жизни Ясной Поляны, который так не нравился ей. Она с ужасом узнала о том, что до женитьбы ее муж и его братья спали на соломе и без простыней. Аромат сена потом даже нравился Соне, и позже она набивала детские тюфяки соломой, каждый месяц меняя ее. Тюфяки были набиты так туго, что даже трескали. Ей удалось приучить мужа спать не на любимой им сафьяновой подушке, завернутым в простыню, а на выглаженной ею наволочке, под одеялом с пододеяльником. Она запретила слугам спать на полу и где попало, там, где сон их заставлял. Соне очень не нравилась яснополянская вольница — например, страсть поваров к спиртному или неопрятный вид. Молодую хозяйку также смущала непонятная должность Агафьи

Михайловны, служанки, проживавшей в Ясной Поляне со времен бабушки писателя. Эта пожилая женщина страстно любила собак — легавых, гончих, борзых. Она обихаживала своих питомцев, за что и была почитаема хозяином усадьбы и шутливо прозвана им «собачьей гувернанткой». Соня решительным образом положила конец этим «безобразиям», введя строгий порядок и ранжир. Она стала пользоваться колокольчиком, чтобы хоть как-то урезонивать домочадцев, в том числе и Агафью Михайловну. Соня регулярно позванивала в колокольчик, таким образом призывая всех к должному порядку.

Самое главное, что повседневные неурядицы не сказывались на счастливом состоянии молодых. Им было так хорошо вдвоем, что они никого, кроме самых близких людей, не принимали. Только по воскресным дням устраивали журфиксы. Принимали то Дельвигов, то Бибиковых, то Брандтов. Этого требовало соблюдение светских норм и условностей.

Обычно по утрам Лев Николаевич был занят своими писательскими делами, а Соня находилась подле него, переписывала мужнины сочинения или шила. Иногда тишину нарушала Наталья Петровна, «выплывавшая» как-то боком к ним в комнату с чашкой кофе, словно намекая на время обеда, к которому обычно на первое подавались супы с волованами или тарталетками, на второе — фаршированные цыплята или жаркое из рябчиков или перепелов, еще салаты, спаржа под голландским соусом и, разумеется, десерты. После обеда они непременно что-нибудь читали вслух, например «*Miserable*» *Hugo*. Каждый день обычно заканчивался общим чаепитием, сопровождавшимся милой болтовней. От всего этого им было так хорошо, что ни о чем другом и мечтать не хотелось. Семейная жизнь потихоньку вытесняла все остальное.

В это время Соне уже не чудилось присутствие «чего-то старого» в окружавшей ее обстановке, подавлявшей в ней молодые чувства, которые, как ей казалось, выглядели бы здесь недостойно и неуместно. И такой первопричиной являлись вовсе не две пожилые женщины, проживавшие вместе с Соней в одном доме, а Лёвочка, ее муж. Именно он «останавливал» ее естественные порывы молодости. Поэтому у нее появлялись такие мысли: «Иногда мне ужасно хочется высвободиться из-под влияния, немного тяжелого, не заботиться о нем». Но она не поступала в соответствии со своими мыслями, а делала иначе, сознательно сдерживала себя, предпочитая лучше помечтать о предстоящей встрече с милой мамой и славной сестрой Таней, таких любимых и дорогих, которых она была вынуждена покинуть из-за мужа — «брюзги». Ее беременность сопровождалась не только раздражением, но и тревожными состояниями,

страхом смерти, учащенным сердцебиением. Теперь Соню часто преследовали мысли о смерти любимого Лёвочки. Свои тягостные размышления она связывала с наступившим темным месяцем декабрем, концом года.

Долгие зимние ночи и короткие дни приводили Соню в упадническое настроение. Ей хотелось больше развлечений, шума, блеска, о которых можно было только мечтать 18-летней особе в Ясной Поляне. Монотонность деревенского бытия, вполне предсказуемого, предрасполагала ее к сомнениям в любви мужа к ней, которую она боялась потерять больше всего на свете. Соня ревновала мужа к старым холостяцким увлечениям, «ко всякой красивой и некрасивой женщине». По ее мнению, Лёвочка «не смел не только ухаживать, но не смел с улыбкой говорить с другой женщиной». Пожалуй, она не ревновала мужа только к писательству.

К этому времени Лёвочка устал от хозяйственной деятельности, но и праздность все больше и больше тяготила его. Приходило чувство досады на жизнь и «даже на нее», на Соню. К тому же мучили долги Каткову, так и не отданные за прошедшие десять месяцев. Толстой решил вернуть долг не самим, пока еще недописанным «Кавказским романом», а деньгами. Катков не соглашался. Лев Николаевич был вынужден взяться за перо, бесконечно поправляя уже написанное. Как подметила Соня, ему даже письма родным писать было некогда. Он весь был в творческом запале. Она, вдохновленная мужниным пафосом труда, «заботливо переписывала, не уставая», то «Казаков», то «Декабристов», то «Поликушку». А он снова и снова принимался за художественную отделку, и так уставал от этого, что даже во сне «разговаривал» с Шиллером. Только к переписыванию «Тихона и Маланьи» да «Идиллии» Толстой не подпустил жену, боясь тех нежелательных и тяжелых сцен, которые могут быть вызваны ревностью к Аксинье Базыкиной, героине этих рассказов.

Невозможно представить Сонино счастье без их совместной литературной работы. Без Лёвочкиного писательства оно было бы, конечно, неполным для обоих. Толстой же был неотделим от писательства. Поэтому Соня была рада следовать по мужниным лабиринтам художественных сцеплений. В это время она забывала о своем дневнике, в нем не было нужды, не было нужды в том, чтобы выплакаться. Лёвочка же, чувствуя изменения к лучшему, произошедшие с женой, перестал говорить, что после женитьбы на ней он стал как бы «меньше самого себя». Теперь он ощущал себя «писателем всеми силами своей души». А Соня уже больше не боялась, что он вновь полюбит народ. Благодаря совместным дружным

усилиям повесть «Поликушка» наконец была завершена, и ее надо было отвезти в Москву. В конце декабря молодая чета отправилась в Первопрестольную. Сонино сердце неровно билось из-за огромного желания как можно скорее встретиться с родными.

Московское житье несколько расхолаживало Льва Николаевича, мешало сосредоточиться на важном, на чтении корректур «Казаков» и «Поликушки». К тому же ему мешало недовольство Соней, причем сильное. Здесь она была, как и все остальные. Он почти «раскаивался» в своей женитьбе. Семь недель, проведенных в Москве, оказались испытанием. Их семейное счастье сменялось то тяжелыми ссорами, то истериками Сони, то мрачными предчувствиями Льва Николаевича из-за пугающей его молодости жены и, как ему казалось, ее нарочитого легкомыслия.

Несмотря на все трудности, многие из которых были следствием упущенного для писания времени (отсюда Лёвочкина раздражительность), они подолгу бродили по Москве, подпитываемые энергией большого города и получая огромное удовольствие от посещения оперы, от концертов Николая Рубинштейна в Дворянском собрании и конечно же от картинных галерей. Особенно им запомнилась галерея Боткина, поклонника художников «барбизонской школы». Соня была поражена красотой и тонкостью работ художника Месонье. Зашли они и в галерею «какого-то любителя» Мосолова. На самом деле, это был очень известный в московских кругах коллекционер, обладавший собранием «малых голландцев». Но самое большое впечатление оставила экспозиция Румянцевского музея, где Соня увидела картину Александра Иванова «Явление Христа народу». Ее поразила «вдохновенная» голова Иоанна Крестителя. Эту картину она поняла, как «обещание, надежду в будущем». По приглашению молодого художника Крамского они побывали в храме Христа Спасителя. Лёвочка рассказал ей о своих детских впечатлениях, которые он испытал при закладке этого монументального собора. Соня внимательно осматривала росписи, и ее особенно поразил образ Бога Саваофа, написанный Крамским в куполе храма, где разместилось что-то вроде мастерской с подмостками, к которой вела узкая лестница. Именно здесь художники написали громадного Саваофа, у которого палец, как объяснил художник, был длиной в три аршина, чтобы снизу он выглядел в натуральную величину.

Пребывание в Москве запомнилось Толстым многими событиями, но особенно их встречей с большим искусством. От близких не ускользнула произошедшая с молодыми перемена. Они восхищались «идиллией» Сони

и Льва. Тем не менее за кадром было другое. Муж бегал по делам, передавал в редакцию «Русского вестника» свои рукописи, встречался с Аксаковым, чтобы насладиться его «красноречивым умом», общался с Фетом, Бартеневым, Черкасским, Погодиным. Он мог допоздна засидеться у Аксакова, излагая свои педагогические взгляды, и к четырем утра вернуться в гостиницу Шеврие в Газетном переулке, где его ждала рыдающая Соня. Она была измучена «неаккуратностью», тем, что «третий час, а он все не идет». После упреков, слез, целования Лёвочкиных рук наступало примирение, и Толстой говорил в таких случаях: «Безумный ищет бури: молодой, а не безумный».

Они прожили в Москве семь недель, встретили там Новый год и 8 февраля поехали встречать весну в Ясную Поляну. Им предстояла горячая пора по реорганизации усадебного хозяйства Ясной Поляны, которым, если рассуждать по существу, мало кто по — настоящему занимался еще со времен деда писателя князя Николая Сергеевича Волконского. Теперь внук решил тоже заняться преобразованием родной усадьбы, а может быть, и превзойти в этом деда, который так и не успел довести до конца начатое дело. Засучив рукава, Лев Николаевич активно взялся за решение хозяйственных проблем, которых накопилось немало. Он приступил к посадке яблоневого сада, завел пчел, закупил телят, овец и поросят лучших пород. В общем, по уши влез в хозяйственные заботы в поисках дополнительных источников для безбедного существования своей семьи, которая, по его разумению, должна с каждым годом приумножаться.

Итак, муж горячо принялся за дело, к великой Сониной радости. Однако эти начинания показались Лёвочке недостаточными, и он задумал строительство винокуренного завода, как основного источника семейного дохода. В этом его шаге просматривалось что-то наследственное. Как когда-то слышала Соня, один из предков Льва Николаевича, кажется, дед по отцовской линии, граф И. А. Толстой, имел два винокуренных завода. Вот и Лёвочка увлеченно принялся за реализацию этого весьма сомнительного, с точки зрения Сони, предприятия и подключил к нему своего соседа — приятеля, владельца имения Телятинки, расположенного в двух верстах от Ясной Поляны. Винокуренный завод был построен в соседнем поместье и просуществовал меньше двух лет, оказавшись, как и предполагала Соня, не только мало рентабельным, но и с «душком» некоего «фарсерства». Впоследствии она не раз упрекала мужа за этот неблагоприятный проект, который мог бы вполне скомпрометировать его доброе имя. Тем не менее Соня была в восторге от самих намерений мужа с головой окунуться в семейные заботы. Однако в этих своих устремлениях он вскоре

почувствовал непрочность, поняв, что не в этом должно заключаться их семейное счастье: «Смерть — и все кончено».

Только писательству не страшна смерть. Такие мысли посетили Лёвочку как раз на Пасху. Он понял, что не в страстях по хозяйству смысл жизни. Это уж слишком эгоистично. Так «гадко» жить нельзя. Он как будто пробудился от тяжелого сна, в котором пребывал в последнее время, ища материальное благополучие. Лев Николаевич «проснулся» и понял, что он «маленький и ничтожный» из-за того, что женился. Он уже не думал, как прежде, что жена — его счастье. В своем дневнике Толстой писал, что не может не любить жену, но это потому, что знал, что она будет это читать. В противном случае, писал бы иначе. Что это? Коварство? Вряд ли! Ведь брак для него — это некий треугольник, сформированный тремя фигурами: он, Соня и Луна. Именно Луна поднимала его кверху, отрывая от Сони и властвуя над ним целиком. И все это происходило на девятом месяце Сониной беременности!

Жена же жаждала совсем иного — полного подчинения себе мужа, не позволяя, например, ему задерживаться по хозяйству даже на два часа. Когда это происходило, ругалась, называла его «дурным человеком», очень злым по отношению к ней и к своему будущему ребенку. По мере приближения родов Соня становилась все более импульсивной, упрекала мужа в том, что у нее до сих пор «нет экипажа», чтобы кататься, и что он мало обращает на нее внимания и совсем не заботится о ней. Бывали минуты, когда она уже совсем не хотела ребенка, мечтала о том, чтобы случился выкидыш. Не случился. Ее постоянно мучили приступы рвоты. 28 июня 1863 года через «девять месяцев и шесть дней» Соня родила сына Сергея.

Роды начались из-за падения на лестнице. Кажется, не случайно. У Сони в это время голова шла кругом оттого, что не было няни, оттого, что не оказалось готовым детское приданое. Перед самым началом родов муж отправился в Тулу за акушеркой. Он очень нервничал. Его раздражали всякие разговоры, казавшиеся в это время такими ненужными. Вернувшись домой, Лёвочка увидел Соню, «серьезную, честную и трогательную». В этот миг она была «сильно хороша» своей строгостью и торжественностью. Все это муж записал в Материнском дневнике, который стал вести с момента родов жены.

Торжественность родов быстро сменилась прозой жизни. Младенца, похожего на «твердую куколку», наскоро запеленали в ночную отцовскую рубашку, которая оказалась под рукой. Соня не могла не заметить, что отец не захотел взять ребенка на руки, что отнесся к нему с «робким

недоумением». Она довольно рано поняла всю сложность своего материнства. Почти сразу заболела, у нее была обнаружена грудница. Врачи наотрогу запретили кормить ребенка грудью. Муж с открытой неприязнью воспринял это решение докторов. У него было категорически негативное отношение к появлению в доме кормилицы. А потом, как подметила Соня, к самой детской, с няней, кормилицей и женой.

Глава VI. «Фарфоровая кукла»

Казалось бы, всё теперь позади: и страшные предродовые боли и ее падение, и страхи, что выкинет ребенка, и мольбы целыми днями, чтобы он родился живым и невредимым, и злость на Лёвочку за его непонимание, и ссоры из-за ее молодой тяги к развлечениям, и ревность к мужу, похожая на врожденную болезнь, и ностальгия по родительскому дому, и тоска по маме, и неприятные, не раз повторявшиеся тяжелые сны, в которых она в бешенстве рвет на мелкие клочки ребенка Аксины Базыкиной, и боязнь, что ее из-за этого сошлют в Сибирь. В общем, ей целиком хотелось овладеть мужем, «влезть в его душу» и властвовать над ним безраздельно. Ведь только она могла дать ему очень много счастья.

На самом деле, все только начиналось. То, что было и прошло, оказалось всего лишь преддверием их совместной супружеской жизни, в которой она должна была быть не только любимой заботливой женой, хозяйкой дома и усадьбы, но прежде всего матерью, кормилицей родившегося ребенка, секретарем мужа — писателя. Серьезной проверкой Сониной материнской состоятельности стала грудница, из-за которой она не могла кормить грудью ребенка. Лёвочка считал присутствие кормилицы в доме «уродством». Не замедлило появиться выражение характерной брюзгливости на его лице, когда он подходил к детской, где находились кормилица с няней. Он забросил Материнский дневник, ставший для него истинным мучением. На его глазах не по дням, а по часам разрушался идеальный образ жены — матери. Все теперь казалось таким типичным, предсказуемым и легко узнаваемым. В своей нынешней Соне он рассмотрел свою капризную тетку Пелагею Ильиничну и узнал свою сестру Машу, когда она бывала в состоянии ворчливой озлобленности, то беспрестанно звонила в колокольчик. Он был поражен, напуган, потрясен Сониным «спокойным эгоизмом». Он вдруг понял, что она его никогда не любила на самом деле, а он занимался самообманом. В этом его еще больше убедил ее дневник, прочитанный им и обдавший «злостью», вырывавшейся «из-под слов нежности». В этот миг он так жалел свою «поэзию любви, мысли и деятельности народной», которую променял на «поэзию семейного очага, эгоизма ко всему», ничего не стоившего. Что получил он взамен? Ничего! Если не считать детских присыпок, варенья, ворчанья, порывов нежности с поцелуями. Ему стало страшно от такой семейной жизни «без любви» и «без тихого и гордого счастья». В этот

период Толстой похудел, почти ничего не ел и не спал. Смог урезонить Лёвочку лишь отец Сони, Андрей Евстафьевич, объяснивший незадачливому зятю, как опытный врач, с точки зрения медицины, что такое грудница и насколько сильны ее последствия не только для самой кормящей матери, но и для ее ребенка.

У Сони был свой взгляд на эту проблему. За прожитое с Лёвочкой время она многое успела понять в нем. «Физическая сторона любви» «у него играла большую роль». А для нее, как она думала, это было «ужасным: никаким, напротив». Не поэтому ли она становилась для мужа «фарфоровой куклой»? Кажется, об этом он писал сестре Тане, увидевшей в этом остроумнейшую шутку. Соня же находила в этой «шутке» совсем иные смыслы, отнюдь не безобидные. Она еще раз пробежала мысленным взором строки его письма — метафоры: «23 марта. Я[сная]. Вот она начала писать и вдруг перестала, потому что не может. И знаешь ли отчего, милая Таня. С ней случилось странное, а со мной еще более странное приключение. — Ты знаешь сама, что она всегда была, как и все мы, сделана из плоти и крови и пользовалась всеми выгодами и невыгодами такого состояния: она дышала, была тепла, иногда горяча, дышала, сморкалась (ещё как громко) и т. д.; главное же, владела всеми своими членами, которые, как то — руки и ноги, могли принимать личные положения; одним словом, она была телесная, как все мы. Вдруг 21 марта 1863 года в 10 часов пополудни с ней и со мной случилось это необыкновенное событие. Таня! я знаю, что ты всегда ее любила (теперь неизвестно уже, какое она возбудит в тебе чувство), — я знаю, что во мне ты принимала участие, я знаю твою рассудительность, твой верный взгляд на важные дела жизни и твою любовь к родителям (приготовь их и сообщи им), я пишу тебе все, как было.

В этот день я встал рано, много ходил и ездил. Мы вместе обедали, завтракали, читали (она еще могла читать). И я был спокоен и счастлив. В 10 часов я простился с тетенькой (она все была, как всегда, и обещала прийти) и лег один спать. Я слышал, как она отворила дверь, дышала, раздевалась, сквозь сон... Я услышал, что она выходит из-за ширм и подходит к постели, открыл глаза... и увидел Соню, но не ту Соню, которую мы с тобой знали, ее, Соню — фарфоровую! Из того самого фарфора, о котором спорили твои родители. Знаешь ли ты эти фарфоровые куколки с открытыми холодными плечами, шеей и руками, сложенными спереди, но сделанными из одного куска с телом, с черными выкрашенными волосами, подделанными крупными волнами, и на которых черная краска стерлась на вершинах, и с выпуклыми фарфоровыми

глазами, тоже выкрашенными черным на оконечностях слишком широко, и с складками рубашки крепкими и фарфоровыми из одного куска. Точно такая была Соня, я тронул ее за руку, — она была гладкая, приятна на ощупь, и холодная, фарфоровая. Я думал, что я сплю, встряхнулся, но она была все такая же и неподвижно стояла передо мной. Я сказал: ты фарфоровая? Она, не открывая рта (рот как был сложен уголками и вымазан ярким кармином, так и остался), отвечала: да, я фарфоровая. У меня пробежал по спине мороз, я поглядел на ее ноги: они тоже были фарфоровые и стояли (можешь себе представить мой ужас) на фарфоровой, из одного куска с нею дощечке, изображающей землю и выкрашенной зеленой краской в виде травы. Около ее левой ноги немного выше колена и сзади был фарфоровый столбик, выкрашенный коричневой краской и изображающий, должно быть, пеня. И он был из одного куска с нею. Я понял, что без этого столбика она бы не могла держаться, и мне стало так грустно, как ты можешь себе вообразить, — ты, которая любила ее. Я все не верил себе, стал звать ее, она не могла двинуться без столбика с земли и раскачивалась только чуть — чуть совсем с землей, чтобы упасть ко мне. Я слышал, как доньшко фарфоровое постукивало об пол, стал трогать ее, — вся гладкая, приятная и холодная фарфоровая, я попробовал поднять ее руку — нельзя. Я попробовал пропустить палец, хоть ноготь между ее локтем и боком — нельзя. Там была преграда из одной фарфоровой массы, которую делают у Ауэрбаха и из которой делают соусники. Все сделано только для наружного вида. Я стал рассматривать рубашку — снизу, сверху все было из одного куска с телом. Я ближе стал смотреть и заметил, что снизу один кусок складки рубашки отбит и видно коричневое. На макушке краска немного сошла, и белое стало. Краска с губ слезла в одном месте, и с плеча был отбит кусочек. Но все было так хорошо, натурально, что это была та же наша Соня. И рубашка, та, которую я знал, с кружевцом, и черный пучок волос сзади, но фарфоровый, и тонкие милые руки, и глаза большие, губы — все было похоже на фарфоровое. И ямочка на подбородке, и косточки перед плечами. Я был в ужасном положении, я не знал, что сказать, что делать, что подумать, а она бы и рада была помочь мне, но что могло сделать фарфоровое существо. Глаза полузакрытые, и ресницы, и брови — все было как живое издалика. Она не смотрела на меня, а через меня на свою постель, ей, видно, хотелось лечь, и она все раскачивалась. Я совсем потерялся, схватил ее и хотел перенести на постель. Пальцы мои не вдавились в ее холодное фарфоровое тело, и, что еще больше поразило меня, она сделалась легкою, как скляночка. И вдруг она как будто вся исчезла и сделалась маленькою, меньше моей ладони, и

все точно такую же. Я схватил подушку, поставил ее на угол, ударил кулаком в другой угол и положил ее туда, потом я взял ее чепчик ночной, сложил его вчетверо и покрыл ее до головы. Она лежала там все точно такую же. Я потушил свечку и уложил у себя под бородой. Вдруг я услышал ее голос из угла подушки: «Лёва, отчего я стала фарфоровая?» Я не знал, что ответить. Она опять сказала: «Это ничего, что я фарфоровая?» Я не хотел огорчать ее и сказал, что ничего. Я опять ощупал ее в темноте, — она была такая же холодная и фарфоровая. И брюшко у ней было такое же, как у живой, конусом кверху, немножко ненатуральное для фарфоровой куклы. Я испытал странное чувство. Мне вдруг стало приятно, что она такая, и я перестал удивляться, — мне все показалось натурально. Я ее вынимал, перекладывал из одной руки в другую, клал под голову. Ей все было хорошо. Мы уснули. Утром я встал и ушел, не оглядываясь на нее. Мне так было страшно за вчерашнее. Когда я пришел к завтраку, она была опять такая же, как всегда. Я не напоминал ей о вчерашнем, боясь огорчить ее и тетеньку. Я никому, кроме тебя, еще не сообщал об этом. Я думал, что все прошло, но во все эти дни, всякий раз, как мы остаемся одни, повторяется то же самое. Она вдруг делается маленькою и фарфоровою. Как при других, так все по — прежнему. Она не тщится этим и я тоже. Признаться откровенно, как ни странно это, я рад, и, несмотря на то, что она фарфоровая, мы очень счастливы.

Пишу же я тебе обо всем этом, милая Таня, только затем, чтобы ты приготовила родителей к этому известию и узнала бы через папа у медиков: что означает этот случай и не вредно ли это для будущего ребенка. Теперь мы одни, и она сидит у меня за галстуком, и я чувствую, как ее маленький острый носик врезывается мне в шею. Вчера она осталась одна. Я вошел в комнату, увидел, что Дора (собачка) затащила ее в угол, играет с ней и чуть не разбила ее. Я высек Дору и положил Соню в жилетный карман и унес в кабинет. Теперь, впрочем, я заказал, и нынче мне привезли из Тулы деревянную коробочку с застежкой, обитую снаружи сафьяном, а внутри малиновым бархатом с сделанным для нее местом, так что она ровно локтями, головой укладывается в него и не может уж разбиться. Сверху я еще прикрываю замшей.

Я писал это письмо, как вдруг случилось ужасное несчастье. Она стояла на столе, Н. П. толкнула, проходя, она упала и отбила ногу выше колена. Алексей говорит, что можно заклеить белилами с яичным белком. Не дают ли рецепта в Москве? Пришли пожалуйста».

Рукою С. А. Толстой: «21 марта 1863 г. Что ты, Танька, приуныла?... — Совсем мне не пишешь, а я так люблю получать твои письма, и Лёвочке

ответа ещё нет на его сумасбродное послание. Я в нем ровно ничего не поняла».

Соня по — своему подытожила их десятимесячную совместную жизнь, продемонстрировав, что она вовсе не «фарфоровая кукла», лишенная чувств. «Все свершилось, я родила, перестрадала, встала и снова вхожу в жизнь медленно, со страхом, с тревогой постоянной о ребенке, о муже в особенности. Что-то во мне надломилось, что-то есть, что, я чувствую, будет у меня постоянно болеть; кажется, это боязнь неисполнения долга в отношении к своей семье. Я ужасно стала робеть перед мужем, точно я в чем-то очень виновата перед ним. Мне кажется, что я ему в тягость, что я для него глупа (старая моя песнь), что я даже пошла. Я стала неестественна, потому что боюсь пошлой любви матки к детищу и боюсь своей какой-то неестественно сильной любви к мужу. Все это я стараюсь скрывать из ложного, глупого чувства стыда. Утешаюсь иногда, что, говорят, это достоинство — любить детей и мужа. Боюсь, что на этом остановлюсь — хочется немного хоть обрадоваться, я так плоха опять-таки для мужа и ребенка. Что за сильное чувство матери, а как мне кажется не странно, а естественно, что я мать. Лёвочкин ребенок — оттого и люблю его. Нравственное состояние Лёвы меня мучает. Богатство мысли, чувство, и все пропадает. А как я чувствую его все совершенство, и Бог знает, что бы дала, чтобы он с этой стороны был счастлив».

Соня почти упала духом. Машинально она искала у мужа поддержки, подобно тому как ее ребенок искал материнскую грудь. «Боль гнет в три погибели. Лёва убийственный. Хозяйство вести не может, не на то, брат, создан. Немного он мечется. Ему мало всего, что есть; я знаю, что ему нужно; того я ему не дам. Ничто не мило. Как собака, я привыкла к его ласкам — он охладел. Все утешает, что такие дни находят. Но это очень часто». Она призывала себя к терпению.

Теперь муж стал для нее словно «фарфоровый». Между тем время все расставило по своим местам. Муж видел в своей жене не какой-то мнимый, воображаемый образ, а вполне реальный, со всеми плюсами и минусами. Ему не нравилось, как Соня играет в «графиню», которой «девка» расчесывает «волосики». Ему нравилось все только Сонино, присущее исключительно ей: робкая улыбка, негромкий смех, полудетское целование пальцев его рук, пронизательный взгляд и, главное, ее спокойная основательность, ее умение понимать. Возможно, в этом сказывалось и ее теперешнее соприкосновение с гением, превращавшее все вокруг в совсем необычную повседневность. Каждый месяц совместно прожитой с ним жизни можно было смело приравнять к году. Это обстоятельство, а также

свойственная Соне взрослость позволяли ей предвосхитить нежелательные последствия многих поступков мужа. Так, однажды, накануне их ситцевой свадьбы, Толстой преподнес жене своеобразный «подарок», объявив о своем внезапном намерении идти на войну. Соня усмотрела в этом поступке желание покрасоваться, погарцевать, вспомнить молодечество. Ей казалось, что муж устал от семейной жизни и хочет «весело скакать на лошади, любоваться, как красива война, и слушать, как летают пули». Возможно, Соня в этот момент забыла его «Севастопольские рассказы», в которых автор поведал «не о правильном, красивом и блестящем строе с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами», а о «настоящем ее выражении», которое «в крови, в страданиях, в смерти». Казалось бы, совсем недавно тесть урезонивал своего зятя, грозно требуя от Сони и Льва «с ума не сходить», иначе он сам объявится в Ясной Поляне и наведет там порядок. Андрей Евстафьевич требовал, чтобы оба прекратили дурить, успокоились и не делали из мухи слона. А своему зятю посоветовал не преобразовывать свою натуру в «мужичью». Он также просил его написать повесть о том, как муж мучил свою больную жену, не могущую кормить ребенка, и как бабы, прочитав все это, забросали бы его камнями. Тем не менее никакие уговоры не помогали, и Толстой вел себя в прежнем духе, намереваясь идти на войну. Это было больше похоже на странную взбалмошность не умудренного мужа, а кичливого юнца, капризно настаивавшего на своем. Соня категорически отказывалась верить в любовь мужа к Отечеству, так же как и в «enthousiasme» в 35 лет! «Нынче женился, — рассуждала она, — понравилось, родил детей, завтра захотелось на войну, и бросил. Надо теперь желать смерти ребенка, потому что я его не переживу». К счастью, война не началась, вместе с этим и улетучились плохие мысли и чувства Сони. Вскоре Лёвочка сделал очередное признание: «Я ею счастлив, но я собой не доволен страшно... Выбор давно сделан. Литература — искусство, педагогика и семья». Соне нравились подобные мысли мужа. Только она поменяла бы эти слова местами, поставив семью на первое место.

Глава VII. «Цыц, девы!»

После «Казаков» и «Поликушки» муж, «покопавшись в голове», снова нашел там «между старым забытым хламом» любимый запах художественного. Захотел снова писать, и жене пришлось одной «вести контору и кассу». Хозяйство разрасталось — к пчелам и овцам добавился новый яблоневый сад, и его состояние было далеким от идеала.

Муж решительным образом запретил себе «катиться под гору смерти», ради бессмертия и любви к Соне, которая уже «совсем не играла в куклы». Она стала «серьезным помощником», заменив собою всех прежних приказчиков, управляющих и старост. Теперь Толстой не был озабочен покупкой веревок, вожжей, тяжей, не вытягивал невода во всю ширину Большого пруда, чтобы караси не ускользнули и не спрятались глубоко в иле.

Соня, сняв с платья пояс с огромной связкой тяжелых амбарных ключей, отдав последние распоряжения мальчику-слуге, какой мешок принести из амбара, быстрыми шагами направилась в дом, в кабинет мужа, который был охвачен страстью творчества, вдохновленный и освобожденный ею от тягот быта. Теперь он «пропахивал» совсем иное поле, на котором ему суждено было сеять. Перед началом работы Толстой всегда крестился, помня о том, что *ars longa, vita brevis* («искусство длинно, а жизнь коротка»).

Соне хотелось быть соавтором мужа во всем, но особенно в писательстве. Она запомнила слова мужа: «Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа». Переписывая его черновики, целые главы романа, она открывала много нового о себе и своих близких. Ведь он оставлял в чернильнице не только кусочек своей жизни, но и Сониной, и «вертушки» Тани, которая раскрыла ему немало тайн жизни своей и своих сестер. Соня, в отличие от его героини Наташи Ростовской, «удостаивала себя быть умной». Тем временем Лёвочкин роман становился «общим дитя». Ведь Соня столько раз его переписывала. Подсчитать все ее поправки и переписки просто невозможно. Она была счастлива от сотрудничества с мужем, ведь эта работа вдохновляла ее, возвышала. Соня боялась только, что это когда-нибудь кончится. Она просила Бога, чтобы это продолжалось как можно дольше. О новом Лёвочкином романе она с суеверным трепетом и даже страхом как-то поведала сестрам: «Девы, скажу вам по секрету, прошу не говорить: Лёвочка, может быть, нас

опишет, когда ему будет 50 лет. Цыц, девы!» К счастью, это произошло значительно раньше. Соня садилась и начинала переписывать, уносясь в какой-то особый, волшебный — поэтический мир, давно забытый, с диванными признаниями, с полудетской атмосферой их дома, когда все были друг в друга хотя бы немножко влюблены, с разговорами, так напоминавшими птичье щебетание, с нежным перебиранием Лёвочкиных пальцев рук, с целованием их косточек и нашептыванием по порядку всех дней недели: «Понедельник, вторник...» Порой Соне казалось, что не Лёвочкин роман так хорош, а просто она столь умна. С самого начала своего пути жены писателя Соне удалось не соскользнуть в безликую пустоту анонимности и навсегда запомниться великой счастливницей.

Однажды он восторженно — возбужденно обратился к ней со словами: «Какой великолепный тип дипломата я сейчас представляю себе!» Она тихо переспросила его: «А что такое дипломат?» Ведь ей тогда было всего 20 лет. Но даже это незнание казалось ему таким милым, и конечно же оно не мешало ему любить ее так крепко, как «никогда никого, кроме нее, не любил». Только Соня знала, как сделать Лёвочку счастливым. Это было невыносимо трудно, словно «ходить по ножу».

Словом, замужество, хотя еще и короткое, делало Соню совсем иной, уже похожей на настоящую жену писателя. Ей так понравилось, как однажды муж сравнил их семейную жизнь с ветвистой яблоней, которая растет во все стороны, но жизнь подрезает ее «ветви — крылья». И яблони после этого становятся подстриженными, подпертыми и растут в один ствол, не мешая друг другу. Так и их семейная колея, как внушал ей муж, должна быть непременно ограничена долгом, умеренностью, спокойствием, и в ней не должно быть места для каких-либо порывов страсти.

Сонина кремлевская девичья жизнь потихоньку забывалась. Теперь Соня жила эгоистическим чувством, уверенная в том, что ей нет ни до кого дела, кроме членов своей семьи — Лёвочки и «Сергулевича» (сына Сергея. — Н. Н.). Изредка к ним в Ясную Поляну навещался Афанасий Фет со своей женой Марией Петровной. Глядя на них, Соня думала, что хорошо жить только с тем, кто умеет любить. А вот Лёвочка в это время порой забывал о ней, предпочитал общение с ней охоте. Он брал с собой сеттера Дору, каждый раз хваля собаку за то, что она не эгоистка. Соня, конечно, догадывалась, что эти слова — камень в ее огород. Ей оставалось только оправдывать мужа, что у него, кроме охоты и прогулок, больше нет никакой жизни. В общем, милые бранились — только тешились.

На самом деле, Соня понимала, что частые вспышки недовольства со

стороны мужа объяснялись его писательским зудом. Ведь не случайно он ей не раз говорил, что «поэт лучшее своей жизни отнимает от жизни и кладет в свое сочинение».

Оттого, по его мнению, сочинение так прекрасно, а жизнь так дурна. Жена же считала это высказывание мужа большим преувеличением. Ведь их жизнь не была дурной, а, напротив, очень «хорошей, чистой», как, впрочем, и его сочинения. Оба старались не предаваться порокам, которые осуждались общественным мнением, были озабочены исключительно эгоистическими интересами друг друга, строя свою совместную жизнь. Вскоре, однако, муж «перепряг» свою «хозяйственную колесницу», поставив свое художество во главе, а на пристяжку — хозяйство, и «поехал» гораздо «покойнее».

Вскоре Соня сообразила, что очень глупо почивать на лаврах, наслаждаясь завоеванным счастьем. Она умела смотреть в будущее. И потому свое семейное счастье представляла как процесс, начало которого находится в романтических порывах к возлюбленному, а продолжение — в любви к ребенку. И все-таки самое главное место в ее душе занимал муж, которым она хотела владеть без остатка. Хотела всегда быть «подле него», сделаться им. Кажется, Соне больше всего нравились его занятия, когда он склонялся над своим фамильным письменным столом, торопливо доставал из ящика чистые листы бумаги, крестился, словно благословляя себя на мученический труд, и писал своим крупным веревочным почерком, столь дорогим ей, о вечном хаосе добра и зла. Ее завораживала эта словесная магическая субстанция, затягивавшая ее, словно в воронку. Она чувствовала себя уже Наташей Ростовой, размышлявшей о том, что все люди были когда-то ангелами.

За эту волшебную способность превращать ее в Наташу Соня еще больше любила мужа. Читая только что написанные им страницы, она погружалась в прошлую девичью жизнь, переполненную «страхами радости», вызванными любовью. Вспоминала, как она ложилась в постель к матери, нервно расспрашивая ее о своих тревогах, о том, что он намного старше ее, и как ей быть с этим. И как мама не знала, что ответить дочери. Лёвочкин роман пробуждал в ней воспоминания о зарождении телесных чувств в Бирюлево, которые подпитывались душой, как произошло там что-то неведомо — таинственное, принадлежавшее только им одним и больше никому на свете.

Сонин труд, сравнимый лишь с трудом Пенелопы, был сполна вознагражден. Ведь благодаря переписыванию Лёвочкиных текстов она могла останавливать стрелки часов и пребывать в безмятежном радостно —

счастливым состоянии. Оно-то и пробуждало силу жизни. Благодаря этому она могла постичь тайну своей любви, насладиться ее поэзией. Своеобразное соавторство с мужем помогало ей преодолевать прозу супружеской жизни, как бы заново открывая красоту и трепет их отношений. Теперь она словно еще раз пролистывала свою жизнь, осмысляя ее как-то иначе. Так, описание беременности маленькой княгини Болконской позволило ей еще раз вспомнить себя беременную в реальной, а не романной жизни. Читая и переписывая эпопею, Соня часто видела себя словно со стороны, от этого происходило некоторое раздвоение. Теперь она понимала, что, например, беременность можно увидеть не только по растущему животу, а прежде всего по глазам женщины, которые только в этот миг обретают какую-то особую торжественную красоту.

Переписывание романа стало для Сони не только самоотверженным трудом, но и формой ее сотворчества с мужем, возможностью глубже понять его. А главное, не быть лишь плодотворной самкой. Этот труд не позволял ей «опуститься» подобно Наташе Ростовой, после родов превратившейся в удобную мишень для всевозможных острот и шуток близких. Одежда, прическа героини, точнее, отсутствие таковой, невпопад произносимые слова, делали Наташу теперь неузнаваемой. Муж и дети героини словно держали ее под башмаком, не позволяя ей участвовать в интеллектуальных занятиях мужа. И Наташа все больше боялась стать помехой в делах Пьера. У нее не было своих слов, и она говорила словами мужа. Соне не нравилась такая перемена в Наташе. И она не хотела в этом походить на толстовскую героиню. Свое предназначение Соня видела гораздо шире. Она не желала замкнуться в мире спальни и детской. Ей нужно было гораздо большее пространство, в котором она постоянно была бы рядом с ним, даже в рабочем кабинете. Ведь она так боялась его потерять, как будто боялась потерять себя.

Соня, как и Наташа Ростова, с головой ушла в семью, но не забывала и о том, что она жена писателя. Поэтому она умом и душой вникала во вторую реальность, писательскую, которая магическим образом объединяла ее с мужем. Она чувствовала в себе много сил, позволявших ей справиться с почетным званием жены писателя. Поэтому она вплетала свои «розы» в ткань его романа. Все смешалось в их жизни: и мысли, и слова, и дела. Все стало общим. Не случайно она называла роман «Война и мир» и своим детищем тоже.

Для Сони годы переписывания романа «Война и мир» стали лучшими в жизни. Родители были очень довольны замужеством дочери, не раз повторяя, что «лучшего счастья пожелать нельзя». Она говорила, что семь

раз переписывала роман, делая это с величайшим наслаждением, вдохновляясь творческой энергией мужа, который в это время предавался писательству «как средству для улучшения своего материального положения», ведь для него «было единой истиной, — что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше». Для него самым важным было спокойствие и благополучие в доме. Однажды он даже признался Соне: «Если бы пришла волшебница и предложила... исполнить мое желание, я бы не знал, что сказать». В общем, счастлив был ею. «Всемогущий бог молодости» овладел обоими, покровительствуя им во всем — и в семейных радостях, и в писательском успехе.

Соня любила следить за ходом мысли мужа в романе «Война и мир». Ей, правда, совсем не нравились Лёвочкины описания военных сцен, зато она с огромным удовольствием наслаждалась сценами семейной жизни своих любимых героев. В такие минуты она не чувствовала себя одинокой, не обращала внимания на то, что муж приносил с собой усталость от работы над романом. Постоянное переписывание рукописей помогало ей гораздо сильнее сжиться с мужем, полюбить его более страстно, ревниво, поэтично и беспокойно. А Лёвочка, который уже почти год не брал в руки свой дневник, теперь решил сделать такую запись: «Отношения с Соней утвердились, упрочились. Мы любим, то есть дороже друг для друга всех других людей на свете, и мы ясно смотрим друг на друга. Нет тайн, и ни за что не совестно».

Теперь Соня с полным правом могла называть себя «женой писателя» и охотно соглашалась со «званием», присвоенным ей Владимиром Александровичем Соллогубом — «нянька таланта». Ведь такой нелегкий ее труд сродни профессии, а может быть, это призвание, благодаря которому она всегда рядом с мужем.

Соне нужно было научиться говорить словами Лёвочки, мыслить его категориями, переписывать вечерами, вне зависимости от своего состояния, собственного здоровья и здоровья ребенка, от ведения большого хозяйства и многого — многого другого. Она не отставала в трудолюбии от мужа, верившего в то, что скоро только дело делается, но не скоро сказка сказывается. А что уж тут говорить об эпосе?! Пожалуй, только одна сцена охоты Наташи с братом и посещение ими дядюшки создавались Лёвочкой на одном дыхании, не потребовав от него переделок и переписываний.

Старательно «выбеливая» Лёвочкин роман, она словно еще раз проживала свою жизнь, а заодно и сестры, «Тани — волшебницы». Для Сони здесь все было таким знакомым и родным, таким близким и живым,

таким бесконечно женственным, как крик Наташи во время родов, словно эхом отзывавшийся в ней. Читая страницы романа, посвященные любимой героине, она невольно узнавала в ней то себя, то Таню. Например в сцене с пеленкой и желтым, вместо зеленого пятном, и в утешении родных, что молодой мамаше не стоит беспокоиться о ребенке, потому что на самом деле он идет на поправку. Этот фрагмент еще раз напомнил Соне ее историю с первенцем Сергеем. Прочитав страницы романа, где Наташа уже окончательно превратилась в «самку», Соня словно приоткрыла таинственную завесу и заглянула в свое будущее, наполненное плодовитым материнством. Преодолев страх от встречи с будущим, она продолжила знакомство с романом: «Она (Наташа. — *Н. Н.*) чувствовала, что те очарования, которые инстинкт научал ее употреблять прежде, теперь только были бы смешны в глазах ее мужа, которому она с первой минуты отдалась вся, то есть всею душой, не оставив одного уголка не открытым для него. Она чувствовала, что связь ее с мужем держалась не теми поэтическими чувствами, которые привлекали его к ней, а держалась чем-то другим — неопределенным, но твердым, как связь ее собственной души с телом».

Соня прекрасно понимала, что ее Лёвочка, как и Пьер, мог сколь угодно умствовать, мечтать о пользе для народа, но если бы дошло до реального, например, до раздачи имения, то она, как и Наташа, скорее «отдала бы его под опеку», чем позволила бы что-то подобное сделать. Ее поразительное трудолюбие вознаграждалось тем, что она допускалась мужем в его святую святых — творческую лабораторию. Вдохновленная творческой энергией мужа и невольно воображая себя им, Соня порой принималась за активную правку его рукописей, выкидывая что-то, как ей казалось, лишнее из текста во имя спасения невинных душ молодых читательниц. Порой она становилась безжалостным критиком и требовала, чтобы муж исключил, например, эпизод о развратной красавице Элен Безуховой. Она боялась, что такой неприлично — грязный пассаж лишает роман истинной поэзии. Нахмутив брови, жена настаивала на том, чтобы автор убрал ту или иную фразу, или эпизод, или знаки препинания. Она жалела те прекрасные сцены, от которых муж почему-то хотел избавиться, и радовалась, как дитя, когда их удавалось отстоять. Ведь за время переписывания романа она успевала сжиться с любимыми героями, побывать в их роли. Муж иногда соглашался с ее замечаниями, а чаще — недовольно «огрызался» и раздражался, а если был не в духе, то грозно ей объяснял, что то, о чем она говорит, — все мелочи, а важное в другом — только в общем. Но, несмотря на все эти милые пустяки, ее окрылял такой нелегкий труд, окутывал облаком радости, заряжал творческой энергией,

заставляя верить в то, что этот прекрасный роман и есть ее истинное дитя.
Такова была сила эмпатии.

Глава VIII. Форс — мажор

Уже было написано автором «Войны и мира» десять печатных листов, а сколько их переписала жена писателя — не перечесть. Но Соня снова готовила себя к очередным мужниным переделкам. Однако просчиталась на этот раз, забыв о его охотничьем зуде, который заставил Лёвочку отложить свой труд в сторону. В самом конце сентября 1864 года он отправился на английской рыжей кобыле к соседу А. Н. Бибикову в Телятинки, чтобы договориться с ним о предстоящей охоте. Случайно за ним увязались две борзые собаки, а далее последовала цепочка случайностей, наводящая на мысль, что в жизни ничего не бывает случайного, что за кажущимся случайным всегда скрывается сам Бог. Случайно им на пути встретился заяц, собаки бросились за зайцем, а за ними и Лев Николаевич вскачь, азартно крича: «Ату его!» Лошадь случайно наткнулась на глубокую рытвину, упала, а вместе с ней упал и всадник и вывихнул правую (!) руку. Лошадь сбежала, а всадник, страдая от сильной боли, все более осознавал чудовищность своего положения. Ему казалось, что все это «когда-то и давно было». Проезжавший мимо мужик случайно увидел его, подобрал и привез в деревню. Лев Николаевич попросил, чтобы его оставили здесь, а не везли в усадьбу: он боялся напугать свою беременную жену.

А Соня, предчувствуя что-то неладное, очень волновалась. У нее пропал аппетит, и она все время выбегала на крыльцо. Наконец, мать сообщила ей о том, что произошло с ее мужем. Соня вместе с матерью отправилась в деревню, где застала ужасную картину. В избе сидел ее муж, обнаженный по пояс, двое мужиков крепко его держали, а доктор Шмигаро и фельдшер весьма неумело вправляли кость. Лев Николаевич кричал от боли. Всю ночь он не спал, мучился. К счастью, утром приехал опытный доктор Преображенский, который под хлороформом сумел поставить больную руку на место.

Спустя неделю Соня родила здоровенькую девочку. Ликующий муж нежно целовал ее голову и рыдал от счастья. Любовь Александровна крестила внучку, названную Таней. Радость рождения придала силы Соне и ее мужу, который на время позабыл о больной руке и даже стал искушать судьбу, снова отправившись на охоту за вальдшнепами. Но вскоре рука перестала подниматься, не заживала совсем. Лев Николаевич был вынужден срочно уехать в Москву, чтобы показаться известному хирургу

Попову.

Соня тяжело расставалась с Лёвочкой, жизнь исключительно в детской казалась ей неполной, и она снова принялась за переписку романа, что доставляло ей большое удовольствие. Она очень быстро закончила новую главу и отослала ее по почте в Москву. Оставшись без дела, Соня заскучала: «Сижу у тебя в кабинете, пишу и плачу. Плачу о своем счастье, о тебе, что тебя нет, вспоминаю свое прошедшее, плачу потому, что Машенька (сестра мужа. — *Н. Н.*) заиграла что-то, и музыка, которую я так давно не слыхала, разом вывела меня из моей сферы детской, пеленок, детей, из которой я давно не выходила ни на один шаг, и перенесла куда-то далеко, где все другое. Мне даже страшно стало, я в себе давно заглушила все эти струнки, которые болели и чувствовались при звуках музыки, при виде природы, и при всем, что ты не видел во мне, за что иногда тебе было досадно на меня. А в эту минуту я все чувствую и мне больно и хорошо». Так Соня писала мужу, находившемуся в это время у ее родителей. А он в ответ признавался, что «сильно всеми Любоями любил все это время ее... И чем больше любил, тем больше боялся».

Вдогонку Соня писала своей сестре Тане, что «поручает» ей своего мужа «держатъ его построже». Просила следить за ним, чтобы он не застудился и не объедался. Умилительно просила также не покидать его, «побольше петь ему», что так нравилось Лёвочке, не забывать после обеда «угощать вареньицем» и не позволять девятилетнему брату Степе надоедать мужу, особенно во время занятий.

В конце ноября Лёвочке по настоянию жены сделали операцию под хлороформом, потому что лечебные ванны и гимнастика не принесли желаемых результатов. Он пошел на это только ради нее. «Неприятно мне было остаться без руки немного для себя, но, право, больше для тебя», — написал он ей. Еще к этому шагу его подтолкнула опера Россини «Моисей», услышанная им в Большом театре и словно вызвавшая в нем новый прилив жизни, желание побороться за себя. На сей раз рука зажила быстро — за две недели. Между тем Лёвочка не тратил время зря, ходил по книжным лавкам, работал в архивах, в общем, искал материал для дальнейшей работы над романом, с этой целью намеревался поехать в Вену. Из-за огромного количества собранного материала ему «не писалось», словно «все расплывалось» перед ним.

Из писем мужа Соня узнала, что Лёвочка решил продать издателю «Русского вестника» М. Н. Каткову «на днях» подготовленный «1805 год», и тот сразу же согласился на это издание. «Когда мой портфель запустел и слюнявый Любимов (бывший профессор физики, прозванный «любимым

ослом» Каткова. — *Н. Н.*) понес рукописи, мне стало грустно, именно оттого, за что ты сердишься, что нельзя больше переправлять и сделать еще лучше», — писал Лёвочка. Узнав о продаже первой части романа, Соня «горячо и настойчиво» просила мужа, чтобы он опубликовал роман полностью, отдельной книгой, а не частями. Она пришла в негодование, узнав, что какой-то «плюгавенький человечек» гнусно торговался с автором романа. Лёвочка послушал жену, и роман был напечатан целиком в типографии Риса под зорким наблюдением Петра Ивановича Бартенева. Соне было тоскливо без любимого дела. Теперь она перестала «бранить, бранить» мужа за то, что он без конца поправлял свой роман.

Лев Николаевич продолжал работать, диктуя теперь новые главы эпопеи свояченице Тане, которая запомнила его «сосредоточенное выражение лица» и еще то, как он все время «поддерживал одной рукой свою больную руку, ходил взад и вперед по комнате», он диктовал повелительным тоном, словно не видя ее, а будто общаясь с небесами. Интонация его часто менялась, то становясь тихой и плавной, производя впечатление заученного текста, то громкой, прерывистой, куда-то спешащей. Только Соня могла до конца понять эту тайну своего мужа. Он не мог писать спокойно, без экспрессии, и эту экспрессию мог отыскать всюду: в московских театрах, в исторических романах Загоскина, в отзывах своих коллег Аксакова или Жемчужникова, и обо всем этом сообщал Соне. Их переписка не прерывалась во время пребывания Лёвочки в Москве.

Соня считала себя очень счастливой, ведь она была женой такого замечательного человека, который столь стойчески перенес травму рабочей руки. Она не могла себе представить жизни без него. Ей казалось таким странным, что без него по-прежнему в Ясной Поляне подавали обеды и топили печи, и так же ярко светило солнце, и все такой же оставалась тетенька и все остальные. Читая очередное послание мужа, она снова заряжалась его энергией, наслаждалась его «каракульками», написанными больной рукой, и любила его от этого еще сильнее, «всеми своими Любоями». В такие минуты ей казались глупыми их ссоры из-за какого-нибудь «горошку». Она любила его всегда — и издалека, и вблизи, и даже тогда, когда бывала в дурном настроении. И он прощал ей все.

Но Соня считала, что муж чересчур придирчив к ней, слишком уж часто ее поучает и воспитывает. Так, например, он говорил, утверждая, что она «очень похожа» на свою мать, Любовь Александровну, что у них все «нехорошие черты одинаковые», что они обе всегда уверенно судят о том, чего не знают на самом деле, что у нее и у ее мама «ум спит» из-за полного равнодушия к умственным интересам. Только ум практический, присущий

им обеим, всегда бодрствует. Соня прощала ему такие пассажи. Она хорошо понимала, что они вызваны желанием Лёвочки привить ей любовь к прекрасному, особенно к музыке и к природе. Под влиянием мужа она была готова серьезно заниматься музыкой, исключительно потому, чтобы быть ему приятной. Но ей это плохо удавалось. Следуя советам мужа, она выезжала в Покровское к своей золовке Маше, к баронам Дельвигам, которые ее очень звали. Она старалась во всем следовать «родительским» наставлениям мужа, особенно «на счет полосканья во время сердца». Так, Лев Николаевич учил рассердившуюся жену, что прежде чем что-нибудь сказать, она должна набрать в рот воды и подержать какое-то время, и «сразу успокоишься». Но после мужниных нравоучений непременно следовало пожелание: «Только ты меня люби, как я тебя, и все мне нипочем, и все прекрасно».

Соня понимала, что счастье без труда невозможно. Она становилась хорошей женой, смотревшей на все глазами мужа, знала свой предел для порывов и страстей. В общем, их жизнь протекала спокойно, радостно, эгоистично. Об этом муж как-то написал свояченице Тане. Его письмо получилось странным. Ведь он обращался к 18-летней девушке с надеждой на то, что только она одна сможет его понять. Он писал ей, что эгоизма не должно быть между мужем и женой, если они, конечно, любят друг друга. Он просил ее написать, что она думает об этом. Безусловно, это письмо было спровоцировано размолвкой с Соней, но почему он послал это письмо ее сестре? Соня хотела разгадать эту загадку. Она вспомнила теперь Лёвочкины восторженные слова в адрес «Тани — сестры», как он называл ее прелестной, поэтической, как ценил ее несравненный шарм, как восхищался ее «берсеином». Таня умела плести вокруг себя «паутину любви», в которую многие попадали, словно в сети, в том числе и старший брат Толстого, Сергей Николаевич. «Чудная, милая, чистая, страстная, энергичная, с прекрасной душой и божественным даром все талантливо описывать» — такие слова приходили на ум двум братьям при виде Сониной младшей сестры. В Ясной Поляне Таня чувствовала себя как «во втором родительском доме», в котором Лёвочка был ее «вторым отцом», «родившим» ее на страницах своего романа. Многие реалии ее жизни — болезнь, страсть к охоте, чудное пение, говенье, молитвы — он «перетолок» в своей эпопее, и благодаря этому она стала вечной Наташей. Соня вспомнила, как старший брат мужа Сергей сказал как-то Льву: «Подожди жениться. Мы будем венчаться в один день на двух родных сестрах». Судьба распорядилась иначе. Таня рассказала Соне, как однажды, оказавшись наедине с Сергеем Николаевичем, она нервно перебирала

огромную связку ключей, и вдруг тишину нарушило внезапное жужжание мухи. Тогда Таня загадала: «Если муха поползет вверх, то...» Она не успела загадать, как муха поползла вверх, и Таня услышала: «Я вас прошу стать моей женой». Двенадцать дней она была его невестой. Но Сергей Николаевич — человек изменчивый, мечущийся между цыганкой Машей Шишкиной, от которой имел детей, и Таней. В конце концов он предпочел Машу и написал отчаянное письмо брату, в котором объяснил, почему не мог оставить ее и детей: «Все эти несчастные десять дней я лгал...»

После этого Лёвочка стал утешать, развлекать свояченицу. Он постоянно брал ее с собой на тягу вальдшнепов. Охотничий мир объединял их. Соня нервничала. Когда она купала двух своих малышек, а потом кормила их и затем укладывала спать, ее муж находился с сестрой Таней в лесу. А Соне так хотелось быть в этот момент со своим Лёвочкой. Однажды она собиралась с ним ехать верхом, но послушно уступила свое место Тане и потом грустила дома в одиночестве. Иногда плакала, сознавая, что Лёвочке гораздо приятнее общество Тани, ловкой, веселой, певучей, а не ее, надоевшей, скучной жены, вечно погруженной в семейные заботы и хлопоты. А ведь Соне в это время было всего двадцать лет. Таня «втиралась» в ее жизнь, и Соня даже подумала как-то, что если бы не Сергей Николаевич со своими чувствами к ее сестре, то, может быть, близость мужа с Таней могла бы закончиться очень плохо. Ей было горько вспоминать, как однажды летом она вместе с Лёвочкой и гостями собиралась прокатиться в кабриолете, и как муж, будучи инициатором прогулки, небрежно произнес: «Ты, разумеется, дома останешься?» Соня с ужасом увидела, что все места заняты, и едва сдерживая слезы, направилась в детскую, где долго потом горько плакала. В конце концов она пришла к выводу, что «никогда не надо никого, ни мужчин, ни женщин, допускать близко в интимную жизнь супругов, это всегда опасно».

Глава IX. «Не люблю хозяйства никакого»

Соне легко удавалась сложная роль жены — матери. Она выросла в большой и дружной семье, где соблюдались традиции, заботились о старших и помогали младшим. Она учила братьев, шила для них рубашки по готовым выкройкам, которые складывала в свой любимый красный сундучок. Что уж говорить о том, что ей хотелось танцевать, например качучу, темпераментный андалузский танец, сопровождаемый дробным пристукиванием каблуков и пощелкиванием в такт кастаньетами, но она знала, что ей следует заниматься делом: штопать, чинить, шить, вышивать. С 11 лет Соня была приучена рано вставать, чтобы готовить кофе отцу, выдавать кухарке провизию из кладовой, и только после этого она начинала готовиться к урокам. Соня с детства усвоила правило: делу время — потехе час. Поэтому прежде всего занималась домашними делами. Затем ее сменяла Лиза. Повзрослев, сестры перешли на месячное дежурство, посменно передавая друг другу кладовую с продуктами, шкафы с книгами и со столовым бельем. И Соне, и Лизе за свою смену приходилось переколоть сахар на целый месяц, перемолоть кофе, вымыть чисто полки. Однажды Соню за колкой сахара застал дядя Костя, младший брат мама. «Какой стыд! Mon petit cousine и занимается делом экономки. Ты себе руки испортишь!» — воскликнул он. Но Любовь Александровна придерживалась другого мнения, поэтому с гневом остановила разошедшегося брата. В общем, ведение домашнего хозяйства было привычно для Сони. Ее поразили эпатажные спартанские привычки мужа, спавшего на грязной сафьяновой подушке без наволочки, аскетичная простота яснополянского быта, отсутствие какой-либо роскоши, кроме старинных венецианских зеркал. Обитатели усадьбы пользовались простыми железными приборами.

С упорством Соня стала свивать свое гнездо. Облик Ясной Поляны, сильно обветшавшей, требовал, чтобы его основательно «подчистили». Ведь до Сони хранительницей и управительницей усадьбы долгое время была тетенька, которая, как казалось Соне, делала все не так, как надо. Например, она угощала без ее ведома болезненного сына Сережу, часто страдавшего поносами, котлеткой, да еще с горошком в придачу. А еще тетенька постоянно выбрасывала сор рядом с домом. Соня самым решительным образом принялась за реформирование яснополянского быта, вдохновляемая рассказами Лёвочки об усадьбе Новосильцевых, которую он

недавно посетил. Муж был поражен там изяществом парков, беседок, прудов, *point de vue* (видом. — Я. Я). Но ведь Ясная Поляна, полагала она, гораздо милее и лучше, чем усадьба соседей. Поэтому, засучив рукава, Соня принялась за благоустройство территории перед домом. По ее указанию прежде всего расчистили парк Клины. По кругу и на первых дорожках «поделали» новые лавочки. Старые «погнили», и сидеть на них было невозможно. Все пространство вокруг дома заросло бурьяном, «без признаков хозяйской попечительности» — так описал состояние яснополянской усадьбы тех лет Владимир Соллогуб, автор «Тарантаса». По его мнению, в этом был повинен не Лев Николаевич, а исключительно дамы, предпочитавшие уборке территории наслаждение лесными прогулками. Но вскоре вместо бурьяна появились симпатичные клумбы, обрамленные ореховыми дужками, дорожки посыпали песком. Все стало неузнаваемым. Соня лично следила за тем, как убирают парк, пруды, канавы — последние надо было регулярно чистить, подкапывать, укреплять. Она знала, что когда ее муж «не ест, и не спит, и не молчит, он рыскает по хозяйству». Лёвочка «накупал скотину, пчел, кур, все заводил в огромном количестве, пускал телят под коров, чтобы воспитать их крупными и красивыми, целыми днями летом пропадал на пчельнике в лесу, за рекой». Соня радовалась мужниному хозяйственному «запою», но не долго — его увлечения, как оказалось, носили эпизодический характер, и она была вынуждена подключиться к домашним заботам, забывая при этом о жизни для себя. Соня бездействовала только тогда, когда в очередной раз «берегла» свой живот или кормила в «детской, за ширмами, в сером капоте». Свободных минут у нее совсем не оставалось: «то корми, то держи на руках ребенка, то зарывайся в болезнях детей, в их пеленках и поносах», то вслушивайся, как дитя агукает, прикладывается личиком к клеенке. Она погружалась «в сиськи, соски и соски», а порой, «отсасывалась, или кормила, или прижигала, или промывала». Между кормлениями успевала заняться «вареньем, соленьем, грибами, пастилой, переписыванием для Лёвы». Что же касалось изящного искусства, то им она могла наслаждаться только изредка, да и то, если дождь шел. Соня успевала все: «ходить за яблонями и за пчелами», выхаживать больного ребенка, который «сучил» ножками, хватаясь за ее волосы, серьги, воротник, словно прося о помощи, составлять ведомости для «Графского Дома» и «Для прислуги», подсчитывать, сколько съедено пудов масла, творога и куриных яиц. Со временем от бывшей «Сонечки Берс в Кремле» осталось только предание. Теперь же яснополянская графиня мечтала только об одном: «дойти до идеала хорошей хозяйки» — деятельной,

ловкой, способной на все.

Муж был в ужасе, когда узнал, что жена спит с маленьким ребенком на клеенчатом полу, подражая своей матери. Он просил Соню оставаться самой собой, быть «существенно хорошей», как и ее мать, но при этом желал, чтобы его жена становилась «более тонкой работы», чем ее мать, и «с большими умственными интересами». Соне конечно же хотелось взяться за книгу, но она не могла покинуть больного ребенка. Ей хотелось отдохнуть. Но как? Его не с кем оставить! Поэтому спала иногда не больше полутора часов в сутки. Больные дети сводили ее с ума, хотелось выплакаться и выспаться.

Выздоровливавший ребенок приводил мать в состояние счастливого ликования. «С кабриолетиком, тележками, разными ребятами, целый день по дорожкам бегали, а уж особенно *partie de plaisir* (увеселительная прогулка. — Н. Н.) — это ходить в лес. Они очень поправились и развились», — восторженно писала заботливая мать об успехах своих детей. Сама же в это время, по собственному признанию, была «страшная такая, худая, а спереди целая гора. Смотреть страшно». Похудела она, конечно, из-за множества дел, которые на нее навалились.

Она не раз добрым словом поминала свою мать, научившую ее все делать по дому и не бояться трудностей.

Соня нашла яснополянский быт уж слишком патриархальным. Так, сервировке обеденного стола явно не хватало серебра. Оказалось, что после смерти отца писателя опекун малолетних детей «прибрал» к рукам целые пуды фамильного серебра. Теперь пользовались столовыми серебряными приборами из Сониного приданого. Все в доме, полагала она, должно быть «как надо», включая запахи. Для этого молодая хозяйка пользовалась ароматами французского саше, перекладывая им нижнее и постельное белье, которое теперь источало нежный запах любимых мужниных пармских фиалок. Лёвочка очень любил французские духи и надушенное белье. Благоухали и домашние цветы, во всех комнатах цвели розы, камелии, желтофиоли. «Так славно пахнет и для глаз хорошо». Сестре Тане Соня писала, что находится «во всем разгаре хозяйства», не без гордости обещала продемонстрировать своих кур, коров, прогуляться по скотным дворам, конюшням, оранжереям и проч. «Цыц только, к твоему приезду, может, поспеют и персики, и клубника. У нас немец — садовник отличный. Вообрази, у него уже для нас свежий зеленый салат готов». Соня находилась в эйфории от оранжерейных и прочих чудес, которая длилась, увы, не долго.

Выращивание любимых кур — брамапутров, выписанных из

Московского зоологического сада после того, как Лёвочка успешно сбавил им цену, кончилось катастрофой. Куры были «поморены» из-за никудышного ухода. Соня в срочном порядке распорядилась, чтобы их поместили на кухне, где куры смогли бы «скорее занестись», были бы «сытыми», находясь под ее опекой. Вскоре выяснилось, что скотница недокармливала кур, и они все погибли. Соня была в отчаянии от этого, ведь за «две недели было испорчено, что сделано за год». Пришлось строго — настрого приказать старосте, чтобы он неустанно следил за скотницей Анной Петровной, чтобы она хорошенько поила и кормила телят и свиней, чтобы они были исправны, и чтобы еще раз не повторилась история с брамапутрами.

Однако подобное случалось еще не раз. Как-то Лёвочка из жалости нанял для ухода за породистыми японскими поросятами какого-то пьяницу. Как выяснилось позже, мужик был оскорблен подобным благодеянием и отомстил, уморив голодом всех поросят. «Идешь, бывало, к свиньям, — рассказывал оскорбленный скотник, — и даешь корму понемножку, чтобы слабели. Придешь в другой раз — еще какая пищит, ну, опять понемногу корму задаешь, а уж если утихнет, тут ей и крышка!» Соня была в ужасе от хамского поведения и от огромных убытков, причиненных нерадивостью работников.

В круг ее забот входило также множество других повседневных мелочей, например, накрахмаливание скатертей, составление меню, больше похожего на «сочинения», контроль за мытьем полов, соленьями и вареньями. Она только изредка позволяла себе полакомиться пирожным или конфетами, сидя на старом кожаном диване, когда вышивала *broderie anglaise* (английской гладью. — Н. Н.) батистовые салфетки. Соня теперь уверенно восседала на месте хозяйки за обеденным столом. Она ввела строгий порядок, согласно которому лакеи должны были прислуживать в белых перчатках, определила точное время сбора домочадцев за столом: в девять часов утра пили чай, в двенадцать подавали кофе, в час завтракали, в шесть часов вечера обедали, а в восемь вечера опять пили чай. Незыблемым был порядок чередования блюд за обедом.

Молодая жена каждый день «заказывала обеды» повару Николаю Румянцеву не только для всей семьи, но и отдельно для Лёвочки, например, во время его дурных самочувствий, притом со специальными замечаниями, а также еще для гостей с учетом их пристрастий, не забывая, что человек есть то, что он ест и как он ест. Старик Румянцев готовил «отличные обеды», благодаря которым муж Сони сохранил здоровье. Единственное, что раздражало ее в поваре, так это его крайняя неопрятность. Поэтому она

собственноручно сшила ему поварскую форменную одежду, «завела белые куртки, колпаки и фартуки, ходила в кухню и смотрела за всеми». Однажды она с ужасом обнаружила отвратительную муху в похлебке. Порой повар напивался, тогда на кухне его подменяла жена, а порой приходилось хлопотать и самой Соне. Она великодушно прощала ему его грех — пьянство, а когда он состарился, назначила пенсию больше прежней зарплаты. Повзрослевшие дети потом всю свою жизнь вспоминали пироги — левашники, которые они называли «вздохами Николая», потому что повар надувал их с уголков воздухом для того, чтобы они «не садились».

Соня полюбила свой дом, который после появления детей уже не казался ей большим. В нем было всего десять комнат — пять на первом этаже и столько же на втором. Квадратные комнаты были светлыми из-за высоких пятиаршинных потолков.

Этот анфиладный дом, бывший флигель, оказался малоприспособленным для жилья, в нем гуляли сквозняки и его трудно было протопить. Мебель была «сборной» и небогатой. В интерьере не было штофных обоев и шпалер, живописи и паркета. Здесь отсутствовало традиционное деление на мужскую и женскую половины. Не хватало комнат для женской прислуги, гувернеров и учителей. Жаль было проигранного Лёвочкой в карты тридцатидвухкомнатного дома, в котором нашлось бы место для всех. В общем, жили они «тесно».

Теперь Соня по — новому взглянула на дом, который должен был стать для нее и детей целым миром. Она породнила усадьбную культуру с городской, носительницей которой себя ощущала. Постаралась сделать свой дом с разумным комфортом, то есть приспособленным для семейного жилья, но не для приема гостей. Для них подготовила другой флигель, в котором размещалась раньше Лёвочкина школа «в лаптях».

Соня стала привыкать к жесткой мебели, к отсутствию роскоши. Даже фортепиано было бедно звуками. В гостиной и столовой стояли олеиновые лампы, приобретенные еще отцом писателя. Иногда зажигались свечи, изготавливавшиеся на тульском Калетовском заводе из смеси стеарина с салом. Соня пресекала холостяцкие привычки мужа, заменив кожаные подушки на пуховые с шелковыми наволочками, а для ситцевых ватных одеял сшила шелковые пододеяльники. Дом на глазах преображался. Она по — своему расставила мебель, повесила «новые зеленые суконные шторы» на окна, появились чехлы на мягкой мебели, интерьер украсили мелкие безделушки.

Лёвочка работал внизу, в комнате под сводами и слышал Сонин голос наверху, как она понукала ленивых работниц. Ему нравился трезвый,

практичный и вполне разумный взгляд жены на ведение хозяйства. Особенно ему полюбилась преобразенная спальня, в которой посередине стояли две простые железные кровати с красными сафьяновыми тюфяками, рядом с окном — ореховый туалет, большой комод, шифоньерка, умывальный стол и два кресла. Большая дверь в гостиную была теперь постоянно закрыта и завешена зеленым сукном, на котором висели гравюры. Большая кафельная печь щедро одаривала теплом. Соня сумела превратить проходную комнату в самую интимную — в их спальню, сделав ее, как и прочие комнаты, приятной для совместной жизни. Две деревянные лестницы, одна из которых была винтовой, находились в противоположных частях дома. На втором этаже разместились гостиная, маленький Сонин кабинет, в котором за перегородкой спала горничная, и еще комната тетеньки Ергольской, которая не жила там постоянно, чаще гостя у своей сестры в Покровском. Внизу, кроме Лёвочкиного кабинета, были сундучная, комната для прислуги, кухня, позже ставшая ванной комнатой, официантская и большая передняя. Комната тетеньки была «мемориальной». В старости она провела в ней немало времени, любила покушать в Вербное воскресенье миноги или семгу, любила сидеть на синем жестком красного дерева диване с головами сфинксов. Здесь же спала, раскладывала пасьянсы — «умственный» и «семилетний». Соня не любила ни пасьянсов, ни карточной игры вообще, в том числе и в безик, в который с тетенькой играл Лёвочка. Соня в это время мысленно переносилась в Москву, в родительскую семью, где было столько веселья, машинально набивая Лёвочке папиросы (он говорил, что никто так хорошо не может это делать, как его жена). Она все старалась делать наилучшим образом.

Соня быстро вошла в роль графини, хозяйки дома. Она понимала, что в усадьбе не было должной системы управления, в ней отсутствовало «правильное счетоводство», мало уделялось внимания хозяйственной документации. Соня овладевала помещичьим стилем поведения, во многом зависевшим от поведения ее мужа. Он начинал какое-то дело, например разводил породистый скот, а она продолжала работу, внося в нее свойственную ей практичность. Соня решила ни в чем не отставать от мужа. Лёвочка стремился стать рачительным хозяином, завел в усадьбе большой пчельник, с утра до вечера наблюдал за жизнью пчел, в огромных количествах сажал капусту, дурманил себя мечтами «довести свое свиноводство до полного совершенства» и «купить за грош шесть тысяч десятин». Это было их общим горячим желанием, — «совсем сделаться помещиками», чтобы всего было в изобилии: птицы, телят, поросят, пчел.

«Меду — ешь не хочу». Их первый семейный год начался с покупки пчел у Исленьевых. На следующие два года пчелы стали Лёвочкиной страстью.

Сначала он поставил пчелиные ульи в саду прямо напротив дома, но пчелы стали жалить всех домочадцев, и он перевел пчельник подальше от дома. В лесу за речкой Воронкой в полутора верстах от дома среди яблонь, которые когда-то здесь пытался сажать его отец, Лёвочка поставил ульи и соорудил избушку. Изучал пчелиную жизнь, погрузившись в специальную литературу, в общем, все его мысли были о пчелах, он позабыл весь мир, все лето говорил только о пчелах.

Соне приходилось ежедневно преодолевать по три версты — от дома до пасеки и обратно, когда она приносила мужу завтраки или обеды. Общались записочками, где речь шла все о том же — об ульях, рамках, роях... «Соня! Два отроилось. Когда отделаешься дома, пришли мне жаровенку и воск, и за мной пришли лошадь и полотенце перед обедом». Соне порой казалось, что из-за пчеловодческой страсти мужа ее одиночеству не будет конца.

Изо дня в день Лёвочка пропадал на пасеке, ходил с обнаженной головой, и пчелы его не кусали. Он показывал Соне, как пчелы носят «калошки», — что-то желтое на задних лапках. «Приеду, смотрю, Л. Н. с сеткой на голове что-то делает с пчелами и тотчас же начинает мне рассказывать, как он сажал рой, как крупную пчелу — матку с маленькими крылышками он едва мог усмотреть, и она тяжело вползала в улей. Или скажет: «Посмотри, послушай, как гудят трутни...» И кроме пчел ничто уже не интересовало его в жизни».

Муж постоянно советовался с женой: «Благодарствуй за твои распоряжения и с пчелами, и с коровами, — это прекрасно. Нынче я в Петровском — Разумовском купил телку по третьему году за 50 рублей. Тотчас по получении этого письма вышли в Москву мужика (лучше, — Василья, я думаю), и женщину (не поедет ли нянина дочь?), чтобы привести ее. Ежели не поедет, то послать другую дворовую женщину, нанять; или Иван шорник не поедет ли? Телка прелестная и никогда не водилась. Страшно, — чтобы не заморили ее, и потому одному мужику или двум мужикам нельзя поручить. Это трудно решить, и ты мне прости, что я задаю тебе такую задачу: но как-нибудь, общим советом, устройтесь» (20 июня 1867 года).

Соня не позволяла себе сибаритства и лени. С утра до позднего вечера находилась в заботах и хлопотах по хозяйству. Она старалась сохранить подлинный облик Ясной Поляны, порой мало задумываясь об этой своей миссии. Просто ощущала родство своей семьи с ее далекими предками,

когда-то жившими в этой усадьбе. Говорят, много счастья — мало дела. Соня так уже не думала. У нее получалось быть переписчицей, женой писателя, матерью, «старшей дочерью мужа», хозяйкой дома. Так поэтичность ее натуры удачно соединилась с практичным инстинктом, а чувство красоты дополнилось еще и пользой.

Глава X. Детская

Соне все-таки пришлось выбирать между кабинетом мужа и детской. Она прекрасно понимала, что переписывание Лёвочкиных рукописей давало ей многое, что позволяло ей жить и думать его мыслями, раздвигало сферу ее возможностей, одаривая новыми эмоциями. Но все-таки чему же отдать предпочтение? Кабинету или детской, стать женой писателя или матерью — наседкой? Эта дилемма оказалась для нее разрешимой. Она успевала всюду, часто жертвуя своим досугом и развлечениями, во многом ограничивая себя ради общения с мужем или с детьми.

В Соне идеальная нянька таланта благополучно уживалась с матерью — наседкой. С утра до ночи она постоянно находилась на ногах, не зная покоя даже ночью, и частенько, лежа под одеялом, думала о том, как помочь ребенку или как получше подготовиться к переписыванию очередной порции рукописей мужа. Она несла свой крест стоически. Порой сама поражалась, сколь она вынослива и сколь не принадлежит самой себе. Ей постоянно приходилось думать то о поносе одного ребенка, то о высокой температуре другого. Муж же в это время нарочито отстранялся от детской, и так длилось почти два года. Он даже придумал что-то вроде теории, разделив всех женатых мужчин на две категории: одну составляли страстные охотники, не любившие «baby», а другую, напротив, — обожатели маленьких детей. Лёвочка наслаждался общением с детьми только после достижения ими двухлетнего возраста. Таковым было его отцовское мышление.

А Соня всегда мечтала иметь много детей, в этом она видела свое главное призвание и предназначение. Поэтому и готовила себя исключительно к такой жизни, доказав на деле, что «результат брака — дети». Уже с нежного возраста она представляла себя в роли матери, когда играла в куклы. Она помнила, как ей нравилось опекать своих младших братьев. Не случайно свое будущее она с ранних лет видела в детях, лишенных каких-либо «гадостей».

Соня постоянно находилась с детьми, получая от них «столько жизни»! Она понимала ее как непрерывную череду «родов, беременностей и кормления». Именно такая жизнь, наполненная постоянно рождавшимися младенцами, воспринималась ею как подлинная, которую она никогда бы не променяла на другую. Соня не сожалела о прошедшем, радовалась настоящему, воспринимала настоящее как проекцию на будущее, то есть с

детьми, которых она любила больше, чем своих родителей и братьев. Она конечно же понимала, что в основном от ее любви к своим детям будет зависеть, какими они станут, повзрослев. Ведь как говорил ее Лёвочка, «чем больше любила — деятельно любила — мать, тем дитя лучше». Не поэтому ли все великие люди — любимцы матерей? Соня щедро одаривала своих детей любовью, нужной им как воздух и тепло.

Двенадцать лет сплошной беременности убедили ее в том, что только в материнстве заключался ее самый главный ресурс. Когда Соня в очередной раз находилась в интересном положении, то имела на мужа исключительно сильное влияние. Ей всегда было грустно без детей, как, впрочем, и без Лёвочки. Она мечтала о шумной жизни, наполненной детскими голосами. Ей казалось, что только такой мир, сотворенный ею в Ясной Поляне, может стать своеобразной крепостью, способной защитить ее от возможных удалений от нее мужа. Только благодаря детям он всегда будет с ней. Размышляя о жизни мужа, такой разнообразной, Соня поняла, что только чувство настоящего отцовства, ему пока неизвестное и неиспытанное, теперь может оказаться для него весьма вдохновительным.

Лёвочка не раз внушал ей, что вся романтика брака на самом деле очень проста. Она целиком сводится к рождению и воспитанию детей. В этой связи Соня вспоминала об упрощенной любви Пьера и Наташи, так мастерски описанной ее мужем в романе «Война и мир», в котором он обобщил и свой жизненный опыт, возведя его до вселенских размеров. Поэтому Соня тем более не представляла себе семейной жизни вне детской, и это, по мнению Лёвочки, было «по — божески». Даже слишком трудные ее первые роды, омраченные сплошными страданиями, не сломили Сониных намерений стать первоклассной матерью — насадкой. Она ждала свои первые роды 6 июля 1863 года, но ребенок родился раньше, возможно, из-за ее падения на лестнице. Поэтому детское приданое, приготовленное ее матерью, не поспело к родам вовремя, потому что находилось в дороге. В ночь с 26 на 27 июня Соня почувствовала себя очень плохо, и ей показалось вначале, что это из-за съеденных ею ягод, но опытная акушерка Мария Ивановна Абрамович торжественно объявила мужу: «Роды начались». Спешно внесли люльку, очень неудобную, выполненную яснополянским столяром из липы. Не оказалось даже пеленок под рукой, и новорожденного спешно завернули в ночную сорочку Лёвы и ее длинными рукавами запеленали ребенка. В ожидании приданого быстро сшили для Сережи простынки. К ужасу Сони выяснилось, что поблизости не оказалось и няни, потому что муж потребовал от нее, чтобы она сама «ходила» за ребенком. Ей было грустно оттого, что Лёвочка долгое время

не брал сына на руки, объясняя это своей робостью. Долго не называл сына по имени, обращался к нему то как к Фунту, то как к Сергулевичу, громко чмокая при этом губами.

Первенец родился очень ослабленным, и молодая мама не спала ночами из-за его плача, нездоровья, и все время искала в его лице сходство с мужем. Она мечтала о том, чтобы сын был похож на отца. Малыш постоянно болел. Только 23 января 1865 года стал ходить, а после и бегать, и плясать, и начал говорить. Теперь Лёвочка стал к нему относиться нежно и даже занимался с ним. Наконец муж был счастлив и «прикован цепями, составленными из детского жидкого, густого, зеленого и желтого г....», к Ясной Поляне, к жене и к ребенку. К повзрослевшему Сереже Лёвочка стал испытывать по — настоящему отцовские чувства, что не мешало ему «страшно дорожить своим сном и достаточным количеством сна, как и пищеварением». В общем, муж заботился о себе, то упражнялся гириями, то занимаясь гимнастикой, и много времени проводил на свежем воздухе.

Вскоре Соня снова забеременела и заревновала свою сестру Таню к Лёвочке. Но подлинная любовь к младшей сестре, жалость к ней отгоняли плохие мысли, и ей удавалось по — прежнему любить их обоих. Потом ей было не до этого, потому что 4 октября 1864 года наступили новые роды, ознаменованные энергичным сильным криком ребенка, названного Татьяной в честь младшей сестры, так обожаемой супругами. Соня по строгому требованию мужа стала кормить свою «живенькую, черноголовую, здоровенькую девочку» грудью сама. И Лёвочка был в восторге от того, как Соня была «мила со своими птенцами», как легко и весело заботилась о них. Она вдохновлялась любовью мужа и сознанием того, что у них нет никаких тайн друг от друга, и поэтому они могут смело смотреть друг другу в глаза. Теперь между ними, благодаря детям, устанавливались очень ровные и спокойные отношения, ничем не отягченные. Только так они могли быть счастливы. Рождение второго ребенка было воспринято с таким ликованием, словно в их жизни это был самый большой праздник. Впоследствии Тане всегда удавалось создать в доме веселую и счастливую атмосферу. Она стала общей любимицей.

Дети, особенно Сережа, часто болели, и поэтому Соня не могла любоваться наступившей весной, наслаждалась ею «только через окошко», все время находясь «взаперти». Весь мир она теперь воспринимала с точки зрения здоровья своих малышей. Порой она даже не верила в то, что ее дети могут избавиться от хвори. Возможно, поэтому она научилась радоваться самым маленьким удачам, например, тому, что сумела малышей вовремя укачать, уложить спать, что лежанка в детской была натоплена, что

вокруг чистота и порядок и что пахнет померанцем. Детская вернула ей уверенность себе, и поэтому теперь она чувствовала себя наравне с мужем. Она все сильнее и сильнее привязывалась к этому особому миру, ощущая здесь свою нужность и незаменимость. Соня была по — настоящему счастлива, когда маленькая Танечка лежала на ее груди, а Сережа крепко обнимал ее своими ручками.

Порой ей казалось, что муж лишний и чужой человек в детской. Он считал, что романтика влюбленности со временем исчезает, и отношения супругов становятся более трезвыми и прозаичными. На первом месте, по его мнению, должны быть практичность отношений, чувство долга и взаимная ответственность друг перед другом. Он убеждал Соню, что духовное единение в браке невозможно. И с этим, хочет ли она или нет, ей придется смириться. Так же как и с тем, что муж не будет появляться в детской до тех пор, пока дети не подрастут. Но вот парадокс: Лёвочка стал наслаждаться общением с дочкой Таней или «Тюшей», как он ее ласково называл, с трехмесячного возраста. Более того, он был с ней в «ужасной дружбе», просто «с ума сходил» при виде ее и «сиял». Изменилось его отношение и к старшему сыну Сереже. Соня заметила, что муж «стал очень нежен» с ним, что у него появилось совсем «новое, неожиданное, спокойное и гордое» чувство любви к детям. В общем, она поняла, что Лёвочка наконец обрел счастье в ровном и спокойном семейном ритме. Строительным материалом для семейного счастья стали «дети, которые мараются и кричат, жена, которая кормит одного и всякую минуту упрекает меня, что я не вижу, что они оба на краю гроба». Муж особенно любил свою жену в образе матери — наседки, потому что дети помогали ей «меньше быть эгоисткой». Именно они, дети, одаривали ее ощущением, что она как будто бы за что-то держится.

Печальные мысли о том, что Лёвочке скучно в ее, «бабьем», миру, что она для него была только хорошей нянькой и больше никем, рассеивались в детской, когда она занималась Сережей и Таней. Порой ей казалось, что она только и может делать, что нянчить детей, есть, пить, спать, любить Лёвочку. Иногда сгоряча Соня ссорилась с няней, Машей Арбузовой, но потом ей становилось совестно, и она мучилась. Ведь няня была хорошая. Соня научилась быстро «заглаживать» вину, почти извиняться перед ней, но не до конца. Она прекрасно понимала, что не должна позволять себе расчувствоваться, никто этого не поймет, в том числе и няня. Ссоры с Машей Арбузовой убеждали Соню в том, как она похожа на мама, которая всегда думала о себе, что она самая хорошая женщина, и потому ей все должны всё прощать. А Соне не хотелось быть такой же.

Соню пугало, что дети могут отдалить от нее мужа, что она будет с ним врозь. Она очень переживала из-за этого и вспоминала тетушку Александрин, которая думала, что у Лёвочкиной жены, кроме детской и легких будничных отношений, ничего нет, и она ни на что не способна. Соня очень ценила «тетеньку», понимала, что фрейлина в их жизни играла очень важную роль, на которую сама она вряд ли способна.

Муж продолжал писать роман, принося в семью только *les fatigues du travail* (усталость от работы. — *Н. Н.*), и Соня все больше чувствовала себя одинокой. Ей иногда казалось, что она «брошена мужем», не может осуществить его идеала, потому что она — «удовлетворение, нянька, привычная мебель». В общем, она — не женщина, а некая машина, которая греет молоко, вяжет одеяло, ходит взад и вперед, чтобы не задумываться. Соня была убеждена в этот момент, что «писательство его ничтожно», что он пишет про графиню такую-то, которая разговаривает с княгиней такой-то. Но быстро пресекала в себе подобные мысли, прекрасно понимая, что кесарю кесарево. Поэтому у нее — будничная жизнь, а у него — бессмертие. Соня уставала от скуки, и в такие минуты ей хотелось кокетничать хоть с «Алешей Горшком», хотелось злиться на всё, хоть на стул. В общем, хотелось «кувыркаться». Но не с кем. Муж стар и сосредоточен. И Соня сдерживала в себе порывы молодости, переосмысливала «азбучные истины»: как привязать мужа и быть честной женой и любящей матерью. Она понимала, что все это вздор. «Надо не любить, надо быть хитрой, надо быть умной и надо уметь скрывать все, что есть дурного в характере, потому что без дурного еще не было и не будет людей. А любить, главное, не надо» — так думала Соня, но не могла так жить.

За время своего замужества она поняла, что все мужья, прежде влюбленные, с годами становятся холодными, в том числе и Лёвочка. Поэтому ей случалось с ним хитрить, быть мелочно — тщеславной, завистливой. Но ничего подобного она не позволяла себе с детьми. Они стали для нее самым большим счастьем. Находясь в одиночестве, она была себе гадка, а малыши пробуждали в ней самые лучшие чувства. С ними она ощущала себя крепкой, опытной и «немолодой».

Однажды Соня с мужем и детьми, Сережей и Таней, поехали в Москву, которую она безумно любила, и Дмитровку, и душную «гостино — спальню», и кабинет, где Лёвочка лепил свою красную лошадь. В Москве они зажили кремлевской жизнью: за ними присылали карету, в которой все уезжали на весь день к родным. Родители Сони любовались маленькими Таней, которая была умна, быстра, мила и здорова, и Сережей, отмечая в

нем кротость и доброту. Тогда в Москве Соня вдруг подумала о том, что все люди женятся не задумываясь, что девушка невеста, выйдя замуж, станет совсем другой, в ней «сломается» весь прежний девичий механизм и перестроится в совсем новый. Здесь очень важен не столько характер женщины, сколько то, кто будет с ней находиться рядом и оказывать влияние на нее. Соня решила, что именно дети меняли ее в лучшую сторону.

Вскоре она поняла, что снова беременна, и не очень была рада этому. Танечку надо было отнимать от груди, и кормление для Сони представляло слишком большой труд. Она всегда очень слабела от этого.

22 мая 1866 года родился второй сын Илья, которого Соня ждала только в середине июня. После рождения ребенка она стала жить с мужем в разных комнатах. У нее сильно болела грудь, и она во время кормления сильно страдала. Поэтому пригласила Маврушу, чтобы та прикармливала «Илина» (Илюшу. — *Н. Н.*). Ей было горько от того, что ребенок сосал чужое молоко. А муж после этого стал особенно холоден к Соне, и она сидела запершись в своей комнате и злилась, слыша, как в гостиной Лёвочка ораторствует с красавицей Марьей Ивановной, женой управляющего. Соня желала в этот момент, чтобы эта «нигилистка» поскорее убиралась из Ясной Поляны со своим мужем. Впоследствии же она с ней благополучно подружилась.

Но все эти неприятности компенсировались главным — «дети очень милы». Сережа стал ей говорить «ты». Правда, порой огорчал ее: забыл, например, за лето азбуку, которую еще очень хорошо знал зимой. Но это не мешало ей любить «до страсти, до боли, и всякое малейшее страдание приводило в отчаяние, всякая улыбочка, всякий взгляд радовал до слез... Если б я меньше любила детей, было бы легче». Чтобы облегчить Сонины страдания, в Ясную Поляну пригласили первую гувернантку, англичанку Ханну Терсей, которая стала любимицей всей семьи.

Шло время, Соня по — прежнему жила в детях и «в ничтожной самой себе». Четырехлетний сын расспрашивал маму: «Что это, вы книжку пишете?» Соня отвечала Сереже, что когда он вырастет, то прочтет ее. А сама в это время подумала: неужели дети не будут ее любить, прочитав это? Она вся была в противоречиях, но несмотря на это знала, что никто не был счастливее ее. Оставаясь в комнате с детьми, она крестила их, осматривала их кровати и молилась о них с нежностью и умилением. Она сшила маленькому Сергею — «барину» фрак, который ему очень шел и в котором ребенку было очень тепло. Она вся была, — как заметил ее муж, «в подтирках и в пеленках без конца». Дети были здоровы, сами приходили на

террасу, чтобы «подкормиться».

6 октября 1867 года у Сони случился выкидыш, а 20 мая 1869 года в Ясной Поляне родился Лев. Ей было жаль «Лёлю» почти больше всех других своих детей. Соня его постоянно «благословляла, плакала и молилась». 5 июня 1870 года произошел «разрыв» с любимым ребенком: она была вынуждена прекратить его кормить грудью из-за новой беременности. С каждым ребенком она все больше отказывалась от жизни для себя и смиралась под гнетом забот, тревог, болезней и годов. Лёвочка не любил, когда жена выходила из мира детской, кухни и прочей материальной женской жизни. Ему хотелось навечно запомнить ее, как «прелестную, краснеющую мать, как Мадонну с прелестным ребенком на руках».

Соня, конечно, догадывалась, что для мужа магия Мадонны заключалась в материнстве. Не поэтому ли самым дорогим его идеалом, личным мифом стала Сикстинская Мадонна Рафаэля? Теперь литографированный образ божества украшал их спальню. В лике Мадонны, вобравшем в себя огромный мир женской души, Толстой нашел ответ на вопрос: что есть истинная женская красота, в чем заключается семейное счастье? Она стала для Лёвочки не интеллектуальной выдумкой, а «самым дорогим образом», которому в реальной жизни должна была соответствовать Соня с ее врожденной жертвенной любовью к детям.

Метафизику любви Лёвочка в это время сводил к безыскусной формуле размножения. Именно в материнстве он нашел прямое проявление божественной воли. Поэтому брак без детей был для него немыслим, ущербен, силу семьи он нашел исключительно в детях.

Что ж, семья разрасталась, и дом, точнее, бывший флигель, становился тесным, в нем едва нашлось место для кабинета в бывшей кладовой. Доминировавшие в это время семейные интересы почти поглотили писательские, и кабинет мужа стал кочующим в хаотичной повседневности семейного быта. Только спальне был предоставлен статус — кво. Скромное убранство дома выигрывало из-за «живой экспозиции», в углах которой двигались милые дети, очень симпатичные своей простотой, безыскусственностью, отсутствием какого-либо жеманства.

Лёвочкино писательское пространство было предельно минимизировано до размеров «литератора потихонечку». Писательство еще не стало для него и для семьи чем-то *fatal*, оно не крало его у Сони и детей. Ведь писатель, как догадывалась Соня, — это гипертрофированное тщеславие, способное предпочесть миг славы семейному благополучию. Писательство, к счастью для Сони, не разъедало пока ее семейной жизни. К

тому же оно не было агрессивным к ней и детям. Она была спокойна и не хотела верить никаким предчувствиям.

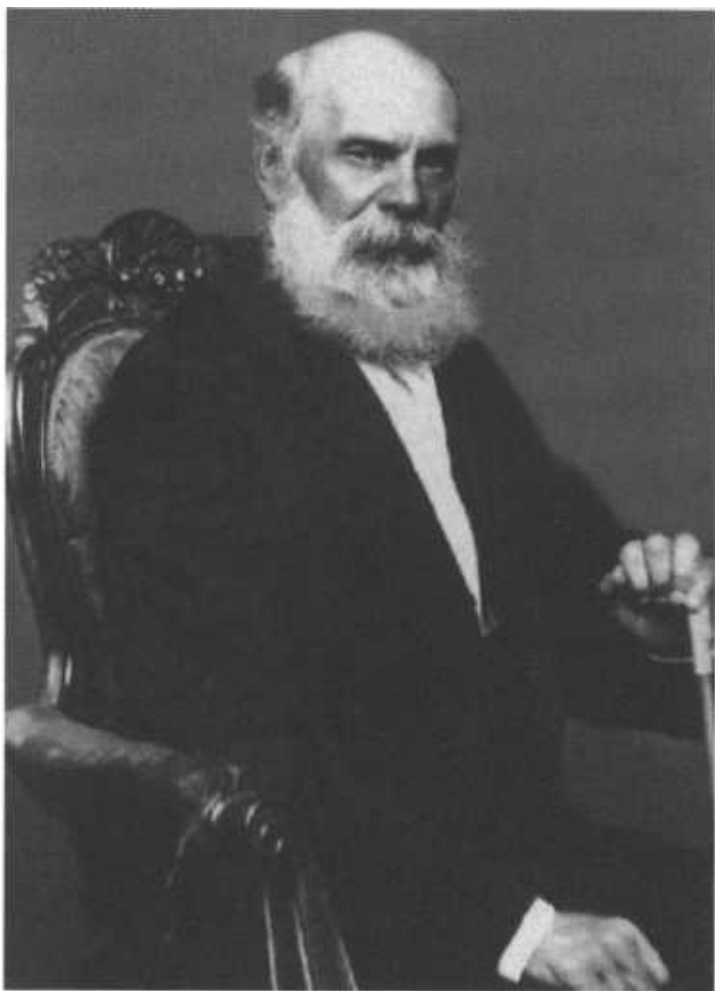
Дом стал казаться супругам тесным, и в июле 1866 года было решено сделать к нему пристройку. К этому времени как раз подоспел гонорар, полученный Лёвочкой от издателя Каткова за публикацию восьми печатных листов романа «1805 год» в сумме 2306 рублей 25 копеек. Дальнейшая работа над романом продолжалась без перерывов. Для этого даже наняли «писаря»,



C. Mouenag



Любовь Александровна Берс. 1860–е гг.



Андрей Евстафьевич Берс. 1862 г.



Сестры Берс: Соня, Таня и Лиза. *Конец 1850-х или 1860 г.*



Венчальные свечи С. А. и Л. Н. Толстых, флердоранжевый венок и перчатки свадебного убора Софьи Андреевны



Лев Николаевич Толстой. 1876 г.



Софья Андреевна Толстая. 1880 г.



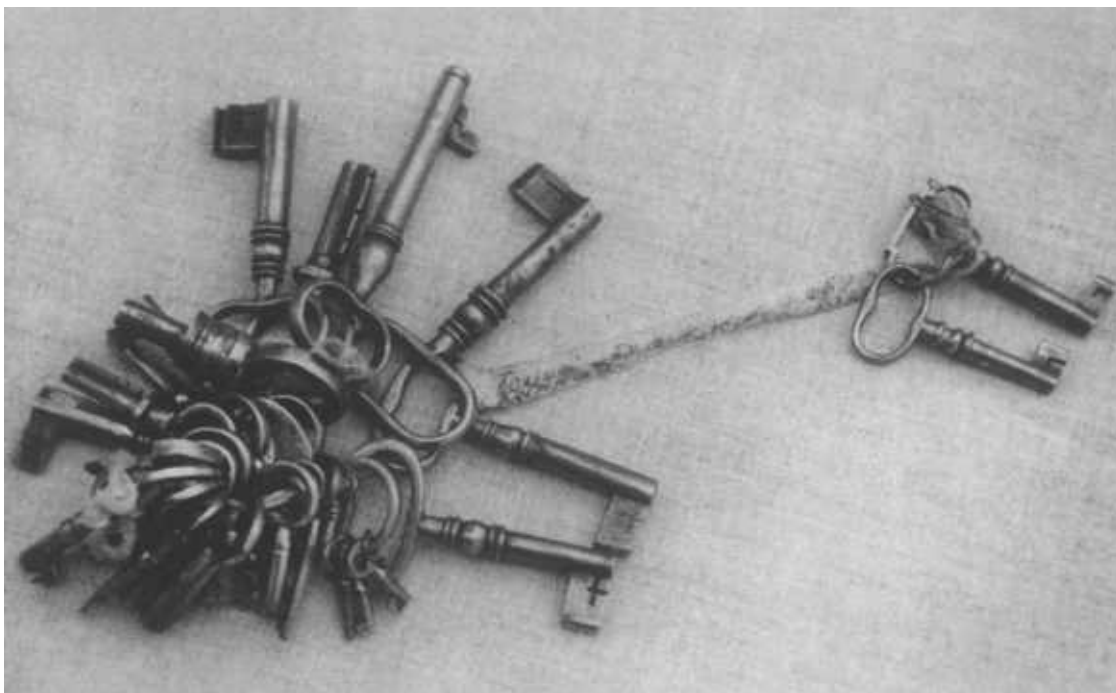
Дом Л. Н. Толстого в Ясной Поляне



С. А. Толстая со старшими детьми: Сережей (справа) и Таней. Тула, 1866 г.



Швейная машинка С. А. Толстой. Фирма Виллер и Вильсон



Связка ключей С. А. Толстой



Шкатулка с образцами вышивания и вязания С. А. Толстой



Ложка и фруктовый нож Л. Н. Толстого с запиской С. А. Толстой



Семья Толстых. Ясная Поляна, 1887 г.



Толстые и Кузминские. Ясная Поляна, 1890 г.



С. А. Толстая и Т. А. Кузминская с детьми Ваней и Митей. Ясная Поляна, 1888 г.



Лев Николаевич и Софья Андреевна. Ясная Поляна, 1895 г.



Софья Андреевна с дочерью Александрой и невесткой Софьей.
Москва, 1895 г.



Купальня на реке Воронке. Софья Андреевна с дочерьми Марией и Александрой и гостями. Ясная Поляна, 1896 г.



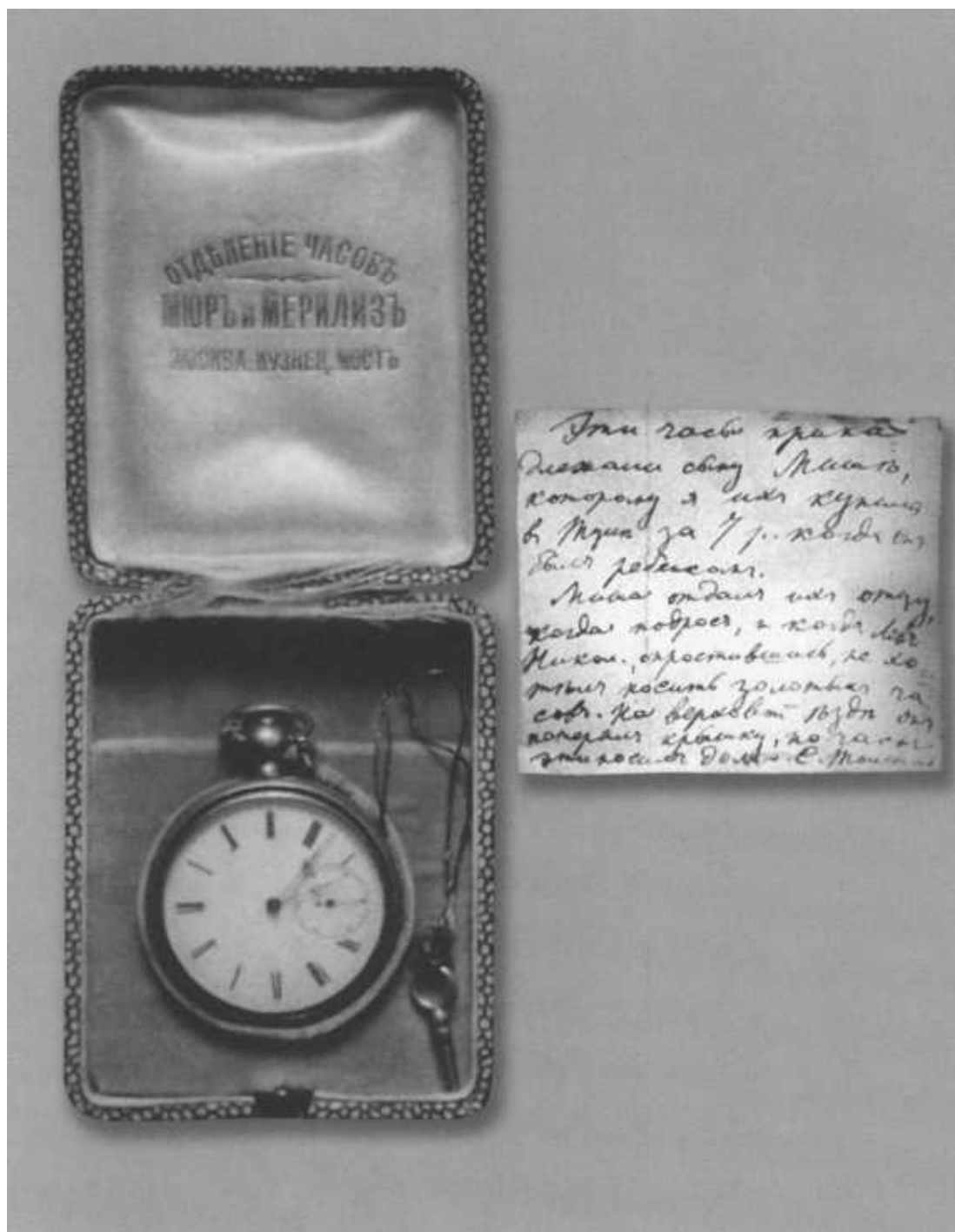
Ясная Поляна. 1896 г.



Бювар С. А. Толстой



Засушенные ландыши из букета, собранного Львом Николаевичем.
1897 г.



Часы Льва Николаевича с запиской Софьи Андреевны



У портрета Ванечки. Ясная Поляна, 1897 г.



Софья Андреевна с дочерью Татьяной. Ясная Поляна, 1897 г.

которому Лев Николаевич диктовал, а тот должен был все точно

записывать. К сожалению, «писарь» оказался человеком с вредными привычками, и с ним пришлось расстаться, и Соня снова принялась за переписывание романа, над которым муж работал «раздраженно, со слезами и волнением», сопровождаемыми частыми головными болями и рекомендациями тестя, как от этих болей избавиться.

Роман все больше поглощал Лёвочку, он уже «увяз» в писательстве, и Соня теперь почти ни разу не видела его в детской. Врач Г. А. Захарьин, исследовав знаменитого пациента, нашел его нервы сильно расстроенными. Муж, обеспокоенный семейными заботами, заключил контракт с владельцем типографии Ф. Ф. Рисом на печатание романа тиражом 4800 экземпляров за 4500 рублей и одновременно с редактором «Русского вестника» П. И. Бартеневым об издании, продаже и предоставлении склада для размещения книг, а также дал ему полный карт — бланш при прочтении корректур, но уже после авторской правки. Он позволил ему «вымарывать» все авторские «неправильности». Соня протестовала против таких льгот. Ей так хотелось скорее увидеть роман напечатанным, что она без конца торопила мужа, а он, успокаивая жену, говорил ей, что подобное «маранье» пойдет только на пользу роману. Разве можно измерить гонораром работу над романом, не дававшую обоим ни минуты отдыха и покоя? Ведь Лёвочка так «измучился», писал «не разгибаясь» до «страшного дурмана в голове». Только Соня могла с такой энергией подхлестывать Лёвочкины мысли, великодушно позволять ему уходить в себя, всячески приветствовать любовь мужа к своему перу. В общем, Лёвочка был несказанно счастлив ею и детьми. Правда, из-за болезни дочери Тани он не смог вовремя закончить корректуру очередного тома. Но прекрасно понимал, что приоритеты семейного счастья самые главные и самые значимые в жизни.

Глава XI. «Творить, хотя бы шить»

Соня как-то быстро превратилась в жительницу деревни, молодую хозяйку — помещицу, почти преодолев свои городские привычки, девичью ностальгию по московской жизни, казавшейся такой красивой и торопливой. В своей теперешней жизни Соня отыскивала множество преимуществ: размеренность, дешевизну, самостоятельность. В руках у нее оказалась целая контора: ключи, счета, касса. Она расчетливо выдавала работникам только все самое необходимое, расплачивалась с ними соразмерно затраченным усилиям. Постепенно усадьба преобразовывалась благодаря ее умелому управлению. Всюду появлялось что-то новое, привнесённое Соней «дельное», серьезное и умное. Теперь вовремя чинились крыши, доились коровы, неслись куры — кохинхинки, был загорожен жердями яблоневый сад, скотина перестала вытаптывать траву, поросята пересталидохнуть.

Соня дотошно разбиралась теперь во всех хозяйственных тонкостях. Она знала, какая корова отелилась, какая молодая, а какая стельная; успешно торговалась, покупая, например, кур. Словом, была вся «в хозяйстве до бесконечности». И мечтала о том, чтобы показать свои достопримечательности сестре Тане: «фрейлину Душ, маленькую, худую, с огромными серыми глазами — вылитая лягушка, потом щенка — мисс Дору, еще неизменного, верного Барабана, на котором ежедневно каталась. Еще коров, кур, все хозяйство, а потом прогуляться по всем скотным дворам, конюшням и оранжереям».

Соне казалось, что она уже сто лет живет в Ясной Поляне. Жизнь в усадьбе становилась ей все милее. Ведь она навела здесь отменный порядок. Лёва во всем ей помогал. Домочадцы отметили, что молодая хозяйка «страсть как порядок любит». Все у нее выходило домовито, распорядительно. Без нее дом пустел, начинал «поскрипывать». Соня гордилась тем, что превратилась в образцовую хозяйку — хлебосольную и приветливую. Семейная жизнь, благодаря ее усилиям, протекала «тихо и деловито». Все «образовывалось» вопреки повседневному трудностям, и жизнь становилась комфортнее.

Но как быть с душевным комфортом, одаряющим особым состоянием? Умела ли Соня отдыхать? Кажется, для нее самым лучшим отдыхом было общение с Лёвочкой, доставлявшее ей огромную радость. Так, например, она «весь день усиленно кроила, шила на машинке», а после с радостью

могла предаваться «игре в четыре руки» с мужем или читать с ним «Отверженных» Гюго, или совершать совместные прогулки по Засеке, или кататься с ним в экипаже по дороге. Только Лёвочка мог совсем обыденное превратить в необычное. Без него все становилось пустым, одиноким, словно теряло душу.

Она с детских лет любила пасхальные дни. Но вот вместо долгожданного пасхального веселья, сопровождавшегося крашением яиц, впечатляющей всенощной с «утомительными двенадцатью евангелиями», плащаницей, забавной эконожкой Трифоновной с громадным куличом «на брюхе», благостной заутреней Соня впала в унылое состояние. Она не почувствовала духа «праздника праздников», потому что была в это время в «интересном» положении, с «значительным возвышением спереди», когда даже полчаса было бы трудно выстоять, а что же говорить о восьми часах службы, да еще, когда «народу ужас», и «жара стоит, не приведи Бог!». Страстную субботу она провела дома. Теперь на весь праздничный ритуал Соня взглянула критическим Лёвочкиным взглядом.

После заутрени в торжественных платьях с «высокторжественными лицами» «выплыли» тетенька со своей подругой-компаньонкой. Пришли христосоваться деревенские ребята, которым Соня раздала немного денег, прибыл отец Константин из Кочаковской церкви, а потом Соня с мужем вышли погулять, «грызли подсолнухи, сидели на закутках у изб». Прошлись чинно по деревенской улице, на которую вывалил народ в пестрой одежде. Из толпы выделялись девки своими яркими, огромными, блестящими серьгами и сияющими лицами. После обеда Лёвочка играл с ребятами в пыжи, а Соня опять грызла подсолнухи, пока не стемнело.

Она любила их длительные прогулки, когда они «ездили за восемь верст в свою маленькую деревеньку Грецовку на Могучем» (кличка яснополянской лошади. — **Н. Н.**). Но поскольку Соня была «тяжела» и очень опасалась за свой живот, ей казалось, что они «ужасно скоро скакали». К счастью, все обошлось благополучно, и вечер удался. Во время поездки они с Лёвочкой все время болтали про свое житье — бытие, позабыв о своих хозяйственных проблемах. Славной получилась эта передышка, позволившая им еще раз заново встретиться друг с другом, насладиться общением.

Их иногда навещали супруги Ауэрбах, приезжавшие из Тулы, и семейство Менгден в полном составе. Лёвочка играл для них старинный, любимый всеми романс «Ключ» — «С тобой вдвоем». Соне стало грустно, нахлынули воспоминания, а тут еще соловьи, заливавшиеся изо всех сил, нагоняли мысли, что все проходит, пройдет и это...

Порой ей было все-таки не по себе в этой «первобытной» деревенской обстановке, она искала «отдушину» среди житейской пыли. Непосильно было нести на своих плечах тяжкий груз жены писателя, матери — наседки, хозяйки имения. Ей, молодой женщине, конечно, хотелось веселья. На помощь ей приходили воспоминания о московской жизни, наполненной кадетами, друзьями ее старшего брата, кузинами и кузенами, клокотанием молодости, творческим запалом, бурлеском веселой фантазии, праздничной феерией.

Соня вспомнила себя в роли барышни Марты. Как-то она побывала на одном из оперных представлений «Марты». У нее возникло желание написать что-то вроде либретто, чтобы самой сыграть Марту. Она предложила «актерам» несколько арий для пения, себе же выбрала главную партию. Соня быстро вошла в образ: распустила свои роскошные волосы, оделась крестьянкой. Заглавную роль героя — любовника исполнил Саша Поливанов, тайно влюбленный в Соню. Во время одной из репетиций она позволила ему поцеловать ей руку, что было строго — настрого запрещено мама. А с каким восторгом они играли «свадьбу» куклы Мими и Тани — выдумщицы!

Соня сформировалась в театральной среде, где обожали оперу, спектакли, боготворили музыку. Андрей Евстафьевич Берс был большим поклонником всех художеств, ценил литературу, музыку, *unfeusacre* («священный огонь». — Н. Н.), который согревал все его семейство. Здесь все, от мала до велика, обожали *Malibran u Viardo* — царицу цариц. Семилетняя Соня на всю жизнь запомнила встречу с гениальной певицей. Она не могла оторвать глаз от примадонны, запомнила все ее движения, в том числе «большие шаги» и «висящие книзу длинные руки», «выпуклые черные глаза» и «висящий подбородок», кокетливо исполненную певицей руладу — *chanter pour ces petites* («больное горло не позволит петь ей для этих малышей». — Н. Н.) — таким чудным, удивительным голосом. Но больше всего маленькой Соне запомнилось, как примадонна посадила ее к себе на колени, угощала конфетами и целовала в обе щеки, как была с ней мила и нежна. Свою восприимчивость к музыке средняя дочь унаследовала от папа, заодно с его темпераментом. Домашние же музыкальные вечера нельзя было представить без пения мама, которая обладала высоким сопрано и так чувственно исполняла «Соловья» Алябьева и цыганский романс «Ты душа ль моя, красна девица», что Соня рыдала. Музыка всегда будоражила ее воображение. Она помнила также блистательную игру дяди Кости. Как он исполнял Шопена! Заслушаешься.

Вечерами, когда малыши спали, Соня заучивала стихи Афанасия Фета,

слушала, как муж читает романы Диккенса, например «Наш общий друг», или сочинения Мольера, рисовала вместе с Лёвочкиными племянницами Варей и Лизой, за что была удостоена его похвалы. Ему так понравилась собачка, ловко скопированная женой, что он всерьез задумался о том, чтобы пригласить учителя рисования из Тулы. Молодая троица прекрасно проводила свободное время, то танцуя мазурку и польку, то экзерсируя в зале, то наслаждаясь вдохновенным пением Лёвочки «Скажите ей, что пламенной душою...» под аккомпанемент гитары. Потом пили кофе, читали по — английски, смеялись, как Соня произносила «маленький Мор», переводя *little more*. Но самым большим удовольствием конечно же было авторское чтение романа «Война и мир». Всем нравились Наташа, Борис и Николай, но больше всех — *Pierre*, особенно то, как он ходил по комнате и пальцем смог пронзить врага — англичанина. Соня любила подобные вечера, когда ей казалось, что она заново переживает свой медовый месяц.

Размеренную жизнь порой нарушали гости. Шумно, со звоном колокольчиков, смехом, громким разговором являлись с охоты брат мужа Сергей Николаевич со своим сыном Гришей и его гувернером и с трофеями в виде сорока четырех затравленных лисиц. Сергей Николаевич обещал подарить Соне лисий салоп и обещание сдержал. Вскоре она покрыла лисий салоп черным атласом и долго носила его, а потом и ее дочь Таня.

Судьба не раз предоставляла Соне возможность вырваться, хотя бы на миг, из однообразной повседневности и отправиться, например, на бал, устраиваемый в Тульском дворянском собрании в честь наследника престола Николая Александровича. Как-то милая баронесса Елизавета Ивановна Менгден, с которой Соня, несмотря на разницу лет, поддерживала дружеские отношения, пригласила ее и Лёвочку поучаствовать в этом необычном событии. Соня, сославшись на нездоровье, предпочла остаться дома. На самом деле, ей конечно же очень хотелось там побывать. Она жертвовала собой ради любимой Тани, так мечтавшей о бале. Старшая сестра придумала очень эффектный наряд для своей креатуры и упростила баронессу шапронировать Таню, так как ехать ей наедине с Львом Николаевичем было бы неприлично. Соня вытащила из кладовой Лёвочкин фрак, а к бальному наряду Тани приколола белые розы.

После отъезда мужа и сестры Соня проплакала весь вечер. Неудивительно: ей ведь было всего 19 лет! Она была на редкость покорной женой, любящей сестрой, лишавшей себя веселья. К тому же на все Соня смотрела глазами мужа, не допускавшего, чтобы его жена предстала перед людьми в приталенном платье с декольте. Лёвочка всегда осуждал

замужних женщин, которые «оголялись». Поэтому Соня не позволяла себе даже в мыслях быть «самой по себе».

Сонину жизнь нельзя было назвать легкой и уж тем более пустой. Она стремилась жить серьезно, умно, но получалось порой не так, то есть «не дельно», хотя спокойно и поэтично. Когда накатывала усталость от рутины, Соня садилась в то кресло, о котором столько раз слышала от мужа (кто на нем сидит, тот счастлив, и счастливцев этот — она). Лёвочка говорил, что всегда был счастлив, когда сидел в этом кресле, привезенном из Петербурга. И Соня блаженствовала, сидя в нем, читая или думая о чем-нибудь светлом, прекрасном, вслушиваясь в неспешные разговоры тетеньки с Натальей Петровной, вспоминая о старине, разгадывавших предзнаменования, шутивших и смеявшихся, раскладывавших *gawcf* — пасьянс.

С появлением в Ясной Поляне младшей сестры Тани все менялось, жизнь становилась праздником. Общение с ней было своеобразной компенсацией, наградой для Сони за сизифов труд. Сразу же начиналась счастливая летняя жизнь с купаниями, катаниями, гуляньями, пикниками, покупкой ягод, варкой варенья, грозами, шумом дождя, солнечными зайчиками, детскими шалостями, запуском бумажного змея. Соня все больше ценила такой отдых, так контрастировавший с ее повседневной жизнью. Как говорил Лёвочка: «Все перемято в тесто».

Таня и Лёвочка через день ездили травить зайцев. Они брали с собой борзых и охотились с утра до вечера, проезжая верхом по 45 верст в день. Иногда Соня присоединялась к ним. Однажды не оказалось второго женского седла, и Таня была вынуждена поехать верхом на мужском, *a la lettre* (буквально. — **Н. Н.**) в Лёвочкиных панталонах. Проехали 30 верст, а может быть, и больше, когда Соня заметила зайцев на лежке. После этой прогулки ей стало грустно. Такое развлечение было явно не для нее. Тем не менее Соня по — прежнему всюду «поворачивалась» за мужем, словно флюгер, управляемый силой ветра.

Среди множества забот она пыталась выгадать свободную минутку для того, чтобы окунуться в прошлое и насладиться «чувством артиста». Она испытала подобное чувство, когда Лев Николаевич сочинил свою «оперу» для милых девочек Берс. На самом деле это была вовсе не опера, а маленькая сцена с пением. Соня выросла в театре. Андрей Евстафьевич «имел право на даровую ложу», которой семейство Берс вольготно пользовалось. Любовь Александровна постоянно брала с собой на спектакли своих детей. Соня наизусть знала любимую мамину оперу «Жизнь за царя». Порой ей было скучно, не интересно смотреть одну и ту

же оперу, и она засыпала, свернувшись калачиком на маленьком диванчике в темной аванложе. Дома она «певала» для матери многие арии на бис. Маленькая Соня также стала завсегдатаем Малого театра и поклонницей таланта великого Щепкина, игравшего городничего в «Ревизоре» и Фамусова в «Горе от ума».

Театр преобразил Соню. Она полюбила оперную музыку, особенно «Дон Жуана» Моцарта, оперу опер. Дома распевала арии своим сильным голосом, мучилась от того, что не взяла нужную ноту, сфальшивила. Однажды она слушала свою любимую оперу вместе с Львом Николаевичем. Соседи по ложе разглядывали ее в упор и сказали, что ее лицо очаровательно, но только до губ, которые ужасны. После этого она всерьез задумалась о своей внешности. Но, самое главное, ей захотелось побывать по ту сторону рампы, на сцене. Четырнадцатилетняя Соня попробовала разыграть водевиль «Ворона в павлиньих перьях», и, кажется, ей это удалось. «Бойкая» девочка исполнила мужскую роль, сестра Таня — Парашу, а Лиза — мать.

Соне не раз приходилось играть мужские роли, в том числе и в Лёвочкиной пьесе «Нигилист». История этой постановки такова: все началось с приезда гостей. Как-то в начале мая 1864 года в Ясную Поляну к молодой чете нахлынул поток гостей, которым пришлось отдать весь двухэтажный флигель: Лёвочкин друг Дмитрий Дьяков с очаровательной женой Долли и белокурой девочкой — подростком Машей, сопровождаемые гувернанткой Софеш Войткевич; Сонины золовка Мария Николаевна с дочерьми Варей и Лизой. Сестра Таня, проживавшая в этот период вместе с Соней и Лёвочкой, переехала тотчас же в «тот» флигель к остальным гостям. Хозяйка усадьбы делала все, чтобы дорогие гости не скучали. В один из суматошных дней Лёвочка предложил поставить что-нибудь забавное на сцене. Все стали просить его придумать пьесу для этого. Он согласился и принялся за сочинительство. Через три дня комедия «Нигилист» была готова. Ее фабула проста и безыскусна. К молодым любящим супругам, тихо проживавшим в деревне, приезжает компания во главе со студентом — нигилистом. Жена очарована красноречием студента, а муж страдает от ревности. Пьеса была тотчас же утверждена гостями, и осталось только распределить роли. Соня выбрала для себя роль мужа — ревнивца. Женские роли достались сестре Тане, Софеш, Варе и Маше, а роль странницы мастерски исполнила золовка Мария Николаевна, которая по ходу действия умело импровизировала, придумывая все реплики.

Целую неделю длилась театральная суeta с многочисленными репетициями и прочими приготовлениями. Лёвочка выступал в роли

режиссера и учил всех, как нужно играть. Реплики летели словно на крыльях. Сцену устроили в столовой и обедали теперь в другой комнате. В день премьеры блистала Мария Николаевна, поразившая всех не только своей талантливой игрой, но и сценическим костюмом, гримом, аксессуарами. Особенно зрителей поразила ее походка. «Актриса» была очень подлинной, убедительной, ненаигранной. Лёвочка просто сиял от удовольствия. Соня тоже не оплошала, сыграла свою роль на славу. Но судьба постановки оказалась непредсказуемой: никто не успел записать пьесы, и ее слова и роли навсегда канули в Лету. Тем не менее эта комедия впоследствии воодушевила Лёвочку сочинить пьесу для большой сцены. Это была комедия «Зараженное семейство», в которой он высмеял модный в то время нигилизм.

Вскоре супруги отправились в Москву, чтобы предложить пьесу Малому театру. Лёвочка прочел «Зараженное семейство» корифею драматургии Николаю Островскому, но не получил его одобрения. Пьеса не произвела на того впечатления: «уши вянут», — заключил он. Когда же Толстой выразил желание, чтобы пьеса была поставлена немедленно, тот спросил его: «А ты думаешь, что люди в один год поумнеют?» Лев Николаевич надолго запомнил этот урок, и работа над «Зараженным семейством» была остановлена навсегда.

Лёвочка снова засел за «Войну и мир», стал надиктовывать племяннице Варе главы романа, а впоследствии подарил ей десять тысяч рублей из полученного за книгу гонорара. Соня же подготовила свой презент для славных девочек — Вари и Лизы. Она решила устроить на Святки пышный маскарад, главной интригой которого стал карлик Мурзик, смешной человечек с огромной головой. Он служил дворником в усадьбе. Этому Мурзику и предстояло, по замыслу Сони, стать царем маскарада. Она смастерила для него золотую корону, а другую — для дворовой девочки Маши. Красные шали, словно по мановению волшебной Сониной палочки, в одночасье сделались мантиями. Вареньку она превратила во французского зуава, сына няни — в маркитантку, Лизу — в напудренного маркиза, а дворовую девочку Душку — в маркизу. Постановка и сценарий карнавала были придуманы Соней. Участники маскарада вышли на сцену под звуки браурного марша, исполненного Лёвочкой на рояле. Праздничная стихия захватила в свои объятия всех, от мала до велика. Царь — карлик постоянно балагурил и всех смешил, он то плясал, то пел. А немец — скотник, прямой, как струна, вальсировал с женой, словно заведенная механическая игрушка. Вскоре начался настоящий разгул, буйство чувств, и как кульминация маскарада — общая пляска во главе с

веселой Ариной — плясуньей. Дикая, праздничная феерия с песнями и толкотней продолжалась в их маленькой столовой чуть ли не до утра. «После пляски начали играть в разные игры: лучше всех игра — бить по рукам, — вспоминала царица карнавала Варя. — Когда пошли бегать да бить так, что на всю комнату щелкало, тут даже и большие не утерпели; первый пошел Келлер (бывший учитель яснополянской школы. — **Н. Н.**), потом Сережа, потом уже подкралась мамаша с Лёвочкой, и пошла работа: кто ударит покрепче; мы даже били обеими руками, и когда дело доходило до Финогеныча (карлика), тут уже все приходили в азарт и восторг. Лёвочка кричал: «Берегитесь! Берегитесь!» Все принимали руки, потому что карлик бросался, как какой-нибудь хищный зверь, и уж беда тому, кому достанется от него; он раз даже попал Арине чуть не в лицо. Последняя игра была в «жгуты»». У Лёвочки глаза горели от удовольствия. Он притоптывал в такт ногой и с восторгом смотрел на пляшущую толпу. Никакой балет и опера не могли доставить ему такого наслаждения, как эта разудалая пляска, в которой он находил столько первобытной грации и ритма.

Пляшущая толпа вызвала у Сони чувство тоски и одиночества. Она тихо поднялась на второй этаж в детскую, где спали ее дети. Здесь она предалась своим московским девичьим воспоминаниям, которые «преобразовывали ее с одного события на другое». Так, еще в раннем детстве, в гостях у крестного отца ей достался боб в пироге к *je jourdes Rois* (дню короля. — **Н. Н.**). Соню усадили на трон и расспрашивали о ее желаниях. Она очень быстро вошла в роль царицы, легко усваивая всякое влияние, за что была презрительно прозвана сестрой Лизой флюгером. Соня не обиделась на эту колкость, поняв, что соприкосновение с искусством начинается с подражательства.

Ей больше нравился блеск светских балов, нежели деревенское веселье. Поэтому ей было так приятно снова окунуться в свое детство, словно заново «побывать» на балах у Бреверн, где она вместе с сестрой блистала в белом воздушном декольтированном платье, с обнаженными руками, в белых атласных башмачках, в которых лихо отплясывала как взрослая. Потом их возили на балы в кадетский корпус. Ее, девочку — подростка, они приводили в настоящий восторг. Но самым эффектным и памятным оказался «денной» бал в Благородном собрании. Мама нарядила ее и сестру Лизу «словно куколок». Соне исполнилось тогда шестнадцать лет. У нее был ошеломляющий успех, кавалеры постоянно приглашали ее танцевать. Любовь Александровна, не на шутку напуганная Сониным триумфом, увезла дочерей с бала. Аргумент у матери был простой: «слишком молоды, чтобы так трепаться».

Яснополянский маскарад казался Соне очень сельским, лишенным столичного блеска и лоска. На этом празднике она чувствовала себя лишней. В своем шелковом «московском» туалете она выглядела смешной и нелепой в деревенской праздничной стихии с дикими играми в жгуты, битьем по рукам, от которых ее деверь Сергей приходил в неописуемый восторг и просил Соню еще раз устроить такой маскарад. Может быть, и прав был папа, утверждавший, что его средняя дочь не умеет веселиться. Ей, действительно, гораздо приятнее было прислушиваться к фантазмагорическому вихрю из детской комнаты.

Тем не менее ничто — ни разница в возрасте между ней и мужем, ни антагонизм их восприятий — не мешало обоим любить друг друга. Не было в мире большей любви, чем та, которая соединяла их.

Глава XII. Тридцать три

За пятнадцать лет брака Соня срослась с мужем, они стали единым целым. Это оказалось возможным, как она полагала, благодаря переписыванию Лёвочкиных романов, над которыми она сидела не разгибаясь, пристально всматриваясь близорукими глазами в запутанный веревочный почерк, проживая сразу несколько жизней со своими любимыми героями. И еще потому, что самое лучшее из их супружеской жизни автор вкладывал в свои сочинения, тем самым что-то отнимая у нее. Но от этого жизнь Сони не становилась хуже. Все с лихвой компенсировалось чудом искусства, доказывая справедливость Лёвочкиного утверждения, что сочинение прекрасно, а жизнь дурна. Однако с этим высказыванием она не могла полностью согласиться. Несмотря на то, что ее жизнь протекала не в эпикурейских условиях, Соня была счастлива, не разочарована ею, любила и ожидала от нее еще много хорошего. Потеряв трех своих детей, одного за другим, Соня все же нашла в себе силы не сломаться под тяжестью горьких воспоминаний, она научилась залечивать раны.

В тридцать три года, считала Соня, пора подвести хотя бы предварительные итоги тому, что сделано. А итоги были вполне впечатляющими. Она купалась в славе мужа, и это было заслуженно, как и то, что она вызывала восторженные эмоции, например, у фрейлины Александрин Толстой, которая, впервые увидев ее, отметила ее «симпатичный» внешний облик «с головы до ног», а еще и ее «простоту, ум, искренность и сердечность». Действительно, духовные, умственные силы Сони, как, впрочем, и физические, находились в полном расцвете. Семейный опыт оказался также весьма поучительным и внушительным, она очень сильно привязалась к своему мужу и детям.

Кажется, совсем недавно она впервые почувствовала незнакомое «брыканье» ребенка в своей утробе, и за прошедшее время это случилось с ней аж восемь раз. Лёвочка говорил ей так: жена и муж должны сходить со сцены, а их место должны теперь занять дети. Что ж, старшему сыну Сереже уже 14 лет, дочери Тане — 13, муж «здоровее прежних времен». Конечно, жизнь с гением порой обжигала ее, но за это время Соня многое поняла. Прежде всего то, что «им не сделается, а себя потеряет». Поэтому стремилась жить своей маленькой жизнью, хотя это было непросто. В ее голосе и в ее интонациях был слышен мужнин первоисточник, что не

преминула заметить чуткая фрейлина Толстая. Живя с гением, Соня невольно, словно губка, впитывала в себя мысли мужа, становясь умнее. Ведь Лев Николаевич не зря не раз повторял, что с умным человеком умнеешь. Они были душевно очень близки.

Судьба наградила Соню дыханием *de longue haleine* (долгим. — **Н. Н.**), это позволяло ей многое вынести на протяжении длинных дистанций. Соня теперь была многоопытной помощницей мужа — творца, а не только прекрасной матерью пятерых детей, которые были для нее несравненно хороши. Получалась интересная штука: жизнь с детьми тянула ее в одну сторону, а Лёвочкино романное творчество в другую, но она умело балансировала между двумя пространствами и пока удачно выкарабкивалась, каждый раз удивляясь своему мастерству. Но ее психика порой не выдерживала таких огромных перегрузок и перенапряжений. Случались сбои, пока еще не доходившие до депрессий. Все ограничивалось жаждой веселья, комплиментов, для которых семейный мирок был тесноват.

Тем не менее их физиологическая и интеллектуальная связь выглядела вполне привлекательной, скрепляла и охраняла супругов. С каждым прожитым с мужем годом Соня все больше испытывала чувство благодарности судьбе за щедрый дар быть женой Толстого. Но и сама при этом не плошала, *de main de maitre* (с рукой мастера, профессионально. — **Н. Н.**) управляла ровным течением их супружеской жизни, не обременяя себя заботами о собственной красоте. Прошло то время, когда она хотела понравиться молодым людям, которыми был переполнен родительский дом. Тогда для нее была чрезвычайно важна забота о внешности. Теперешняя замужняя жизнь приучила Соню почти к пуританскому стилю, заставила забыть прежние треволнения из-за появления первых морщин. Все улетучилось само собой. Сейчас ей казался совершенно нелепым поиск всевозможных омолаживающих средств. Ее забота о внешности была минимальной, она носила строгую прическу с прямым пробором и гладко зачесанными волосами, которая была ей к лицу. Изредка делала огуречные, фруктовые или кисломолочные маски. Главным в уходе за собой для нее оставалось здоровое питание, она не гналась за вечной молодостью. Была слишком рассудительной для этого, обладала крепким умом, он не давал ей стареть. В этом, пожалуй, и состоял главный секрет ее молоджавости. В свои тридцать три года Соня нашла смысл жизни в тишине и уединении, а не в шуме и блеске. Со временем страсти стихали, уступая место детскому многоголосью, которое должно было в этом году пополниться еще одним голоском. Волнения сменились размеренностью домашнего труда.

А трудилась она упорно и непрерывно, то переделывала шляпы, то шила платья для себя и детей, весь день просиживая за машинкой, доставшейся ей от матери, следила за вязкой чулок и, конечно, занималась детьми — утешала Лёлю, плакавшего из-за «противного» молока, не разрешала Тане с Илюшей таскать мороженую клюкву на кухне, наказывала Таню с Сережей за то, что они скверно себя вели — запирала сына в отцовском кабинете, а дочь в гостиной, чтобы они не смогли подраться.

Порой у Сони голова шла кругом от детских шалостей: Лёля с Илюшей стали «бросать» бумажные стрелы в Сережу, и тот их побил, но они тут же дали ему сдачу, а после обеда прибежали к ней жаловаться на Сережу, и ей пришлось разбирать со старшим сыном этот проступок, а заодно и то, что он обозвал за обедом своих гувернеров чучелами. В таких случаях Соня объявляла перемирие, тогда Сережа садился за свой дневник, Таня притихала, но только не Илюша с Лёлей — они прятались под кровать и обзывали гувернера Nief, м — ль Гаше и Анни Филлипс шутами, потом обещали мама с понедельника вести себя хорошо.

Сильно привязанная к мужу и детям, она полюбила свою деревенскую «сидячую» жизнь, с детским шумом, лаем Дорки, желтого сеттера, общего любимца, с редкими праздниками. В общем, лучшим гнездом для нее стало то, которое она свила сама, а не из которого вылетела. Она вспомнила, как первое время боялась называть мужа по имени, как ей не нравилось его прозвище Левендуполо, данное ему братьями Берсами, как полюбила стряпать для своей семьи, опекать и подкармливать забавных щенят, как читала Лёвочкины письма, сидя в ванне, когда никто не мешал, как подтрунивала вместе с охотниками над мужем, «допустившим», чтобы роды жены совпали с охотничьей порой, а он отпускал шутки по поводу ее живота, похожего на арбуз, как деверь сердился за то, что она не держит в доме вина, и как он был недоволен тем, что Лёвочка продал свою душу, то есть свой роман. Из этого сонма мелочей складывалась ее жизнь, такая на первый взгляд бесхитростная и такая впечатляющая по своим плодам.

Соня крутилась как белка в колесе, с осознанием тщеты своего верчения. Чаше всего это было вызвано банальными денежными подсчетами и расчетами, обычно с братом мужа, Сергеем, которому они задолжали к тому времени уже 17 тысяч 900 рублей. Финансовые дела оставляли желать лучшего: расходы превышали доходы. Поэтому супруги не смогли купить себе имение, но зато решили вернуть часть долга своему кредитору Сергею: тысячу рублей банкнотами, а шесть с половиной тысяч чеками. На оставшуюся часть долга Лёвочка написал расписку. Чтобы

сократить расходы, братья регулярно обменивались уже прочитанными газетами и журналами.

Но вот Лёвочка снова захотел купить четыре тысячи десятин земли в Самарской губернии и стал собирать деньги для задатка. Он всячески «подъезжал» к брату, чтобы занять денег, просил снять восемь тысяч рублей под вексель, то есть долговое обязательство под семь банковских процентов. Деньги, однако, не понадобились: муж смог оформить юридическую сторону сделки непосредственно с самим бароном Р. Г. Бистромом, подписав с ним купчую крепость на покупку земли по 10 рублей 50 копеек за десятину. Двадцать тысяч Лёвочка выплатил сразу наличными деньгами, а остальные, согласно договоренности, в течение двух лет под шесть процентов.

Но деньги также требовались для оплаты труда учителей — от 300 до 600 рублей в год гувернанткам и от 500 до 1000 — гувернерам, которые также должны были обладать безупречными манерами, добрым нравом, знать французский или немецкий язык и желательно иметь классическое образование. Конечно, немаловажной была рекомендация, каковую, например, Афанасий Фет выдал своему протеже, Ф. Ф. Кауфману. А г — н Nief был отрекомендован женеvским священником. Но наделе Nief оказался гулякой, водившим до 12 часов ночи амуры с гувернанткой Анни, а Кауфман оказался человеком малообразованным. В этой связи принимались соответствующие меры. Так, после Нового года Соня с превеликим трудом «выжила» месье Реу, который был вынужден сдаться под напором графини и со слезами покинуть усадьбу. Он получил отставку из-за того, что третировал Лёлю, выводил ребенка из себя, постоянно кричал на него и угрожал даже выбросить из окна. В. И. Рождественский прекрасно учил старших детей математике, русскому языку, истории и географии, но был любителем спиртного. А вот В. И. Алексеев, которого Соне порекомендовала акушерка Абрамович, оказался не только прекрасным математиком и знатоком русского языка, но и замечательным гуманитарием, много давшим детям в плане общего развития. Все, и большие, и малые, очень полюбили его за добрый характер, простоту и преданность работе. Он постоянно что-нибудь делал: то пилил, то клеил, то шил сапоги, то рубил дрова, не говоря уже о том, что занимался с детьми. С каждым годом денег на детское обучение требовалось все больше, и это несмотря на то, что родители многому их сами учили.

Благодаря Сониному мастерству тратиться на детскую одежду не приходилось, покупали только обувь. Соня шила и шила до дурноты, до отчаяния, до головной боли. Забота о детях и о бюджете не позволяла ей

расслабиться ни на минуту.

Но было у Сони и занятие, которое доставляло ей огромное удовольствие. Она обучалась искусству выращивания цветов, мечтала о том, чтобы Ясная Поляна превратилась в цветущий сад. С этой целью выписала из Москвы много семян астр, левкоев, флоксов, вербены, заказала для них деревянные ящики. Она заразила страстью к цветам не только старших детей, но даже гувернера Nief. Эти помощники брались за лопаты и усердно копались в земле, с энтузиазмом обустривая свои цветники, стараясь не отстать от своей вдохновительницы. Вскоре вокруг дома появились роскошные рабатки, радовавшие домочадцев разноцветьем и ароматом.

Между тем у Сони возникли проблемы со здоровьем. Зимой она заболела коклюшем, заразившись им от детей. Потом почти два года кашляла, сильно похудела. А для мужа, казалось, ничего не могло быть ужаснее, чем болезнь Сони. С каждым днем она слабела, часто лежала в постели, а муж по — прежнему игнорировал врачей и вообще медицину, не признавая противозачаточных средств. Из-за этого Соня оказалась в странном положении. Слишком много всего навалилось на нее сразу. Она путалась в своих мыслях и не знала, как ей поступить. Речь шла о новой беременности, и она стояла перед дилеммой: рожать или подать на развод.

В январе 1877 года Соня решила отправиться в Петербург, чтобы посоветоваться со знаменитым профессором Сергеем Петровичем Боткиным, с братом которого приятельствовал ее муж. К этому времени у нее появилась своя визитка, на которой она была обозначена как графиня С. А. Толстая. Ей хотелось увидеться с мамой, услышать ее совет. В Москве Соня быстро «перенеслась» с Курского вокзала на Николаевский, села в поезд, идущий в Петербург, где ее ждала мама, проживавшая в тот момент у старшей дочери в Эртелевом переулке. Любовь Александровна, постаревшая и постоянно хворавшая, очень обрадовалась дочери и проболтала с ней почти до утра. Встретилась Соня и с сестрой Лизой, превратившейся в роскошно одетую, сильно располневшую даму с немалым апломбом.

Критик Николай Николаевич Страхов, очень почтительно относившийся к Соне, ценивший ее за огромную энергию, особенно за то, что она делала для Льва Николаевича, взял ее визитную карточку и поспешил к доктору Боткину, чтобы договориться с ним о приеме пациентки. На визитке, которую вскоре Страхов передал Соне, профессор написал: «Если графиня выезжает, то я буду к ее услугам в пн., ср. и пт., от 8 ч. вечера. Если же графиня желает, чтобы я ее навестил дома, то прошу

дать адрес, и тогда я назначу час и день приезда».

Лев Николаевич очень боялся Сониных болезней, сопровождавшихся ее дурным настроением. В это время она плохо спала, ничего не ела, часто плакала, страдала головными болями. В общем, не надо было быть врачом, чтобы увидеть симптомы перевозбуждения психики. В Соне словно что-то надорвалось, ослабели ее любовные порывы, но она старалась бороться с постыдной апатией. Брат Степан решил помочь ей и подключился к обучению детей, проверяя выполнение уроков.

Итак, для Сони наступила не лучшая пора. А ведь долгое время она считала себя «железной» натурой, которой все нипочем, не страшно, даже в те моменты, когда хотела освободиться от очередной беременности, от «груза», когда не хотела больше рожать. Но все ее попытки остались тщетными. Она по — прежнему была вынуждена рожать, и ее организм стал постепенно изнашиваться. А после приключившейся с ней родильной горячки, когда врачи не советовали ей больше беременеть, она всерьез задумалась о применении противозачаточных средств, подобно одной из Лёвочкиных героинь Анне Карениной. Иными словами, две мыши (день и ночь), одна белая, другая черная, из мудрой притчи, напоминали ей о быстротечности времени, о том, что ей уже тридцать три года.

Как-то Соне приснился странный сон. Она вместе со своими детьми, Машей и Лёлей, стояла в Страстную пятницу около собора, вокруг которого сам собой ходил позолоченный крест. Он трижды обошел вокруг собора и остановился прямо перед ней. Она разглядывала распятого Спасителя, черного с головы до ног. Вдруг кто-то вытер черноту с его лица полотенцем, и он стал белым. Спаситель приоткрыл правый глаз и поднял правую руку к небу. Соня попыталась разгадать этот сон и увидела его смысл в крестном терпении. Это ночное видение помогло ей найти ответы на мучившие вопросы. Теперь она больше не хотела думать об искушениях, смирилась, но духом не пала, справилась с собой, ее мысли больше не путались, она перестала бояться судьбы.

Соня вспомнила свой недавний разговор с профессором Сергеем Петровичем Боткиным, который сказал, что насилие над женским организмом очень опасно и вредно. Милый, сердечный Боткин успокоил свою пациентку, уверив, что от родов она не умрет. Таким образом, была поставлена точка в этой интимной истории, отчего Лёвочка был в восторге. А Соне пришлось снова поверить в свою «железную» натуру, не позволившую больше своей хозяйке предпринимать какие-либо попытки по освобождению от «лишнего груза», что не раз она пыталась сделать. Слава богу, пришел конец этим многозначительным иносказаниям и еще

чему-то неладному, порой возникавшему между ней и мужем. Она поверила этому простому и милому человеку, убедившему ее в том, что ее организм еще очень крепок.

За четыре дня, проведенных в Петербурге, Соня успела полюбить «прекрасную, духовно высокую и сердечную графиню Александру Андреевну», насладиться общением с ней, оказавшимся весьма полезным. Соня навестила всех своих многочисленных родственников, слушала в Мариинском театре оперу Верди «Аида». В общем, следовала советам профессора, настоятельно рекомендовавшего ей, помимо диет, прием мышьяка и брома, как можно больше двигаться и меньше находиться в одиночестве.

Пожалуй, самое большое впечатление во время этих столичных Сониных прогулок на нее произвел Эрмитаж, который она посетила вместе со Страховым и с кузиной Машей Шидловской. Знакомство с шедеврами Рафаэля, Рубенса, Мурильо привело ее в восторженное состояние.

После чудных прогулок мама устроила в честь дочери праздничный обед, на который созвала родственников, друзей, пригласила и первую Сонину любовь Сашу Поливанова, который к этому времени оказался уже дважды женат. Они оба были смущены и, конечно, поражены произошедшими в них переменами. Соня из «тоненькой девочки» превратилась в авантюрную даму.

В это время, как ей казалось, весь столичный бомонд говорил об «Анне Карениной» в весьма хвалебных тонах, а «Голос», «Новое время» превозносили ее автора аж до небес. Но все — таки самым приятным для Сони было еще раз узнать из ласковых писем мужа о том, как он ее любит, как скучает по ней, как не может даже подходить к Сониному столу, чтобы не обжечься воспоминаниями о жене, особенно страдает ночью, боясь глядеть в сторону ее кровати.

Она вернулась в Ясную Поляну, и это событие стало праздником для них обоих. Было много восторгов, которые внезапно омрачились происшествием с их старшим сыном Сережей на катке. Дети катались на коньках по расчищенному от снега Большому пруду, и Сережа из-за снежной стены не увидел бежавшей к нему навстречу Тани. Он столкнулся с ней и сильно разбился, ударившись затылком об лед и потеряв сознание. Без признаков жизни его отнесли домой. Соня сразу послала в Тулу за пиявками, сама поставила по две пиявки за каждое ухо, и Сережа всю ночь проспал, а на утро встал абсолютно здоровым.

После ее приезда Лёвочка засобирался в Москву, чтобы посмотреть корректуры романа, поправить их, если возникнет в этом необходимость. В

общем, он хотел все подготовить для очередного финального майского выпуска «Анны Карениной» в «Русском вестнике». Но случилось непредвиденное, заставившее его принять адекватные действия. Издателю не понравились последние главы романа из-за взглядов автора на Сербскую войну и участие в ней русских добровольцев. Возмущенный Лёвочка решил поставить на место Каткова, который, по его мнению, не умел и двух слов связать. Как посмел этот «мямля» своими словами излагать авторский текст в эпилоге романа?!

Соня была также в ужасе от бесцеремонной выходки Каткова, все «укравшего» у ее Лёвочки, и она послала в газету «Новое время» свое возражение по этому поводу. Спас положение Николай Николаевич Страхов, который предложил издать роман отдельной книгой. К тому же он был готов взять всю подготовку материала на себя.

Муж с радостью принял это предложение, и критик принялся за дело. Он перечитал роман, исправил орфографию, потом пунктуацию, попутно указав Лёвочке на места, нуждавшиеся в корректуре. Николай Николаевич правил страницы и сразу же передавал их автору. Так они дошли до середины романа. За это время Лёвочка успел настолько увлечься правкой, что даже обогнал Страхова, и теперь тот едва поспевал за автором.

Каждый день за утренним кофе они вдоволь наговаривались друг с другом, после чего расходились по своим рабочим местам. Лёвочка — на второй этаж, а критик — в нижний кабинет, ставший на это время «страховским». Устав от работы над текстом, они отправлялись на прогулку, чтобы «нагулять аппетит». Иногда Лёвочка пропускал прогулки, потому что не мог оторваться от работы, за обедом обычно был рассеянным и неразговорчивым. Так продолжалось больше месяца, и за это время Страхов увидел, какое значение писатель придавал своему труду: он упорно отстаивал свою точку зрения, не соглашаясь с замечаниями, обдумывал каждое слово, будто какой-нибудь щепетильный стихотворец. Теперь Николай Николаевич, как и Соня, понял, что небрежность Толстого только кажущаяся. На самом деле за ней стоял невероятный труд «лит — те — ратора» — профессионала, превративший его в «писательную машину». Вскоре исправленный текст «Анны Карениной» был передан Страховым в типографию Риса для публикации отдельным изданием.

Глядя на критика, Соня вспоминала, как сама разбирала близорукими глазами Лёвочкины каракули, до поздней ночи сидя за письменным столиком в гостиной. Иногда даже она не могла разобрать скверный почерк мужа, который имел обыкновение вписывать, втискивать целые фразы между строк или в уголках страницы, а то и поперек ее. Приходилось

обращаться к нему за разъяснениями. Теперь Соня ждала, когда же будет окончательно, в полном объеме, напечатан «их роман» «Анна Каренина», на который так и не отреагировала Александрин Толстая, сообщившая в письме, что она прочитала роман вместе с императрицей Марией Александровной, но при этом не высказала о нем своего мнения. И как раз в это время муж потерял интерес к своему сочинению. Лёвочка всегда охладевал, когда дело подходило к концу, потому что уже торопился к новой работе. Но Соне удалось выпросить у него «подарочек» за то, что она так усердно переписывала «Анну», и он вскоре привез из Москвы «очень хорошенькое кольцо, в середине рубин, а по краям два бриллианта». Она очень любила украшения, драгоценные камни, наряды. Теперь на одном из ее пальцев красовался мужнин подарок. Что ж, не только сестре Лизе носить бриллианты...

В один прекрасный день Соня снова почувствовала «брыканье» в животе, и страх за собственную жизнь и жизнь будущего ребенка не заставил себя долго ждать. Она очень боялась родов. 6 декабря 1877 года у нее благополучно родился восьмой ребенок, сын Андрей. Тревоги ее были вызваны потерей трех малолетних детей, и она действительно очень тяжело носила Андрея, даже последнее время не могла ходить. Тем не менее малыш родился славный. Соня крайне бережно относилась к новорожденному. В ее чувстве к нему было что-то «болезненно — нежное», что передалось ее «большим» детям, и они вслед за мамой стали обожать Андрюшу. Этот ребенок был слабым, его постоянно мучили то ложные крупы, то поносы, то экземы, то воспаление оболочек мозга. Это заставляло Соню задуматься о судьбе малыша и еще о том, как болезни могут повлиять на его характер. Она как могла охраняла его, сама кормила грудью, выхаживала, в общем, целиком посвящала себя ему. В это время понадобилась новая няня. Старая, Мария Афанасьевна, как показалось Соне, уже не могла ухаживать за болезненным младенцем, и она предложила ей заняться хозяйством, а сама подыскала ей замену — дворовую женщину Анну Степановну из Судакова, которая оказалась очень проворной и надежной.

Вскоре Соня была вынуждена переключить свое внимание на старшего сына Сережу, которому предстояло поступать в тульскую гимназию. Но прежде Лёвочка сам проверил знания сына. Соне нужно было купить все необходимое для будущего гимназиста Сережи, и она вместе с детьми отправилась в Тулу. Для ненабалованных детей эта поездка оказалась очень ярким событием. Они потом с упоением рассказывали, как заказывали Сереже и Тане пальто, как сделали фотографии, как

«старательно» вели себя в ателье, и как остались довольны этой поездкой. А Лев Николаевич поведал им о том, как посетил Оптину пустынь, беседовал со старцем Амвросием и отстоял в монастыре всенощную.

Глава XIII. «Всё на моих руках»

Соня хотела как можно лучше подготовить детей к взрослой жизни, учила их правильно сидеть за столом, по — светски вести себя в гостиной, с умом проводить время в тоскливые зимние дни, обучала иностранным языкам и другому.

Безусловно, дети очень многое перенимали от своих родителей — манеры, знания о мире, их окружавшем, но этого было недостаточно. Кто-то должен был постоянно, систематически заниматься с ними. Соня заинтересовалась практикой воспитания, которая бытовала в семье мужа. Первой воспитательницей, конечно, была *tata*, она вела детский журнал поведения, в котором подмечала все сильные и слабые стороны своих питомцев. Мария Николаевна отмечала, например, в поведении старшего сына Николеньки очень много положительного. Поэтому за такие похвальные качества, как учтивость, всячески поощряла малыша. От ее зоркого взгляда не ускользнули и недостатки сына: склонность к капризам, блажь, тщеславие. Видя это, она прибегала к самой суровой мере наказания: ставила Николеньку в угол. Мария Николаевна мечтала, чтобы дети росли добрыми, ласковыми и некапризными. *Maman* регулярно оценивала поведение своих подопечных с помощью «билетиков», на которых писала замечания: «порядочно», «изрядно, но не без блажи». Она придавала огромное значение воспитанию и обучению своих мальчиков, используя с этой целью необходимую литературу, например сочинения мадам Жанлис. Не гнушалась и собственным опытом, доставшимся ей от отца, князя Волконского, сурового и строгого воспитателя. Именно он посеял в ней «семя нравоучения», научил свою дочь здравому размышлению, не забыл о деловых навыках, приучил ее к регулярным подсчетам всех припасов для барского стола и дворни, а также кормов для скота и лошадей. Дочь внимательно подсчитывала все доходы, получаемые от скотного двора и от пряжи, изготовленной из льняного волокна. Она должна была знать, какова стоимость обоза до Тулы и до Москвы. Эту отцовскую модель воспитания Мария Николаевна стремилась активно внедрить в своей родительской практике. Идя по стопам своего строгого родителя, она повторила его воспитательный опыт: ее дети прекрасно читали по — русски уже в четырехлетнем возрасте, а по — французски — в пять лет. Мария Николаевна привила детям любовь к книгам, питавшим их души на протяжении жизни, к ботаническим прогулкам по Ясной

Поляне, когда-то совершаемых ею под руководством немца — учителя. К сожалению, Лёвочка остался без матери в два года — она не выдержала последних тяжелых родов и скоро угасла.

Соня радовалась, что их с Лёвочкой старший сын Сережа уже в три года знал азбуку. Не случайно же он так похож на отца! Но разве можно справиться ей без гувернеров и учителей? Родителям и позже опекунам мужа это удовольствие обходилось очень дорого. Как рассказывал Лёвочка, на жалованье учителей и гувернеров ежегодно уходило более 12 тысяч рублей, которые его тетка Алина получала от Языкова, опекуна детей, на расходы. Но образование, безусловно, стоило этого.

У братьев Толстых было три гувернера из французов и немцев, две гувернантки, шесть учителей, священник, обучавший Закону Божию, был даже учитель верховой езды. Гувернерам, немцу Федору Ивановичу Ресселю и французу Сен — Тома, платили по 1500 рублей в год ассигнациями. Через год жалованье было увеличено еще на 500 рублей. При этом каждый гувернер имел отдельную комнату, когда семья жила в Москве, в доме с мезонином на Плющихе, слугу и прекрасно оборудованную классную комнату, в которой висело расписание занятий, проводимых с восьми часов утра и до самого вечера. Сен — Тома преподавал латинский и французский языки, а также французскую литературу, а после уроков проверял задания, данные другими учителями. Также он публично разбирал этику поведения своих подопечных. Учителям платили по 1040 рублей, а студентам — преподавателям — по 520 рублей в год. «Лёва — рева» запомнил и полюбил своего первого учителя, немца Фридриха Ресселя, бескорыстного, готового работать без жалованья исключительно из любви к детям, с которыми не мог расстаться, потому что очень к ним привык.

Соне очень помогли воспоминания Лёвочки о Федоре Ивановиче Ресселе (так по — домашнему звали в семье добродушного учителя. — **Н. Н.**), воспетом мужем в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность», о всей системе воспитания, бытовавшей со времен деда и оказавшейся весьма продуктивной и вдохновительной. Пока муж сажал большой яблоневый сад, говоря при этом, что он делает это для сына Сережи, Соня всерьез была озабочена поиском гувернеров и учителей для своего первенца. Она потихоньку приучала детей к разумному комфорту, но не к роскоши. Одевала и кормила их очень просто. Самые большие затраты она планировала на обучение детей, на гувернеров и бонн. При этом Соня не хотела самоустраняться от воспитательного процесса, желала принимать посильное участие в обучении своих детей. Она всегда помнила о своем

дипломе домашней учительницы, который бережно хранила. Пришло время воспользоваться своими профессиональными знаниями.

Практические навыки у нее уже имелись, ведь она учила «кое — чему» и как могла своих меньших братьев. Особенно ей запомнился младший брат Володя, который был таким славным мальчиком. Очень много полезного Соня вынесла из собственного домашнего опыта, связанного с ее воспитанием и обучением. Ей было горько признаваться в том, что она плохо училась в детстве и что ее часто наказывала мама за невыученные уроки. Фору ей давала старшая сестра Лиза, больше Сони склонная к учебе. Она была очень прилежной и добросовестной. Этими качествами в то время средняя сестра не обладала. Возможно, сказывались театральные увлечения Сони, мешавшие ей вовремя делать уроки. Она всегда была чем-то увлечена, в отличие от Лизы, которую Соня и Таня прозвали «деревянной». Ее учителями были в основном русские студенты — медики, один из которых влюбился в свою подопечную. Обучали ее также французы — мадам Бесс и месье Шарль, которые заставляли Соню пафосно декламировать Корнеля и Расина. Один случай, произошедший, как ей тогда казалось, по вине мадам Бесс, Соня запомнила на всю жизнь. Однажды она ослушалась учительницу и не выучила наизусть огромные исторические пассажи и тем самым разгневала свою наставницу. Та пожаловалась Любове Александровне на нее. Мать принесла розгу и заставила Соню раздеться. Девятилетняя девочка запомнила все до мельчайших деталей, как мать крепко схватила ее за руку чуть выше локтя и стегала розгой, как она подпрыгивала от невыносимой боли, как рыдала и дрожала от холода. Спустя время мама, словно оправдываясь, объяснила свою выходку пагубной привычкой, привитой ей мачехой, считавшей, что при воспитании детей без розг невозможно обойтись. Теперь Соня знала, что она так ни за что не поступит, если Бог даст ей возможность быть матерью. Этот случай помог ей сделать свои выводы на будущее.

Соня сама занималась воспитанием детей. Она давали им уроки, обучала французскому языку. Она всячески поддерживала яснополянскую традицию домашнего образования, обучая детей еще русскому языку и занимаясь с ними музыкой. Лёвочка увлеченно преподавал им арифметику. Потом супруги стали приглашать иностранных учителей для обучения детей английскому, немецкому и французскому языкам. Последний по — прежнему считался языком повседневного общения в дворянской среде. В системе воспитания родители руководствовались следующим постулатом: «Лучше дурно сделанная работа, чем ничего». Он был записан Лёвочкиным крупным почерком на отдельном листке бумаги. Так родители стремились

приучить детей работать даже тогда, когда им совсем не хотелось этого делать.

Толстые старались воспитывать детей собственным примером. Дети быстро поняли, что с прислугой надо обращаться вежливо. Они были приучены непременно прибавлять к своим просьбам «волшебное» слово «пожалуйста», а родители в свою очередь стремились никогда не приказывать детям. Также в семье пресекалась любая ложь. Она была строго наказуемой взрослыми. Провинившегося ребенка могли ненадолго «заключить» в его комнате или наказать «холодной» родительской интонацией. Как только ребенок искренне раскаивался, он тотчас же получал прощение. Этикой поведения исключалось любое принуждение со стороны взрослых. Ни Соня, ни Лёвочка никогда не требовали от шалуна клятв и обещаний в том, что подобное не повторится вновь.

Родительская политика была единой. Соня во всем была согласна с мужем, стараясь не забывать о том, что она всегда на виду у своих чутких малышей, легко впитывавших словно губка все хорошее и плохое. Общими усилиями родители стремились влиять на формирование детей, совершая с ними прогулки, знакомя с богатством природы. Шутливо, ласково и осторожно приоткрывался для них ее таинственный мир. Сережа, Таня, Илья и Лёля постигали его под чутким руководством мама и папа.

Слово «неженка» считалось постыдным и обидным в толстовской семье. Лёвочка не был ласков со своими детьми в общепринятом понимании. Не в поцелуях, не в подарках и игрушках проявлялась его родительская любовь, а в особом обращении к своему первенцу — «Сергулевич» вместо «Сережа», в том, как он командовал: «Лезь на меня», и дети бросались карабкаться по нему до плеч, а отец брал их за руки и перекувыркивал вниз головой. А еще были занятия гимнастикой, прыганье через козлы, бег наперегонки. Муж никогда не ждал малыша. Даже если тот нещадно ревел, он должен был догнать отца, и тогда Лёвочка скажет ему: «Ты не плачь, не плачь, детинка, в нос попала кофеинка, авось проглочу».

Соне нравился Лёвочкин подход к системе домашнего воспитания. Она была в восторге от его прозорливости, способности заглянуть в душу ребенка и понять его сущность. Так, в девятилетием Сергее он обнаружил несамостоятельность, в Илье — самобытность, в Тане — семейные инстинкты. По поводу дочери он даже шутил, говоря, что готов выдать премию тому, кто сумеет сделать из нее «новую женщину», эмансипе, нигилистку. Соня вдохновлялась также Лёвочкиной педагогикой, направленной на нравственное воспитание детей. Он редко наказывал их, не ставил в угол, не бранил, не упрекал, не бил, не драл за уши. Дети

боялись только одного — заслужить отцовскую немилость. Тогда он мог не взять их с собой на прогулку, мог поиронизировать над их недостатками, высмеять их. Только во время уроков он мог позволить себе повысить голос, не употребив при этом грубых слов, мог выгнать с урока. Самое большое его недовольство вызывало грубое, непочтительное отношение детей к матери, прислуге или гувернеру.

Дети, разбившие посуду, запачкавшие одежду, забывшие что-нибудь, порвавшие платье и оправдывавшиеся за содеянное перед отцом, объясняя, что сделали это нечаянно, слышали в ответ: «Надо стараться ничего нечаянно не делать. Надо все делать хорошо». Как-то пятилетний Илья получил от родителей рождественский подарок, о котором давно мечтал, — фарфоровую чашку с блюдцем. Радостям малыша не было предела. Он хотел всем показать свое приобретение, которого ни у кого больше не было — ни у Сережи, ни у Тани, ни у Лёли. Но, перебегая из залы в гостиную, ребенок зацепился ногой за порог, упал и разбил чашку. Он стал кричать, громко плакать и ругать архитектора, придумавшего порог у двери. Отец, услышав детский крик, стал шутливо приговаривать: «Архитектор виноват, архитектор виноват». Пятилетний малыш на всю жизнь запомнил насмешливое отцовское изречение, когда кто-то сваливает свою вину на другого.

Лёвочка очень любил детей. Еще до женитьбы упрашивал беременную сестру «рожать поскорее», чтобы не так было скучно будущему дядюшке. Поэтому игры со своими малыми детьми, как и воспитание уже повзрослевших, занимали у него свое достойное место после писательства. Дети запомнили отца веселым, дававшим им забавные прозвища. Таню он называл «Чуркой», чем приводил ее в полный восторг, как, впрочем, и своей игрой. Внезапно он делал испуганное лицо, быстро озираясь по сторонам, хватал кого-нибудь из детей за руку, вскакивал на цыпочки и бежал, высоко поднимая ноги, чтобы спрятаться в угол, подхватывая на бегу еще кого-нибудь из малышей, подвернувшихся под руку. «Идет!» — шепотом говорил он. Дети, оказавшиеся не под отцовским «крылом», судорожно цеплялись кто за его блузу, кто за руки. Перепуганные малыши забивались в угол в надежде, что «он» прошел. Отец, сидевший на корточках, таинственным взглядом провожал «его», а дети, прильнув к отцу, тряслись от страха, что загадочный «он» их увидит. Игра завершалась на победном возгласе папа: «Ушел!» Тогда все свободно вздыхали и начинали с воодушевлением обмениваться впечатлениями.

Также дети были в восторге от мини — спектакля отца, посвященного семи огурцам, ловко «проглатываемым» рассказчиком. Они, словно

зачарованные, следили за отцовским ртом, открывавшимся почти до невероятных размеров для того, чтобы вместить туда последний седьмой огурец.

В свободное от писательства время Лёвочка сочинял для Сережи, Тани, Илюши и Лёли что-то вроде этого немудреного рассказа: «Был один мальчик, его звали Ваня. У него была мать, и отец, и маленькая сестра. Один раз Ваня вышел на двор и слышит, что в саду что-то пищит. Ваня вышел в сад посмотреть и видит — в канаве лежат три маленьких щенка. Два белых и один белый с черными пятнами. Белые щенки уже были мертвые, а пестрый еще был жив. Он пищал. Ваня взял этого щенка и понес домой. А у Вани был отец. Отец увидел щенка и говорит: «Зачем ты принес щенка?» А Ваня говорит отцу: «Позволь мне, пожалуйста, этого щенка держать в доме. Мне его жалко. Его братья умерли, и он умрет, если его бросить. Я его буду кормить». И отец сказал: «Ну, хорошо». Ваня стал щенка кормить и назвал его Буян. Щенок скоро вырос и стал большая собака, сильная и добрая.

Один раз все пошли спать, а Буян был на дворе. А воры пришли во двор и хотели украсть лошадей. Никто не видал воров, и они вошли в конюшню. Вдруг Буян залаял страшным голосом и бросился в конюшню. В доме все проснулось, воры испугались и убежали.

Отец позвал Ваню и говорит ему: «Я рад, что ты взял Буяна. Без него лошади бы наши пропали. Я теперь позволю ему жить дома».

И Ваня был очень рад.

Потом пошли один раз все в лес и взяли с собой маленькую сестрицу Ванину и положили ее в лесу спать. Вдруг пришел волк и хотел схватить девочку из люльки. А Буян услышал, что идет волк, и спрятался за куст. Он не испугался, он хотел волка поймать. Волк думал, что его никто не видит. Вдруг Буян выскочил из куста и стал грызть волка. Все прибежали и избили волка. А волк укусил Буяна. Отец посмотрел и говорит: «Он укушен». И Ваня стал плакать. Отец позвал Ваню и говорит: «Я прежде любил Буяна за то, что он воров прогнал, а теперь еще больше люблю: волк бы заел нашу девочку, если бы Буян его не загрыз». И все стали Буяна ласкать. И Ваня очень был рад.

Потом пришла зима, и поехали все на санях в город. Вдруг пошел снег, сделался ветер и мороз, и они все заблудились и не знали, что им делать. Стало темно, и они искали дорогу и не могли отыскать. Отец говорит: «Мы все замерзнем. Надо Богу молиться». Ваня стал плакать. А Буян пришел к Ване и стал ему руки лизать. «Буян, надо нам дорогу, а то мы пропадем». Буян замахал хвостом и побежал вперед по снегу. Они поехали за ним и

ехали — ехали, и Буян нашел дорогу и прямо привел их в город. И отец позвал Ваню и говорит: «Если бы Буян нам не показал дорогу, мы бы пропали. Вот твой Буян какая добрая, хорошая собака». И Ваня был очень рад. «Теперь мы его будем кормить самым лучшим и класть Буяна спать...»».

Этот поэтичный рассказ дети не раз слышали из уст папа. Много из того, что Толстой написал для «Азбуки» и впоследствии опубликовал, сначала было опробовано в семье, на собственных детях, и только после этого в школе.

Заклеймив старые, негодные учебники, Лёвочка предложил свой, составленный по американскому образцу. Как показалось Соне, муж очень много полезного извлек из беседы с американским консулом Скайлером, побывавшим осенью 1868 года у них в гостях в Ясной Поляне. Он много и подробно рассказывал Лёвочке о начальных и элементарных формах обучения чтению, что было использовано в «Азбуке», по которой, как полагал сам автор, могли бы обучаться все дети — «от царских до мужицких». Он одновременно жил «в десяти лицах», изучал мировую литературу и естественные науки, чтобы «красиво, коротко, просто и ясно», как в рассказе «Буян», передать суть явления. Этой работы, как он не раз говорил Соне, хватило бы «на сто лет», и только после издания «Азбуки» он бы «мог спокойно умереть».

Соня хотела только одного, чтобы муж не забыл своего семейного долга. Кажется, в «Азбуке» соединилось семейное с «всехним» в единое целое. Он прежде все отрепетировал на Сереже, Тане и Илюше: читал им что-нибудь из своей «Азбуки» и просил их пересказать услышанное. После этого упражнялся с ними в арифметических подсчетах. Таблицу умножения заучивал наизусть, но только до пяти, а при счете от шести до девяти рекомендовал прибегать к использованию пальцев рук. папа показывал детям, как это следует делать: из каждого множителя вычитал число «пять», остаток же откладывал с помощью загнутых пальцев обеих рук. Также он прибегал к помощи загадок, рассчитанных на сообразительность. Особенно Лёвочка любил загадывать загадку о гусях. В летящей стае гусей один из гусей насчитал сто. Вожак сказал, что их не сто, но могло бы быть сто, если бы их было столько, да еще столько, да еще полстолько, да еще четверть столько, да ты с нами.

Порой отец был гневлив с детьми, особенно с Сережей. Дети быстро ухватили преподавательскую манеру родителей. Так, с мамой можно было быть более раскованными, глядеть в окно, задавать один и тот же вопрос, делать «стеклянные глаза», как будто что-то не понимаешь. С папой,

напротив, «надо было напрягать все свои силы и не развлекаться ни минутки». Он обучал доходчиво, ясно и интересно, но шел «крупной рысью». Поэтому за ним надо было поспевать во что бы то ни стало. Мог выгнать с урока расшалившегося ребенка. Любимцы у него были непостоянны. У мама, напротив, все были любимцами и навсегда.

Соня стремилась привить своим детям любовь к чтению. Отбором книг занимался Лёвочка, убежденный в том, что спешка с чтением классиков не уместна и даже опасна. Поэтому с произведениями Лермонтова и Гоголя дети знакомились довольно поздно. Настольными книгами в Ясной Поляне оставались «Робинзон Крузо» Дефо, «Дон Кихот» Сервантеса, «Путешествие Гулливера» Свифта, «Отверженные» Гюго, а также книги Диккенса, Жюль Верна, Дюма — отца, Пушкина, Тургенева. Из своих сочинений папа рекомендовал только «Азбуку» и «Книги для чтения». Соня же внесла в программу свои коррективы, включив в нее трилогию отца «Детство», «Отрочество», «Юность». Она всячески поддерживала бытовавшую традицию чтения вслух. Вечерами семейство собиралось в зале, где Лёвочка вдохновенно читал «божественного Пушкина». С особенным успехом им был не только прочитан, но и проиллюстрирован Жюль Верн. Дети гурьбой окружали отца, когда он, прервав чтение, показывал им свой очередной рисунок, погружавший в таинственный мир приключений великого фантаста.

Вместе с мужем Соня увлеченно занималась детскими книжками, переписывала рукописи. Работа над «Азбукой» двигалась неплохо, но еще предстояла тщательная обработка переводов, Лёвочкиных рассказов, а также былин и летописей. Она была согласна с мужем в необходимости открытия школы, но на этот раз не во флигеле, а у себя дома, куда будут приходить более тридцати учеников, поделенных между ними. Очень трудно учить «человек десять вместе». Зато «весело и приятно». Соня взяла восемь девочек и двух мальчиков. Учили их внизу, в огромной передней, а также в небольшой столовой под лестницей. Она подключала к этому процессу своих старших детей, которые помогали обучать деревенских ребятишек. Сережа с Таней охотно взялись учительствовать, обучали буквам, помогали на слух складывать слова. Благодарные ученики приносили учителям разные подарки, среди которых были всякие деревенские штучки, какие-то замысловатые деревяшки или испеченные из черного теста жаворонки. После уроков «таскали» свою семилетнюю учительницу Таню на руках. Несмотря на всевозможные детские шалости, деревенские ребята быстро научились читать по слогам.

«Азбука» забирала у мужа много сил. К тому же ее печатание шло

«черепашьими шагами», и Лёвочке приходилось «до одурения» заниматься «окончанием арифметики». После завершения умножения и деления он перешел наконец к дробям. Огромная работа, конечно, не была филантропической. Лёвочка не скрывал, что преследовал «материальные цели», надеясь на хороший доход, в котором нуждалась его семья. Тем не менее «огромных денег не ждал», потому что был уверен: чтобы «выручить свои деньги по 400 руб. за лист», надо «не отвечать на редакторские письма и прятать бумажник и серебряные ложки в присутствии редакторов», никогда «не иметь дела с журналами».

Соня была полностью согласна с мужем, имевшим прагматичный взгляд на издателей и редакторов, готовых «драть» как можно больше дивидендов со своих авторов. Между тем семья увеличивалась, дети подрастали и нуждались в качественном воспитании и образовании. Соня давно поняла, что труд гувернеров весьма недешев, «стоит от 500 до 1 000 каждому». Ведь она и Лёвочка намеревались приглашать воспитателей для своих детей не из каких-нибудь бывших отставников, как правило, склонных к употреблению горячительных напитков, к битью своих питомцев линейкой порукам или к тасканию их за волосы, а людей сугубо почтенных и достойнейших. Мама рассказала ей, что вся Москва наводнена страшными слухами о грубом и даже жестоком обращении гувернеров со своими подопечными, а потому просила Соню быть чрезвычайно осторожной в выборе бонн для детей.

Соня очень серьезно относилась к поиску гувернеров. Она, как и ее муж, была убеждена в том, что наставниками их детей могут быть исключительно «совестливые» люди, с прекрасным характером, сердечные и простые в общении и при этом непременно безукоризненно владевшие французским языком, без акцента на нем говорившие. Не менее важным являлось также еще одно условие: гувернантка Толстых должна быть обязательно англичанкой приятной наружности и с отменным здоровьем. Иначе она не могла стать достойным членом семейства. К подбору гувернеров и бонн Лёвочка подключил Александрин Толстую, которая самым активным образом занялась разыскиванием подходящей кандидатуры. Целое утро фрейлина посвящала знакомству то с одной молодой особой, испытывая ее «с напряженной чуткостью», потом переключалась на другую, устраивая ей экзамен на знание немецкого или французского языка. Ее интересовало все, включая способность «конкурсанток» к адаптации в российской действительности. Учитывались ею также отзывы прежних работодателей. Однако Соню не устроила молодость предложенной Александрин Толстой англичанки. В ней еще

были свежи воспоминания о «нигилистке», жене бывшего управляющего Ясной Поляны, которая была молода и хороша собой и к которой она ревновала Лёвочку. Фрейлина Толстая была огорчена, узнав, что ее кандидатка отвергнута. «Жаль, что вы отвергли англичанку, — писала она в своем послании, — ее не нахвалят люди, у которых она жила».

Наконец 12 ноября 1866 года в доме Толстых появилась первая гувернантка Ханна Терсей, с которой, правда, поначалу Соне пришлось «невесело и неловко» из-за их «обоюдного незнания языков». Она даже «неприязненно» смотрела на Ханну. Тем не менее простота и сердечность, свойственная английской гувернантке, полюбились всем домочадцам, особенно Тане, привязавшейся к Ханне всей душой. С помощью словаря, а также знания французского и немецкого языков Соня стала понимать ее. Ханна усердно учила Сережу, Таню, Илюшу английскому языку, а когда кто-то из детей заболел, она заботливо ухаживала за ними, не позволяла вставать с постели, сдирала отшелушивавшиеся после скарлатины болячки, делала подарки. Однажды она подарила Сереже золотой английский соверен, фунт стерлингов, а Лёвочка замуровал его в угол фундамента пристройки к дому. Сделал он это тайно от строителей, во время их обеда, не забыв возместить сыну стоимость фунта российскими рублями. Ханна все делала от сердца, а потому занятия с детьми проходили душевно и непринужденно.

Кроме упоминавшихся уже немца — гувернера Федора Кауфмана, прибывшего в Ясную Поляну по рекомендации Афанасия Фета, католика из Фрибургского кантона, гувернера с «деланой улыбкой» m. Jules Rey, знавшего французский, немецкий, латинский и греческий языки, m. Nief, который на самом деле был чуть ли не виконтом Jules Montels, веселым, добрым, хотя и не особенно образованным, были еще добрейшая мисс Эмили Табор, т-те Гаше, Анни Филлипс... С каждым годом педагогов становилось все больше.

Гувернантка m-lle Gachet у Тани, у мальчиков m. Nief, у Лёли — няня. А еще должны быть учителя, для которых необходимо подготовить флигель. В общем, в центре Сониной жизни тех лет царил культ образования. А Лёвочка еще успевал в это время целыми днями чистить лопатой сад, выдергивать крапиву и репейник, разбивать клумбы, сажать березы с мыслью о том, что когда-нибудь это станет лучшим приданым для его дочерей.

Глава XIV. «Родильная машина»

К началу 1870-х годов перед Соней остро встал вопрос воспитания детей, сопряженный с дополнительными заботами и хлопотами. В общем, назревала пора очередной проверки на ее прочность. Муж постоянно размышлял о нирване, убеждая себя, что уход в нее гораздо интереснее и важнее для него, чем текущая жизнь. Он пребывал в состоянии интеллектуального бездействия, стыдился этой вынужденной праздности, мучился угрызениями совести. Применение себе находил покалишь в обучении детей, собственных и крестьянских. Лёвочка с воодушевлением читал Сереже, Тане и Илюше сочиненные им рассказы, а они их пересказывали, после чего он вносил поправки в уже написанное. В таком совместном творчестве рождались книжки для «всехнего» детского чтения. В общем, в доме воцарилась атмосфера ученичества, подтолкнувшая мужа взяться за изучение древнегреческого языка, мысленно «поселиться» в Афинах. Соне казалось, что он начал им заниматься нечаянно, «вдруг», словно Бог наслал на него «эту дурь». Но вскоре она убедилась, что именно занятия с Сережей подтолкнули Лёвочку к изучению классического греческого языка. Он стал активно готовить старшего сына к экзаменам для поступления в гимназию, пригласив с этой целью семинариста из Тулы в качестве учителя для Сергея, и сам стал усердно учиться. Продолжительных занятий Лёвочке не потребовалось, потому что уже вскоре он приступил к чтению Ксенофонта. Чтобы насладиться Гомером, ему понадобились лексиконы и побольше напряжения. Он все больше и больше приходил в восторг от Гомера, а попутно разочаровывался в собственной многословной «дребедени», подобной «Войне и миру». Теперь Лёвочка «жил» в Древней Греции, в Афинах, по ночам разговаривая по — древнегречески. В то время, кроме «Одиссеи» и «Илиады», прочитанных им в подлиннике, для него больше ничего не существовало. Он ругал всех переводчиков Гомера. Особенно доставалось Фоссу и Жуковскому за их «медово — паточный» перевод.

Соня была потрясена столь быстрыми успехами мужа, но еще больше — Лёвочкиным страхом, связанным с убеждением в том, что он сам так не напишет, что способен он только на «лишнее пустословие». Она, конечно, не соглашалась с подобными скептическими заявлениями, восхищаясь феноменальными способностями мужа, напоминая ему, что вся Москва только и говорит о том, как граф Толстой за три месяца выучил греческий

язык. Особенно Соня расстраивалась из-за того, что ей не доставало мужниной писательской работы, приносящей столько радости. Будучи «настоящей писательской женой», она очень близко к сердцу принимала их общее «авторское дело».

Летом 1870 года Соне пришлось «отнять Лёвушку» от груди. Она очень сильно переживала разрыв с каждым из детей, вызванный очередной ее беременностью. Так произошло и на этот раз, она знала, что новая беременность — это новый отказ от жизни не только для себя, но и для рожденных и подрастающих детей. Сколько же можно жертвовать?

12 февраля 1871 года Соня родила недоношенную, болезненную, белокурую Машу, о которой чуть позже Лёвочка напишет своему другу Александру Толстой: «Слабый, болезненный ребенок: как молоко белое тело, курчавые белые волосики, большие странные голубые глаза, — странные по глубокому, серьезному выражению. Очень умна и некрасива. Это будет одна из загадок. Будет страдать, будет искать самое недоступное». Соне было не до этих проницательных характеристик мужа. Эта беременность стала особенной для нее, в чем-то даже фатальной. Она заболела родильной горячкой, ей обрили налысо голову, а к новорожденной приставили кормилицу. Именно тогда на яснополянском небе появились первые предгрозовые тучи. Муж стал мрачен. Между ним и Соне «что-то пробежало», какая-то странная тень разъединила их, в них обоих что-то надломилось, указывая на неминуемый конец счастливой супружеской жизни.

Врачи не советовали Соне больше беременеть. Лёвочка был в ужасе от подобных заявлений, не желал мириться с этим и стал даже подумывать о разводе. Эта история целиком перевернула его представления о семейной жизни. Он стал готовиться к поездке в Оптину пустынь, хотел увидеться со старцем Амвросием, попросить его совета, чтобы разрешить собственные сомнения. Но поездка не состоялась, потому что семейные отношения наладились сами собой.

Вместо Оптиной пустыни Лёвочка поехал поправлять здоровье в самарские степи, «пахнувшие Геродотом», лечился там кумысом, присматривал для покупки плодородные земли и скупал их по 20 тысяч рублей. Так Толстые обзавелись 2500 десятинами земли, купленными у Н. П. Тучкова неподалеку от Каралыка. Сделка оказалась очень выгодной и удачной. Теперь в самарских степях Соня каждое лето могла отдыхать с детьми, а муж, возродившийся после этой поездки, принялся преобразовывать яснополянский дом, который становился все более тесным для их большой семьи, постоянно пополнявшейся детьми. С южной

стороны особняка вскоре появилась двухэтажная пристройка с двусветным залом на втором этаже, кабинетом и передней на первом. Дом украсила деревянная терраса. После этой реконструкции Соня вздохнула с облегчением, теперь она могла жить как «настоящая».

Итак, переболев, супруги, казалось, снова зажили «душа в душу». Но надолго ли? Слишком высокую цену заплатила Соня за свой компромисс с мужем. Так, с Божьей помощью, справившись с родильной горячкой, она снова забеременела.

13 июня 1872 года у нее родился «Петюшка», как она его ласково называла, необыкновенно веселый, светлый, пухленький карапуз, похожий на вкусный румяный колобок, ставший для матери огромной радостью. Соня наслаждалась бойким топотом его маленьких, но таких быстрых ножек, его задорным кликаньем, нежным голоском. Ей казалось, что никто из ее детей не был так привязан к ней, как этот славный малыш. Ни Сережа, ни Лёля, ни Илюша, ни даже Таня, никто не мог сравниться с Петей, излучавшим доброту и искренность. В самые грустные минуты, устав от обучения детей, Соня спешила к своему любимцу, брала его на руки и грусть покидала ее сама собой. Она кормила сына грудью больше года. Она слишком любила своего «Петюшку».

Но счастье было не долгим. Утром 9 ноября 1873 года его не стало. Полуторагодовалый мальчуган покинул свою любящую мать. Теперь было некому радовать Соню. Ребенка подвело горло, оно «задушило» его. Как говорили врачи, Петя умер от крупа, угас всего за два дня. Его не стало во сне. Это была первая смерть, с которой Соня столкнулась за время своей одиннадцатилетней супружеской жизни. Она почувствовала вокруг себя пустоту, стала ко всему равнодушна. Просыпаясь утром, не хотела вставать. Знала, что сейчас появится няня со своими жалобами, потом повар с меню, потом надо будет учить детей грамматике и гаммам. Постыдная скука и банальная предсказуемость всего и вся. Соня пробовала бороться с этим, читала хорошие книги, которых, к сожалению, оказалось не так много. Теперь она жила словно во сне. В этом сне она ходила ко всенощной, молилась, осматривала картины в галерее, видела чудесные цветы. Там, а не наяву. В реальной жизни Соня ждала, когда, наконец, зазеленеет трава на Петиной могиле. Ей хотелось быть с ним рядом. Мрачные предчувствия ни на минуту не оставляли ее. Казалось, из ее жизни навсегда исчезла радость.

Муж старался ее утешать, говорил, что если выбирать кого-то одного из них восьмерых, то смерть этого малыша — самая легкая утрата из всех. Но ее материнское сердце, которое есть самое высшее проявление всего божественного на земле, не желало мириться с утратой. Соня по —

прежнему горевала, и Лёвочка уговаривал ее прочесть, выучить наизусть и каждый день произносить 130-й псалом Библии. Теперь ежедневно она читала его, «доплакиваясь», таким образом, до конца, не ожидая от будущего ничего хорошего, жила в это время одинокой, скучной, уединенной жизнью «по — монастырски».

Тем не менее повседневные заботы брали свое, невольно в чем-то помогая Соне избавиться от «малодушной скуки», навалившейся на нее всей своей тяжестью. Она по —прежнему исправно исполняла все свои материнские и хозяйственные обязанности, понимая, что только делами можно спастись от горя.

А Лёвочка снова «примеривался» к художественной работе из времен Петра Великого, засел в кабинете, «обложенный» кучей книг, портретов, картин, читал, нахмурившись при этом, что-то выписывал, что-то отмечал, в общем, все делал основательно, кропотливо, то есть «ужасно трудился». А вечерами, когда дети спали, он рассказывал Соне о своих планах, читал ей выдержки из книги Адама Олеария «Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах», где говорилось о русских обычаях времен Алексея Михайловича. Порой Лёвочка отчаивался, говорил жене, что у него ничего не выйдет. Тем временем редакции засыпали его лестными предложениями гонорара по 500 рублей за лист, а он не отвечал на их письма, словно это его не касалось. Да и сама Соня тоже на все махнула рукой, решив, бог с ними, с деньгами. Ведь она видела, с каким напряжением муж работал, как исписывал до десяти вариантов только одного начала романа и как был всем этим недоволен. В такие моменты он обреченно произносил: «Машина вся готова, теперь ее нужно привести в действие». Но сам он не знал, как это сделать, и «машина» по —прежнему так и не заводилась, вдохновения все не было, и работа не двигалась с места. И тогда уже Лёвочка утешал Соню, а заодно и себя: мол, не надо огорчаться, если вдруг роман не получится, ведь, наконец, им «есть чем жить — разумеется, не в смысле денег». Вскоре он бросил роман, и, как показалось Соне, из-за того, что не сумел схватить духа ушедшей эпохи. Не случайно в это время он был «день здоров, а три нет».

22 апреля 1874 года семья снова пополнилась ребенком, теперь уже «Николушкой», которого Соня любила двойной любовью — за умершего Петю и за самого новорожденного. С каким старанием и с какой потрясающей заботой она выхаживала своего младенца, как «наряжала» его, как любовалась им! Соня пеклась о нем больше, чем о других своих детях. Относилась к нему особо и «добросовестно», но почему-то не

верила, что ее счастье с ним продлится долго. Она постоянно думала, что малыш жить не будет, что он не «настоящий». И оказалась «пророком»: в феврале 1875 года Коли не стало.

После родильной горячки, из-за которой Соню остригли, она была вынуждена на протяжении долгого времени носить чепец и ежедневно принимать ванны с отрубями, прописанные ее лечащим доктором Кнерцером. Но серьезно лечиться ей было некогда. Каждый день проходил в привычной суете: то кашляла Маша, то ныл Лёвушка, то Сережа падал с лестницы и расшибал себе нос. К тому же в это время были больны няня и гувернантка Ханна. Словно заколдованная, Соня двигалась по одному и тому же кругу: в девять часов вставала, пила со всеми чай, потом что-то читала с детьми, затем что-то кроила и шила, отдавала распоряжения прислуге, а по вечерам читала романы, например **Henry Wood**, которые ей особенно нравились. Порой философствовала с мужем, а он в ответ на ее «пустую болтовню» говорил: «Ты бы лучше с самоваром говорила». Она его прощала, потому что видела утешение только в нем.

Ее сердце не находило себе места, когда Лёвочка заболел и отправлялся лечиться в «скифские» степи. Соня отпускала его, но с одним условием: он должен был обязательно носить на груди образок Божьей Матери в маленькой серебряной ризе. Этот образок всегда висел у изголовья ее кровати, на которой в отсутствие мужа спала ее мама, приезжавшая из Москвы, чтобы помогать дочери управляться с детьми. Ведь хозяйственные дела совсем задавили бедную Соню.

Тем не менее она находила в них свою прелесть! Любила вместе с экономкой Трифоновной варить варенья из клубники и земляники, которую она собирала с детьми. Устраивала для них пикник в Засеке, захватив с собой свежесваренное варенье, самовар, яйца и баранину. Регулярно ездила с ними к обедне, чтобы причаститься.

За заботами время летело быстро. Еще совсем недавно Лёля звал Соню не мама, а «бабика», Петя считался «великаном». Лёвочка называл его «огромным прелестным беби, в чепце, который вывертывает локти и куда-то стремится». Родители восхищались его «физическим запасом», на деле оказавшимся, увы, эфемерным. Теперь Соне казалось, что она рожала детей для того, чтобы они умирали. Получалась какая-то немыслимая бессмыслица. Вот и необыкновенно красивый, милый, черноглазый, веселый, кудрявый, здоровый «Николушка» внезапно скончался. Воспоминания снова и снова заставляли Соню пережить боль утраты. Она страдала бессонницей, засыпала в пять утра, а вставала в двенадцать дня. Она могла не спать по четыре ночи подряд. Душевную боль пыталась

восполнить особо бережным отношением к подрастающим детям и не переставала мечтать о рождении новых. «Грустно терять детей», — повторял Лёвочка и при этом с надеждой смотрел на Соню, здоровье которой постепенно шло на поправку. Вскоре выяснилось, что она снова беременна. Эта беременность оказалась на редкость тяжелой для нее. А тут еще все дети заболели коклюшем.

Лёвочка же тем временем жил другими заботами. Его больше волновала «возня» с романом «Анна Каренина», который он никак не мог «спихнуть» с рук. Также его волновали банки, которые «лопались», и деньги, которые требовалось куда-то перезаложить, финансовые расчеты с братом Сергеем, неурожай в Самаре. 30 октября 1875 года Соня родила шестимесячную дочку Варвару, не прожившую и дня. Роженица тоже находилась при смерти. Врач — терапевт В. В. Чирков поставил неутешительный диагноз: «воспаление в брюшине». Это состояние супругов Лев Николаевич впоследствии определит так: «страх, ужас, смерть, веселье детей, еда, доктора, фальшь, смерть, ужас». Действительно, дом в это время был переполнен гувернерами и гувернантками, то есть чужими, посторонними людьми, равнодушно воспринимавшими происходящее вокруг.

После воспаления в животе Соня долго не могла оправиться, лежала в постели, слушая стоны тетушки Пелагеи Ильиничны Юшковой, которая мучилась болями то в ногах, то в груди. Соню охранял образок ***Madonna della Sedia***, висевший у ее изголовья. Шестнадцать дней она почти не притрагивалась к еде. Когда она болела, муж, «как всегда так бывало, чувствовал себя совсем здоровым», а после ее выздоровления готов был снова умирать из-за жуткого шума в ушах. В это время он постоянно думал о смерти и мысленно перебирал людей, для которых его кончина могла бы оказаться тяжелой утратой. Лёвочка насчитал всего лишь двух таких людей — жену и брата Сергея. Он был измучен вечными страхами за близких, чувством вины перед братом за свои долги, которые ему было нечем вернуть, кроме как лесом, за счет которого они тогда жили и кормились.

Постепенно Соня приходила в себя. Ей помогли сборы семьи в самарское поместье. Именно они заставили ее подняться с постели. В таких случаях Лёвочка говорил, что «нет лучшего спасения от горя, как забота». Первобытные самарские степи, несмотря на засуху, действовали оздоравливающе на все семейство Толстых.

Глава XV. Зазеркалье

Когда бывало тягостно на душе, Соня непременно бралась за дневник. После смерти ее малышей ей стало невыносимо плохо. В таком состоянии ей не мог помочь даже дневник, требовалось что-то иное, например, погружение в Лёвочкино романное зазеркалье.

Ей нравилось рассматривать себя в старинных венецианских зеркалах яснополянского дома. Но еще больше она любила себя разглядывать, находясь в царстве Лёвочкиных зеркал, в которых видела себя словно со стороны, отражаясь в его отражениях, где была более «всамделишной», потому что второе зеркало, искусство, всегда точнее первого, реальности. Сониная жизнь в момент переписывания романов протекала сразу в двух измерениях — в практическом, среди близких, и в художественном, среди воображаемых людей. Случалось, что одна вытесняла другую. Сейчас для нее наступала пора господства «второй реальности», становившейся все более привычной, ежедневно проживаемой.

Первая реальность теперь уходила на второй план. Погружение в Лёвочкину работу над «Анной Карениной» позволяло Соне оторваться от тяжелой, «невеселой» жизни, а заодно забыть и азбучные фразы — «Маша ела кашу» из скучнейшей мужниной «Азбуки», которую, так решила Соня, «пусть писарь переписывает». Яснополянская повседневная жизнь стала слишком гнетущей для нее, «не по силам», никак не хотела налаживаться, возможно, потому, что денег не хватало или из-за того, что надоели монотонные занятия, вроде шитья панталончиков, платиц, костюмчиков. Даже подаренный мужем в качестве награды за работу золотой наперсток не радовал. К тому же наперсток чуть было не украли гувернантка. Теперь тихая деревенская жизнь утомляла Соню своей монотонностью — чтение по — французски с Таней, игра на фортепиано с Илюшей, кройка лифчиков Лёле и воротничков Маше. Но главное заключалось, конечно, в том, что детская на первом этаже опустела, и Соня постоянно думала о том, кто же теперь из ее детей будет следующим в скорбном списке потерь. После смерти своих малышей она не находила покоя, потому что не могла философствовать, как муж, для которого детские смерти были сравнимы с «потерей мизинца» и воспринимались им с точки зрения собственного приближения к смерти. Так, хороня малыша Петюшку, Лёвочка впервые задумался о том, где будет похоронен он сам. А Соня, напротив, глядя на Таню, Лёлю и особенно Сережу, думала только об одном: кто из них может

оказаться следующим? Теперь ей казалось, что смерть поселилась в ее доме и может поразить самого доброго и самого умного ее ребенка, например Сережу, который был для нее милее всех. Но рок нашел следующую «жертву» — девятимесячного малыша «Николушку», который умирал целый месяц, окончательно измучив свою любящую мать. Она снова переживала, уже в который раз, видя, как он бессмысленно хватался то за ложку, то за ее грудь, словно раненый зверек, а потом окоченел. Мальчик умер при Лёвочке, который сказал, как отрезал: «Такие дети, как Николушка, полные огня, не живут на свете». Она никак не могла забыть похороны ребенка, сопровождавшиеся зловещей вьюгой, срывавшей с ребенка венчик и кисею. А в их доме в это время полыхал пожар. Кто-то забыл потушить горящую свечу перед образом, которая упала на нянину постель, после чего огонь перебрался на подушки, одеяло, спинку дивана. К счастью, с пламенем удалось справиться, но смерть не покинула их дом. Вскоре скончалась 80-летняя тетка Пелагея Ильинична Юшкова. Ее болезнь тянула Соню за душу, и она постоянно думала: «Когда это только кончится, и когда можно будет сорвать занавески с зеркал?!» Со смертью тетушек Т. А. Ергольской и П. И. Юшковой, как говорил Лёвочка, ушли последние воспоминания о его отце и матери.

Теперь Соня знала, что Бог давал ей гораздо больше, чем она у него просила. После тяжелых утрат он наслал на нее художественную «дурь», и она снова стала «настоящей писательской женой», смело разглядывавшей себя в мужнином зазеркалье. Переписывая «Анну», Соня опять почувствовала эту властную силу. Она сдернула занавески с яснополянских зеркал, чтобы вновь войти в параллельный мир, сотворенный гением по собственным законам, благодаря которым все оживало. Для смерти здесь не было места.

В семейной жизни была наконец снова достигнута гармония. Теперь Лёвочка мог заняться людьми воображаемыми, потому что его Соня была с ним рядом и душой и телом. Она расшевелила в нем писательские дрожжи, одарила своей горячей любовью. Только находясь с ней рядом, со своей Кити, он, как и Левин, был особенно силен, справляясь со всеми страхами. «Какое счастье быть дома, какое счастье дети, как я ими наслаждаюсь», — думал в это время Лев Николаевич, делясь размышлениями со своим *alter ego*, то есть с Левиным.

А Соня, переписывая роман, словно пролистывала собственную прожитую ею книгу жизни, в которой много нового узнавала о себе и о Лёвочке. Она припомнила, как эта история с романом только начиналась. В ту пору была еще жива тетенька Ергольская, которую с детской,

трогательной теплотой и нежностью опекал Сережа. Как-то он попросил мама дать ему что-нибудь почитать вслух тетеньке, и она дала ему «Повести Белкина» «божественного» Пушкина, как называл своего любимца ее муж. Во время чтения Татьяна Александровна заснула, и сын оставил книжку лежащей на подоконнике в гостиной. Соня увидела ее, но поленилась отнести в библиотечную комнату. На следующий день Лёвочка во время кофе совершенно случайно заметил «Повести Белкина», почти механически пролистал их, но не закрыл — никак не мог оторваться, читал, попутно восклицая, что Пушкин — его отец — учитель. Пушкинская фраза «Гости съезжались на дачу» помогла ему написать начало романа о неверной жене и той драме, которая завертелась вокруг этого. После чтения Пушкина муж стал уверенно «пачкать чернилами руки».

Был март 1873 года. Соня знала, что весна, особенно ее начало, — самое рабочее и плодотворное время для Лёвочки, когда он просыпался духовно и вдохновенно занимался «поэзией» творчества. Этот дух, пробуждавшийся в муже, она очень ценила и всячески поддерживала Лёвочку в этот период, чтобы он продолжал «весело шалить», прибавляя день за днем по целой главе. После долгого «молчания» писательство пошло, и притом довольно успешно. Роман вчерне был написан за месяц, и Соня была очень довольна, потому что догадывалась, откуда он черпал свое вдохновение. Конечно, из семейной гармонии, которой он так дорожил. Он подпитывался мыслями семейными, и оттого ему не нужно было вызывать иных «духов», как он не раз делал, работая над романом о времени Петра Великого.

Переписывая страницы «Анны Карениной», Соня пребывала в зазеркалье, узнавая себя в быстрых легких шагах Кити, в шорохе ее платья, в ясных, правдивых, испуганных радостью любви глазах. Соня снова погрузилась в воспоминания о «стальных августовских ночах», наполненных предвосхищением счастья, поцелуями, новым, неизведанным до этого чувством любви к взрослому Leon'у. — Она читала признания Левина, что до Кити он был «не так чист, как она» и еще, что «он неверующий». Вспоминала, как Лёвочка просил ее, чтобы она любила его, каким бы он ни был, не отказалась бы от него. А потом передал ей свой дневник, в котором было то, что впоследствии так мучило Соню, отравило ей медовый месяц. Так она узнала о всех тайнах мужа, о которых лучше было бы не знать. Сонины страдания, вызванные прочтением Лёвочкиного дневника, объяснили мужу, как и Левину, какая пучина отделяла их от «голубиной чистоты» Сони — Кити. В общем, Соня поняла, что она та самая Кити, которую Лёвочка «перетолок» с Долли.

Со временем нежные краски девичества Сони и Кити немного потускнели, полиняли, как это часто случается с красочной яркостью любимого цветка. Успокаивало только то, что не меркла ее власть над мужчиной любовью. Образ Наташи — матери, появившийся в эпилоге «Войны и мира», потребовал своего дальнейшего развития и продолжения. Соня теперь осознала, что была просто обречена на новую роль, уже не Наташи, а Долли и Кити, в которых смешивались дневная душа и ночная.

Читая о Долли, Соня еще больше стала осознавать, что замужняя жизнь требует совсем иного отношения к одежде, которую носят не для себя, не для того, чтобы подчеркнуть свою красоту, а для того, чтобы не испортить впечатления в обществе во время пребывания со своими прелестными детьми. Она, как и Долли, испытывала это чувство в церкви на причащении своих детей. Восхищение прихожан было вызвано детской красотой, которую еще более подчеркивали их нарядные платьица и костюмчики, а также умение держать себя. Правда, сын Алеша постоянно вертелся, был очень беспокоен из-за того, что ему очень хотелось получше рассмотреть свою новенькую курточку, особенно увидеть ее сзади. А дочка Таня стояла словно взрослая, зорко присматривая за своими маленькими братьями. Переписывая Лёвочкины листы, наполненные узнаваемым очарованием собственных детей, особенно Лёли, волшебным образом ставшим Лили, Соня приходила в восторг. Малютка Лили попросил после причащения: *«Please, some more»* («Пожалуйста, еще немножко». — **Н. Н.**).

Особенно Соне понравился домашний завтрак у Долли, во время которого Гриша свистел и совсем не слушал англичанку, за что был наказан и остался без сладкого пирога. Она сразу припомнила подобное баловство собственного сына, за которое он был наказан, и как Таня нашла способ, чтобы обрадовать своего брата. Под видом угощения для куклы Таня отнесла кусок торта брату, который рыдал в детской, приговаривая: «Ешь сама, вместе будем есть... вместе». Переписывая все это, Соня снова слышала уже почти забытый детский смех в купальне, восторженный визг в детской, веселое плескание в реке, нескончаемые радости Лёли, Илюши, когда она находила березовые грибы — шлюпики в лесу за рекой Воронкой.

Теперь Сониная жизнь делилась на дневную, когда она строго следила за побелкой дома, фасада и окон, починкой дверей и полов и прочими текущими делами, и ночную, когда доставала из шкафа Лёвочкины бумаги и снова оказывалась в своем зазеркалье, зорко наблюдая за тем, как Кити сидит на кожаном старинном дедовском диване, который всегда стоял в кабинете деда и отца Левина, и вышивает английской гладью. Сидя на

таким же точно диване и читая рукописные листы мужа, Соня постоянно путалась в ощущениях и реалиях, сбиваясь, где же все-таки она сама, а где ее отражения — Кити и Долли с их культом материнства? Невольно Соня «дописывала» мужнины образы, испытывая при этом удовлетворение собственных амбиций, позволяя многое считать теперь пустяками, но только не инстинкт материнства, присущий ей и знакомым ей героиням.

Лёвочка сумел многое «подсмотреть», запомнить в Сониной жизни матери — насадки, чтобы вдохновиться однажды увиденной им красивой белой шелковой строчкой на рукаве ее халата. Именно это строчка вызвала в нем рой эмоций и помогла понять сложный мир своей жены для того, чтобы осмыслить и весь особенный женский мир. Главная героиня его романа была напрочь лишена этих милых женских удовольствий, составлявших привычный, чисто женский круг занятий Сони. Роман пополнялся реальными сведениями, взятыми автором из своей жизни. Например, шестая по счету беременность Долли совпадала с Сониной шестой беременностью.

Зазеркалье оказывало очень сильное воздействие на Соню. Путешествуя по этому причудливому миру двоящихся образов, она узнавала себя то в Кити, то в Долли, то в самой Анне, сиявшей «непростительным счастьем». Благодаря романным двойникам Соня множилась в зеркальных отражениях. Мужнино писание позволяло забыть об усталости, о потерянном Лёлей полотняном картузике, о Лёвочкином сюртуке, заказанном им на Тверской у самого дорогого и престижного кутюрье Филиппа Айе, о собственной поездке за шляпками и башмаками, о драке сыновей во время прогулки, о двойке, полученной детьми за плохое поведение, о гнилой погоде, о потерянном мужем бумажнике и о многом другом, что невозможно перечислить.

Соня не раз слышала о мистике книг, о их пророческой способности все превращать в свои тени. Она побаивалась, что романские пассажи, только что переписанные ее рукой, могут вторгнуться в ее жизнь. Особенно это касалось трагических сюжетов, связанных с Анной, со сценой ее самоубийства. «Только не это», — причитала Соня. Ей так не хотелось думать в это время о чем-то плохом, например о шнурке, приводящем ее в ужас при воспоминании о том, как муж носил эту веревку в своем кармане, думая покончить жизнь самоубийством. А Соне так хотелось наслаждаться тихим плаванием с ним в лодочке, ни на миг не забывая, куда им нужно плыть.

Зазеркалье приоткрывало ей Лёвочкины мысли и опасения: «Левин был счастлив, но, вступив в семейную жизнь, он на каждом шагу видел, что

это было совсем не то, что он воображал. На каждом шагу он испытывал то, что испытывал бы человек, любовавшийся плавным, счастливым ходом лодочки по озеру, после того, как он бы сам сел в эту лодочку. Он видел, что мало того, чтобы сидеть ровно, не качаясь, — надо еще соображать, ни на минуту не забывая, куда плыть, что под ногами вода, и надо грести, и что непривычным рукам больно, что только смотреть на это легко, а что делать это хотя и очень радостно, но очень трудно». Переписав этот пассаж, Соня разволновалась: вдруг плавный, счастливый ход их лодочки изменится? Она судорожно перебирала все последние ссоры с Лёвочкой, которые могли бы иметь реальную материальную силу. Муж не раз ей говорил, что оскорбительный тон, как и недобрый взгляд — это очень опасные вещи. Она задумалась о том, что даже их брак, очень близкий к идеальному, мог в любой миг разрушиться и вряд ли его можно было бы «починить».

Соне было приятнее проживать счастливые мгновения, подобные, например, их объяснению начальными буквами, написанными Лёвочкой на ломберном столе в Ивицах, свадебной горячке, спровоцированной отсутствием у жениха чистой рубашки, опозданием к венчанию. В этот миг она забывала о дневниковом признании мужа: «Написал напрасно буквами Соне». Она продолжала вчитываться в описания первых родов, еще раз переживая при этом беспокойство будущей матери за жизнь своего ребенка. Она увидела себя, словно со стороны, переписывая роды Кити, как она «бессильно опустила руки на одеяло», как лежала «необычайно прекрасная и тихая», а к вечеру была вся «убранная, причесанная, в нарядном чепчике с чем-то голубым, выпростав руки на одеяло, она лежала на спине и, встретив его взглядом, взглядом притягивала к себе. Взгляд ее, и так светлый, еще более светлел, по мере того как он приближался к ней. На ее лице была та самая перемена от земного к неземному, которая бывает на лице покойников: но там прощание, а здесь встреча». При этих словах Соне захотелось расцеловать мужа.

Случалось также и обратное, когда она оскорблялась сразу за всех женщин, прочитав, например, как Стива Облонский во время сытного обеда в ресторане разделил всех женщин на две половины — на женщин и стерв, и она заменила слово, оскорбляющее лучшую половину человечества, многоточием. Ей не понравилось Лёвочкино утверждение, что женщины ббльшие материалисты, чем мужчины, творящие что-то огромное из любви к женщине. Женщины же всегда *terre-a — terre*, то есть лишенные полета, очень заземленные. Соня была не согласна с такой трактовкой женского образа. Поэтому она с любовью перечитывала другие

страницы: «Спокойной с шестью детьми Дарья Александровна не могла быть... Редко, редко выдавались короткие спокойные периоды. Но... как ни тяжелы были для матери страх болезней, самые болезни и горе ввиду признаков дурных наклонностей в детях, — сами дети выплачивали ей уже теперь мелкими радостями за ее горести. Радости эти были так мелки, что они почти незаметны были, как золото в песке, и в дурные минуты она видела одни горести, один песок: но были и хорошие минуты, когда она видела одни радости, одно золото». Как и Соня со своими шестью детьми.

Глава XVI. «Семь человек и я восьмая»

Соня успешно справилась с девятыми родами. Она была снова здорова, а значит, и любима мужем. Он не раз говорил ей, что «муж любит жену здоровую». Уже позади остались пятнадцать совместно прожитых лет. Чего только не случалось с ней за эти годы! Приходилось часто общаться со своим безмолвным собеседником — дневником, вместе с Лёвочкой частенько «пачкать» руки чернилами во время переписывания его романов, постоянно рожать, а потом нянчить и учить детей, раздражаясь и крича на них из-за их лени и бестолковости, заливаясь слезами, вновь уходить в мир мужниных творений, опять рожать, снова рисковать потерять кого-то из детей, спорить с мужем, хворать, шить, следить за огромным хозяйством... Многое из этого она научилась делать почти механически, как бы по инерции. Но еще больше делала благодаря преодолению своих бесчисленных «не хочу». Как бы то ни было, невзгоды и трудности не сломили ее, жажда жизни оказалась гораздо сильнее.

К этому времени Соня достигла вершины горы. Ее жизнь, как она считала, была тихой, порой даже слишком. Обычно Соня встречалась только со своими родными и, конечно, почти никуда не выезжала. За это время она срослась с мужем, была неотделима от него, всегда хотела поспеть за ним. Его интересы стали главными для нее. Когда Лёвочка снова брался за перо, обкладываясь горами книг, например о декабристах, Соня была этому рада до слез. Она очень любила трудиться с ним в четыре руки — он сочиняет, а она переписывает. Это стало золотой порой их совместной жизни, работа продвигалась успешно, почти без перебоев. В это время все дети знали, что мама и папа одинаково заняты романами, но порой им казалось, что мама работает больше отца.

После этого наступала жаркая пора заключения договоров с издателями, похожая на роковой поединок, который Лёвочка непременно выигрывал. Он умел торговаться, проявляя завидную решимость и волю. Ей было приятно, что ее муж — самый дорогостоящий писатель России, получающий самый высокий гонорар — 500 рублей за печатный лист. Благодаря таким гонорарам их огромной семье можно было жить безбедно. Лёвочке было уже под пятьдесят, а ей почти тридцать пять.

Но порой их размеренная и монотонная жизнь нарушалась житейской непредсказуемостью. Так, однажды Лёля катался на коньках по Большому пруду и угодил в огромную прорубь, которая была лишь слегка подернута

льдом. К счастью, он ухватился за край проруби, и бабы, в двух шагах от него полоскавшие белье, успели вытащить мальчика оттуда и принесли его в заледеневшем полушубке домой. Охая и ахая, Соня растирала спиртом своего любимца с каштановыми кудрями. Или Таня как-то поскользнулась в доме на паркете и сломала ключицу. Пришлось в срочном порядке везти ее к хирургу Гаагу. А Сережу как-то ударил рассерженный гувернер месье Nief за то, что ребенок случайно его разбудил. Снова был нездоров самый маленький из детей, самый старший из-за своей рассеянности делал слишком много ошибок на экзаменах. Ей было так тяжело кормить и ухаживать, хотя бы даже за одним младенцем Андрюшей, который постоянно болел. Соня впала в отчаяние, из-за этого у нее стало «молоко еще хуже», и пришлось даже на время брать кормилицу, а тут заболел, как на грех, воспалением легких Сережа. Тем временем у Андрюши болезнь обострилась, появился жар, было сильное расстройство желудка. Бедняжка так страдал, что было слышно во всех комнатах, и Соня постоянно делала ему припарки на животик.

Ежедневное обучение детей, кройка и шитье, а затем проверка счетов, хозяйство, чтение, игра на фортепиано. Соня то присядет, отдохнет, то опять чем-нибудь займется. И так каждый день. В общем, скучная, «постылая», неинтересная жизнь. Муж жил теперь в ожидании своих «золотых» занятий, а она — «пустых радостей». Тем не менее Соня твердо знала, что ее мир разнообразнее, чем Лёвочкин с его «благочестивой тоской».

Итак, жизнь протекала в привычном русле. Все так же стряпал повар Николай, все так же подбрасывал на сковороде всеми любимые блинчики, Соня продолжала заказывать ему обеды, сама варила варенье и мариновала грибы, летом перекладывала зимнюю одежду табаком и пересыпала камфорой, чтобы моль не поела, укорачивала дочери платья, подавала гостям сыр и селедку, засыпала солью скатерть, если кто-то нечаянно проливал на нее вино, ставила елку на Рождество, звонила в пять часов в колокол, висевший на сломанном суку вяза, приглашая к обеду. Изо дня в день привычно подавали суп и котлеты, старшие дети готовились к гимназии и университету, купались в Воронке, ставили любительские спектакли. Были домашние беседы по — французски и по — английски, характерные женские разговоры о том, что дарить прислуге, как правильно составить меню и когда варенье считать готовым. В семье существовали очень прочные, незыблемые устои и традиции, Соня приучала к ним свою семью, прекрасно понимая, что весь груз забот и ответственности она возлагает на себя, а мужу и детям оставляет только одну приятность.

Она следила за тем, чтобы дети во время занятий не смотрели в окна, чтобы в комнатах «трещали» печи, чтобы истопник Семен вовремя приносил вязанки березовых дров и подбрасывал их в огонь, чтобы дети не забывали «lavez vos mains» (мыть руки. — **Н. Н.**) и правильно рассаживались за обеденным столом, ели не торопясь, тщательно прожевывая пищу, чтобы не одевались наспех и не ленились застегивать полушубки на все пуговицы, чтобы не забывали надевать шапки с наушниками, чтобы ходили кататься на коньках непременно с гувернером, чтобы не катались до тех пор, пока уши побелеют и папа начнет безжалостно растирать их.

Но жизненная стихия все же одерживала победу. Вроде бы все устоялось, например с гувернерами. Но оказалось, что только одна любимая всеми англичанка Ханна Терсей продержалась в Ясной Поляне семь лет. После нее кто только не перебывал в их доме! И краснощекая Дора, и Анни Philipps, становившаяся все противнее и противнее, и m-lle Gachet, выдумавшая гулять допоздна, и Emily Tabor, полнокровная, тихая, степенная, сметливая, добрая, но с грубоватыми манерами, и m-lle Rey в люстриновом фартуке, с вкрадчивым голосом, льстивыми речами и кошачьими манерами. Сначала Соне даже показалось, что из нее могла бы получиться прекрасная помощница. А месье Rey почти каждый день ходил на охоту, беря с собой пса Сноба, и возвращался домой всегда с дичью. Страстными любителями охоты оказались также г — н Кауфман и г — н Nief. Последний еще запомнился как «страстный гурман», любивший жарить белок и козюль (змей. — **Н. Н.**).

Порой Соне было всех их жаль, ведь они были вынуждены жить вдали от собственных семей, потому что эти бедные люди не были свободны, а должны были подчиняться чужой воле. К тому же жизнь в Ясной Поляне была очень скучной, без каких бы то ни было развлечений. Поэтому Соня старалась не допускать ссор и сплетен в их кругу, призывала их к корректному стилю поведения. Когда же до нее доходили слухи о том, что учителя то на ножах с гувернантками, то влюбляются в них, она безжалостно пресекала подобные двусмысленные отношения. Ее дети твердо знали, кто самый главный в доме. Конечно, мама. Она жила для семьи, для мужа, для детей. Казалось, она и не желала никакой иной жизни.

Тем не менее порой ей хотелось самых «пустых» радостей, которых не признавал муж, устававший даже от долгой болтовни Фета. Соня мечтала о том, чтобы у нее было много — много веселья. Еще недавно она спасалась в Лёвочкином зазеркалье, в котором ей было так интересно и весело. А теперь муж говорил, что у него в «голове пусто», он как будто бы стал «не

от мира сего», часто сидел с отсутствующим взглядом, был мрачен, почти не разговаривал с ней, не замечал ее, перестал есть и спать, мучился головными болями, совсем ничего не делал, даже писем не писал. Съездив в Троице — Сергиеву лавру, продолжал думать до головных болей. Излечивался, наслаждаясь великой мудростью, вчитываясь в Екклесиаст и притчи Соломона. В мудрости он нашел для себя много печали.

Муж жил «одинок и смирно». Она старалась больше молчать, ничего не советовать, помня, сколько раз ей за это от него доставалось, но прекрасно понимала, что ему надо бы поехать туда, где теплый климат, там он быстро от всего плохого и мучившего его излечился бы. Однажды за чаепитием он затеял длинный философский разговор о смысле жизни, в котором она все поняла по — своему. Поняла, что не стоит «думать до головных болей» ради того, чтобы доказать всем, какдалеко Церковь отошла от Евангелия.

В это время Соня занималась вполне определенными делами, которые отличались от стыдливых, неопределенных Лёвочкиных дел, «праздных», как он выражался. Возможно ли соединить свои новые искания с творчеством и с семьей? Кажется, да. Он поехал в Москву, чтобы приобрести книги для работы над духовными сочинениями, а заодно подыскать достойных гувернеров своим детям и еще раз осмотреть картинную галерею Дмитрия Петровича Боткина.

В вопросах воспитания детей и пользы гувернеров у Сони, кажется, не было разногласий с мужем. Узнав о любовных проделках месье Rey с m-lle Gachet, он настолько вышел из себя, что накричал на гувернера: «Я вас выброшу из окна, если вы будете продолжать вести себя подобным образом!» После этого гувернер был уволен. Но это были «мелочи». Главное — экзамены старших мальчиков, за которыми муж особенно пристально теперь следил. В общем, как он говорил в таких случаях, только у безнравственных людей все идет гладко.

А Соня в это время, испытывая Лёвочку своим желанием веселья, готовила домашний спектакль. Начались репетиции на небольшой сцене — высоких подмостках с занавесом и нижней подсветкой. Все как в настоящем театре. Играли «Бедовую бабушку», которая очень удалась, а еще пьесу «Вице — мундир», которую испортил Илюша, забыв слова своей роли, чем сконфузил Сережу. Как всегда, отличилась Таня, прекрасно сыгравшая на репетиции и чуть похуже во время самого спектакля. А потом были танцы и Лёвочка «разошелся», не смог устоять. В общем, дым стоял коромыслом, «были гость на госте», для них было в ходу 34 простыни, и стол накрывался на 30 персон. Лёвочка в приподнятом

настроении отодвинул «пачкуна» Шопенгауэра, искушавшего его своей мудростью. Что ж, «мудрый умирает наравне с глупым».

Вскоре Соня вместе с детьми отправилась в Москву, чтобы показать им Кремль, Оружейную палату, соборы, картинные галереи, сводить их в оперу, посетить магазины.

Между тем ей было трудно придаться к мужу, который в это время довольно активно занимался благоустройством семьи, покупая земли в Самарской губернии и ведя переговоры об очередном издании собрания сочинений, в результате продал его за 25 тысяч наличными. Несмотря на Лёвочкины хлопоты, Соня подмечала в нем большие перемены. Он стал полностью соблюдать Великий пост и посещать все церковные службы. Теперь все в Ясной Поляне, от мала до велика, ели постное, учились и жили как по прописям. Иными словами, «любили добродетель, труд, благочестие и тому подобное». Муж постоянно читал и что-то уяснял в себе. Он словно «жил в чаду», переполненный внутренними сомнениями, угрызениями совести. Могла ли Соня любить его таким «черненьким»? Конечно, могла и любила, да еще как!

Когда она была без него, ей всегда было «хуже». Дети вели себя, как правило, «дурно». Одиночество, постоянный страх за Лёвочку делали Соню суеверной и нервной. Она хваталась, словно за палочку — выручалочку, за его коротенькие записочки, написанные ей второпях на буфетной бумаге, пыталась «выжать» из них как можно больше сведений. Чтобы ни о чем не думать, забыться, она, не переставая, шила, приговаривая про себя: «Работы гибель и конца ей не предвижу: семь человек и я восьмая». Только иногда ее работа прерывалась радостным детским смехом: в Ясной Поляне в день рождения Тани появились два осла из Самары, Бисмарк и Мак — Магон, на которых все по очереди с большим удовольствием катались. А Соня подарила своей любимице золотой медальон и колечко, а также три рубля серебром. Было еще и русское шампанское на день рождения дочери, а потом Таня должна была поехать на *Spectacle de Societe* (общественный спектакль. — **Н. Н.**). Илюша подарил сестре собственноручно сделанные три перьевые ручки с головками собачек. Вышло неплохо. Еще Таня обустроила свою комнату, в которой стало очень даже «мило»: красная мебель, покрытая лаком, везде растения, письменные вещи разложены как надо.

А Лёвочка по — прежнему весь был в религиозных исканиях, умилялся молитвами. Вместе с ним становилась богомольной и Соня, видя во всем, и в дурном и в хорошем, волю Божию. Находясь в смиренном настроении, муж написал примирительное письмо своему бывшему другу,

соседу — помещику Ивану Сергеевичу Тургеневу, с которым был в ссоре целых семнадцать лет. Примирение с Тургеневым, ставшее прямым следствием обновленной нынешней жизни мужа, было замечательным событием для всех обитателей яснополянской усадьбы.

8 августа 1878 года Иван Тургенев в первый раз, спустя долгое время, навестил своего бывшего друга. Тургенев показался Соне «очень седым и очень смиренным». Тем не менее, несмотря на седины, он поражал своим бурлеском, артистизмом, красноречием. Он так «картинно» представлял всем присутствующим статую Христа скульптора Антокольского, что Соне казалось, будто она видела ее собственными глазами. А еще развеселил всех, представив свою любимую собаку Жака. Потом прочел тонким дискантом свой рассказ «Собака».

Соню поразила трогательная наивность маститого художника, его удивительная доверчивость, с которой он признавался всем в своих болезнях и страхах, например, в боязни фатальной цифры «13». Кто-то заметил, что собравшихся за столом как раз тринадцать. Начались нервные шутки, вроде этой: на кого из присутствующих упадет жребий смерти, и кто боится магической цифры. Тургенев, не задумываясь, первым поднял руку, произнеся: «*Que celui, qui craint la mort, leve la main*» (пусть тот, кто боится смерти, поднимет руку. — **Н. Н.**). Никто не поднял руку, кроме Лёвочки, который из-за учтивости вынужден был это сделать, проговорив: «*Eh bien, moi aussi, je ne veux pas*» (ну, и я тоже не хочу умереть. — **Н. Н.**).

После обеда пела сестра Таня своим прекрасным вибрирующим сопрано, а потом затеяли кадрили. Однако всех без исключения потряс **can-can** в исполнении дорогого гостя. Он станцевал его по всем правилам, на старинный манер, заложив пальцы рук за проймы бархатного жилета, с мягким, грациозным приседанием и выпрямлением ног, в общем, мастерски продемонстрировал вполне светский танец, совершенно приличный в его исполнении, не похожий на пошлый канкан, грубо исполняемый в различных кафешантанах. Все были очарованы гостем, и только один Лёвочка с грустью смотрел на Тургенева, заливавшегося детским смехом и довольного своим успехом. Потом Иван Сергеевич показал еще один свой коронный номер, подложив одну руку под другую и изобразив курицу в супе, а потом еще один — как собака делает стойку. Зрители пришли в полный восторг.

Затем Соня предложила гостям припомнить что-нибудь, связанное с самой счастливой минутой в их жизни. Но только Тургенев охотно откликнулся на ее предложение, рассказав, как он по глазам любимой понял, что он любим. Именно любовь к Женщине помогла ему подняться

на Олимп, населенный благородными «тургеневскими» девушками. Он, конечно, «женский» писатель, вдохновляемый исключительно Женщиной и писавший только для нее одной.

Казалось, что Тургенев неутомим, он рассказывал обо всем, например, о покупке виллы Буживаль под Парижем, нахваливал удобства тамошней прелестной оранжереи, приобретенной им за десять тысяч франков, интересно живописал семейство Виардо и, конечно, игру в винт по вечерам. Слушая все это, Лёвочка не без иронии заметил, что жизнь российская не такая, как заграничная, поэтому и играть в винт здесь не с руки. Соня деликатно предложила дорогому гостю посостязаться в шахматы с 15-летним сыном Сережей, которому будет что вспомнить, ведь он играл с самим Тургеневым. Иван Сергеевич считал себя хорошим игроком, но с большим трудом выиграл партию у Сережи. После этого он поведал, как бросил курить из-за двух хорошеньких барышень, которые пригрозили прекратить целоваться с ним из-за табачного запаха. Он по — прежнему «пританцовывал» вокруг женщин.

Во время этого визита Лёвочка не раз уводил гостя к себе в кабинет или в новую избушку, только что построенную им в лесу Чепыж. О чем они там беседовали, бог знает, и для Сони это осталось тайной. О прошлой ссоре не было и речи, муж держал себя «слегка почтительно» и «очень любезно». Тургенев еще не раз наведывался в Ясную Поляну. Однажды он повстречался здесь с князем Урусовым, большим эрудитом, приохотившим Соню к чтению Сенеки, Платона, Эпиктета и считавшим, что ничто так не сближает людей, как совместная интеллектуальная работа. Ей ли было этого не знать! Она теперь так скучала без совместной «писательской» работы с Лёвочкой. Богословские сочинения мужа не вызывали у нее восторга, как его романы.

За столом возник горячий спор между Тургеневым и Урусовым, сидевшими друг против друга. Князь так упорно возражал писателю, так увлекся спором, что не заметил, как из-под него выскользнул стул, и он оказался под столом. Но даже сидя на паркете, князь продолжал доказывать оппоненту свою правоту.

В этот свой очередной приезд в Ясную Поляну Тургенев признался, что ему совсем не пишется, что он мог писать, только находясь в состоянии любовной лихорадки. Теперь стал стар, его не трясло, как прежде, от любви. Соня с удовольствием принимала дорогого гостя, угощая его обедами, которые были приготовлены по его заказу: манным супом с укропом, пирогами с рисом и курицей, гречневой кашей. И он ей был очень благодарен за отлично приготовленные кушанья, все время приговаривал,

обращаясь к Лёвочке: «Как хорошо, что вы женились на вашей жене». Он тронул Соню своим рыцарским отношением к Женщине, а Лёвочка, вышедший из-под тургеневской опеки, давно уже не следовал за ним подобно «влюбленной женщине». Все у Тургенева было по — западному щегольским: и дорогой дорожный кожаный чемодан, и изящный несессер, и щетки для волос из слоновой кости, и бархатная куртка, и шелковый галстук, и рубашка, и прекрасные золотые часы, которые он называл хронометром, и роскошная табакерка с нюхательным табаком, и мягкие «подагровые» сапоги. И во всем своем загранично — щегольском блеске он качался на яснополянских «первобытных» качелях. Соня тоже любила качаться на качелях, только на воображаемых, то поднималась вверх, то опускалась вниз, доходя порой до отчаяния. Когда качели уносили ее ввысь, она упивалась своей семейной жизнью, а когда они приближали ее к земле, чуть ли не ударяя об эту твердь, она сознавала всю наивность своих восторгов, осмысляя супружество как большой «хомут». Так, свою нежеланную поездку в Самару, где они владели огромной территорией земли, расценивая ее как приданое для своих дочерей, Соня сравнивала с тюремным заключением, «даже еще хуже». А для мужа пребывание в самарских степях было целительным. Он здесь купался с детьми, пил кумыс. Для нее же нахождение тут с грудным Андрюшей на протяжении двух месяцев было равносильно жертве и исполнению тяжелого семейного долга. Она испытала шок, узнав, что муж и дети ночуют в амбаре, где было полно мух и блох.

Как всегда, во время разлуки их любовь к друг другу усиливалась. Когда Лёвочка был в Петербурге, хлопотал по издательским делам, а после этого навестил тещу, проживавшую теперь в усадьбе Утешенье в Новгородской губернии, он умолял жену, чтобы она непременно спала днем и не мучила себя учебой детей. Соня часто страдала из-за зубной боли и «личных» болей, отчего голова у нее «ошалевала», она не могла спать ни минуты. Вскоре поняла, что это вызвано новой беременностью.

Она не хотела этой беременности, сопротивлялась, как могла: «часов семь кричала, каталась, вся помертвела и всех напугала». Лёвочка испугался, что Соня умрет, и «возвратил» ей свою любовь. После рождения девятого ребенка и трех выкидышей, совершенно измученная, она больше не могла думать о родах, протестовала как могла. Но муж был убежден: беременность — это от Бога, Соня должна быть женой — матерью, а не женой — любовницей. А она считала, что он заботился не о ней, а исключительно о продолжении себя в собственных детях. Она же была только средством этой цели, то есть «удовлетворением, нянькой,

привычной мебелью».

Тем не менее Соня снова подчинилась мужу, опять забеременела и зажила, как говорил Лёвочка, «по — Божески». Но после этого что-то пошло «не так» в их отношениях. Было «холодно и далеко». В это время Соня похудела, постарела, осунулась. Она чувствовала себя одинокой и нуждалась в его нежности, но получала ее не от него, а от детей, особенно от Тани, ставшей ее настоящей помощницей. Таня ухаживала за братьями-малышами, занималась с ними, играла в куклы, гуляла и рисовала. Сама же в это время думала о гимназисте, который при виде ее воскликнул: «Jolie fille!» (красивая девочка. — **Н. Н.**). Таня больше всего обожала влюбляться, хотя бы «на минутку», веселиться и танцевать. Соня очень волновалась за Илюшу, что из-за своей лени он провалится на экзаменах, но была уверена, что старший сын Сережа хорошо сдаст экзамены за седьмой класс, поэтому позволила ему играть на скрипке, подаренной папе. Ее радовал полуторагодовалый Андрюша: он пока не научился ходить, зато уже разговаривал.

20 декабря 1879 года Соня благополучно родила здорового малыша Мишу. Она кормила его грудью, хорошо усвоив заповедь мужа, что ребенок будет не вполне ее, «если вырос, развился и воспитался в свой первый, самый важный год на молоке чужой женщины». Тем временем завершились экзамены у старших детей, наступили «вакансии» (каникулы. — **Н. Н.**) на шесть недель. Соня следовала советам знаменитого московского врача Захарьина, считавшего, что учить детей летом, даже немного, не нужно. Необходимо снимать с ребенка заботу об уроках, чтобы ум отдыхал, чтобы появились новые силы к осени.

Сама же Соня в период кормления грудью обязательно читала какой-нибудь английский роман. Таким образом, выкормив девятерых детей, перечитав уйму английских книг, она лучше изучила язык. Лёвочка же после завершения романа «Анна Каренина» постоянно штудировал Символ веры, Иоанна Дамаскина, Библию, книги по догматике церковного учения, совершенно забросив свои художественные сочинения, обозвав их «пустяками», не вкушал соблазна денежного вознаграждения, избегал рукоплесканий за свой «ничтожный» труд, «измарал» много бумаги, изучая богословие. Теперь он засыпал в своем кабинете под портретом Артура Шопенгауэра. А Соня в это время смотрела на мужа со страхом, предполагая в нем «странную» болезнь, просила Бога, чтобы она быстрее прошла. Лёвочка все осуждал, за все страдал и переносил весь гнев на жену и детей, а еще на тех, кто богат и счастлив. Среди писателей ходили слухи, запущенные Григоровичем, поддержанные Катковым, что Лев

Николаевич «помешался».

Роды Сони на некоторое время прервали работу мужа над его «Исповедью», в которой он излагал свой взгляд на жизнь, но после того, как послеродовые волнения поутихли, он дописал новое сочинение, всем поведав о своей прежней «неправильной» жизни.

Глава XVII. «Сержусь и возмущаюсь!»

Теперь в яснополянском доме все, кажется, было по — настоящему. У дверей гостя встречал с иголки одетый лакей в эффектной ливрее, которую украшали медные пуговицы с графской короной. Соня величала себя исключительно графиней, понимая, что звание «жена писателя» уже в прошлом. Желая, больше чем когда-либо, соответствовать титулу «графиня», на что ее невольно вдохновлял образ Александрин Толстой, шелест платья которой всем напоминал, кто в доме хозяин, «неутомимая» Соня превращалась в мудрую Софью.

А муж тем временем посещал тюрьмы, остроги, «умышленно» искал людские страдания, все осуждал и отрицал, уже не говел в пост, просил жену, чтобы постного для него она не заказывала, предпочитая есть аппетитные мясные котлеты, предназначавшиеся ею для детей. Лёвочка охотно ездил в Москву, чтобы подыскать достойных учителей и гувернеров для своих старших мальчиков. Он обращался в «Контору для рекомендации гувернанток и учителей», а также в «Общество гувернанток». После долгих мытарств нашел тихого, по — своему наивного учителя Ивана Михайловича Ивакина, очень образованного, оказавшегося прекрасным филологом. А потом в их доме появилась m-lle Cuillod, хорошо знавшая английский и немецкий языки, но, к сожалению, не обладавшая музыкальными познаниями, что, конечно, огорчило Софью. Ее беспокоило и поведение Ильи, который мог целые дни проводить на охоте, отбился от рук и совсем не хотел учиться.

Но гораздо больше Софью тревожило поведение мужа. Однажды, кажется, 2 марта 1881 года, она отправилась в Тулу, чтобы навестить знакомое семейство Лопухиных. У заставы при въезде в город услышала об убийстве Александра II. Она была в ужасе от услышанного, стала расспрашивать: как подобное могло произойти? Что ж, мало ли под государя бомб подкладывали, на этот раз карету разорвало и царя убило. Лёвочка же узнал о происшедшем, когда гулял по шоссе, от итальянского мальчишки, путешествовавшего вместе с шарманкой и птицами. Вернувшись домой, мрачный, как будто был приговорен к казни, он вызвал в гостиную, где всегда пил кофе, учителя Василия Ивановича Алексева, чтобы посоветоваться с ним, посылать ли ему письмо Александру III с просьбой о помиловании преступников. В это время Софья стояла за дверью и все слышала. Не раздумывая, она вбежала в комнату и гневно

прокричала: «Если бы здесь не было Льва Николаевича, то я приказала бы вам убираться вон!» — и указала учителю пальцем на дверь. После этого Софья еще долго не могла успокоиться.

Муж между тем не оставил намерения обратиться с письмом к наследнику престола. Как-то он задремал в своем кабинете на кожаном дедовском диване и увидел страшный сон, как его, Толстого, казнили. Но казнил не Александр III, а он сам казнил себя. Лёвочка верил снам, считал их провозвестниками судьбы. В общем, сон еще больше убедил его в необходимости осуществления задуманного. Он тотчас же написал письмо царю, обращаясь к нему как человек к человеку, прося воздать «добром за зло». Это письмо он передал Н. Н. Страхову, который должен был вручить его Победоносцеву, обер — прокурору Синода. Софья не преминула добавить свою приписку о том, что муж послал письмо государю против ее воли. Как она и предполагала, обер — прокурор самым категоричным образом отказался передавать письмо Александру III.

Софья была возмущена ужасно «злым» отрицанием Церкви, тем, как муж грубо разрывал свои отношения с православием. Поэтому она решительно отказалась участвовать теперь в переписывании его сочинений. На первых порах Софья еще машинально, по привычке, переписывала мужнин трактат «Исследование догматического богословия», но вскоре поняла, на что посягал Лёвочка. Она быстро сложила рукопись, добавив к ней только что переписанные ею листы, и положила на стол с такими словами: «На тебе! Кому хочешь давай, я эту гадость переписывать не стану!» Софья по — настоящему взбунтовалась и, дав волю ярости, с негодованием прокричала: «Сержусь и возмущаюсь!»

Теперь ей казалось, что дом наполнен только одними разговорами о смертной казни. Как-то к ним в гости заехал Петр Федорович Самарин, давнишний их знакомый, крупный помещик, предводитель тульского дворянства, которому Лёвочка стал пересказывать историю смертной казни, а тот, как показалось мужу, «с улыбочкой» ему ответил: «Надо вешать их». Что здесь началось: муж метался, не зная, как поступить с гостем, может быть, все-таки промолчать, а может, «вытолкать в шею», и закричал: «Зачем же вы тогда приехали ко мне?!» А после добавил: «Мне страшно быть с вами» и с этими словами покинул зал. Софья постаралась как-то «замять» конфликт. Вся сложность ее положения заключалась в том, что она была полностью согласна с Петром Федоровичем, негодовавшим по поводу чрезмерной распущенности крестьян в деревнях, и была не согласна с мужем, который обрушивал весь свой гнев на помещиков за их «дикое» отношение к народу — кормильцу. Лёвочка очень резко спорил со

своим оппонентом, который, напротив, был очень спокоен и корректен. Софье удалось утихомирить разбушевавшегося мужа, и чаепитие продолжилось, к немалому удовольствию хозяйки, которая потчевала гостя вкусными сухариками. Вскоре муж попросил прощения у Самарина за свою вспыльчивость, объяснив свое поведение исключительно большой любовью к людям.

Лев Николаевич в последнее время ослабел, осунулся, похудел, поседел, стал унылым. Из-за нервных перегрузок «маленькие стычки» между супругами участились. Теперь Софья думала, как хорошо им было жить «по — язычески» и как трудно жить «по — христиански». Уж лучше бы жить, как жили прежде.

Лёвочка горячо поддерживал прослушанную им лекцию Владимира Соловьева, ставшую открытым протестом против смертной казни. Софья была уверена, что сочувствие можно было найти исключительно среди философов, но никак не у Александра III и Победоносцева, который, кстати, ответил мужу, что церковная вера не может быть похожей на веру Толстого. А наследник, как от кого-то слышала Софья, якобы просил передать графу Толстому, что он непременно помиловал бы убийц, если бы покушение было совершено на его особу, но убийц отца он простить не имел права.

Софья запомнила на всю жизнь мысль мужа о «надрезах» в отношениях любящих друг друга людей. Он сравнивал себя и ее с двумя половинками листа белой бумаги. Если надрывать лист все больше и больше, то обе половинки разъединятся навсегда и их будет невозможно соединить вновь. Софья привыкла беречь свои отношения с Лёвочкой, не раз уступала ему, чтобы не дать разорваться их супружеству. После вспышек несдержанности она приходила к нему первой, целовала его руки, плакала и просила прощения. А муж был очень гордым, знал себе цену и лишь раз сказал ей «прости». Софья как могла исправляла их совместную жизнь, чтобы она не пошла врозь.

Переступив через себя, она снова стала готовиться к отъезду мужа и старш их детей в Самару. Снова беспокоилась, что дети будут в жару по несколько раз в день купаться в реке Моче, одном из притоков Волги, и заболеют. Так и случилось. У Сережи начался кровавый понос. Муж стал ухаживать за ним, постоянно клал ему на живот теплую подушку, делал клейстер из крахмала с опиумом, также давал ему по 10 капель опиума два раза в день, заставил соблюдать строгую диету, состоявшую из куриного бульона и чая с сухарями. Софья, конечно, была не в восторге от подобного курса лечения, считала, что при кровавом поносе необходимо принимать

касторку с тремя каплями опиума, а уже после этого делать теплые припарки. Но, слава богу, Сережа быстро выздоровел, стал весел и с удовольствием охотился на диких уток. Да и муж поправил свой желудок, а главное, нервы. Вылечился, как он утверждал, благодаря чудодейственному кумысу, которого ежедневно выпивал по двенадцать чашек. От этого теперь его мысли «ходили тише», он становился «сонливее, спокойнее и глупее». В это время он питался не «щеголевато», но сытно: вареной бараниной, котлетами с горошком, карасями, творогом или сырниками, кашами, то есть употреблял здоровую и полезную пищу. Жене же советовал «растить потихонечку свое брюхо» и о плохом не думать.

В Самаре Лёвочка не только лечился, но и занимался хозяйством, благо не пришлось в этот раз мучиться от блох, клопов и мух. В этом году урожай обещал быть очень хорошим, и Лёвочка рассчитывал выручить за него большие деньги. «Уже намололи восемьсот пудов, но это еще не все!» — с восторгом сообщал он жене в одном из писем. Надежда на высокий доход оправдалась. Толстой удачно распродал пятнадцать жеребят по 200 рублей, тогда как в Туле они стоили бы всего лишь по 120, также решил расстаться с лишними кобылами, которых набралось шестнадцать. Он намеревался продать их по 50 рублей. Решил оставить только тех, которые понадобятся для езды, среди них оказались четыре буланных жеребенка, его любимой масти, предназначенные для Софьи. Он мечтал только об одном — стать «паинькой» ради жены, чтобы она была вместе с детьми здоровой, а остальное — пустяки. Все это время он думал о ней, как о «половине своей души и своей плоти».

Что ж, пусть все идет, как идет, размышляла Софья, читая письма мужа. Не следует ничего менять. Если же возникнут убытки, то ей к ним не привыкать, как и к деньгам, которые ей и детям все равно не достанутся, поскольку муж обязательно раздаст все бедным. Но разве может он один прокормить всех российских бедняков? Она знала ответ на этот вопрос, впрочем, и на многие другие. Например, где ей жить со своими старшими детьми. Разумеется, в Москве. Она очень надеялась «все в жизни помирить», в том числе и мужа с проживанием в городе, что, вероятно, пойдет ему на пользу, возможно, даже развеселит его и невзначай ошастливит. Как знать?! Деверь Сергей как-то сказал ей: Лёвочке хорошо, ведь он избалован судьбой и женой, потому что ему есть с кем и перед кем погрустить, есть кому его пожалеть, а вот он, его брат, стал теперь настолько слаб, что жена ему прямо заявила: «Давно умирать тебе пора».

В этой связи Софья вспомнила, что муж говорил детям: «Нам, порой, кажется, что блинчики с вареньем — самое скромное кушанье, это

происходит из-за того, что мы не догадываемся о том, что иметь это кушанье подобно тому, что выиграть двести тысяч рублей». А сколько стоит теперь ее любовь к мужу? Она надеялась, что дорого, а потому верила, что все образуется, и муж не останется в Ясной Поляне. Ведь, как он не раз повторял, ее любовь больше всего радовала его.

Эта любовь побудила мужа отправиться в Москву, чтобы узнать условия поступления Илюши и Лёвы в казенную гимназию у Пречистенских ворот. Оказалось, что для этого необходимо подписать бумагу, что дети не будут принадлежать ни какому опасному обществу во время своего обучения. Отец наотрез отказался подписывать это требование и решил определить детей в самую лучшую частную гимназию, имевшую очень хорошую репутацию. Лёвочка переговорил с Львом Ивановичем Поливановым, директором гимназии, и отдал Илью в пятый, а Лёву в третий классы.

Темп московской жизни, конечно, был совсем иным. Софья, словно «вертящаяся мельница кружилась для какой-то неопределенной цели» в водовороте быстроменяющихся событий, больших и малых. 31 октября 1881 года она благополучно разродилась сыном Алешей.

В одном из самых престижных районов Москвы, в Денежном переулке, они подыскивали неплохую квартиру в доме князя Волконского. Но выяснилось, что дом, в котором Софья стала с большим рвением и желанием свивать свое гнездо, оказался «трухлявым», «карточным», в него проникал городской шум, от которого нигде не было покоя: ни в спальне, ни в кабинете. Ей приходилось ходить чуть ли не на цыпочках. Вскоре состоялось объяснение с мужем. После этого разговора Софья «ходила, как шальная, все в голове перепуталось, здоровье очень дурно стало». Ее точно чем-то «пришибли».

Муж был в шоке от роскошных ковров на лестнице, от дорогой суконной обивки полов, от барских обедов из пяти блюд, от буржуазных привычек, например, прислуживавших за столом лакеев во фраках, в белых галстуках и перчатках, от сытых кучеров, от гастрономических магазинов, от блеска театров, от праздной московской жизни, наполненной пустомельем и надоедливой суетой. Выслушав претензии мужа, Софья проплакала две недели, боялась, как бы с ума не сойти. Лёвочка впал в уныние, перестал спать и есть, находился в состоянии «отчаянной» апатии и принял решение отправиться в Тверскую губернию, чтобы повидаться с братьями Бакуниными в их земско — либеральном обществе, пообщаться с Василием Сютеевым, раскольником — христианином. После возвращения решил перебраться во флигель, где «нанял» себе две маленькие «тихие»

комнатки за шесть рублей серебром в месяц. Как показалось Софье, благодаря этому компромиссному решению перебраться в флигель тоска мужа понемногу улеглась. Теперь он ходил на Девичье поле пилить и колоть дрова с мужиками.

А Софья пробовала подкупить кое-что подешевле и осталась очень довольна своими приобретениями: посудой, лампами и обоями. Приходилось не раз ездить на Сухаревку, где торговля шла только по воскресеньям. Она никогда никому не доверяла делать покупки, потому что эта вещь «очень серьезная», требовавшая особого подхода. Постепенно она совсем обустроилась. Ей помогал брат Саша, он прислал нужную ткань для обивки тахты, из которой ей удалось выгадать еще и обивку для двух табуретов, не забыла она и про красную, эффектную салфетку, кем-то привезенную с Кавказа, потом еще успела заказать несколько табуретов.

Этот период своего пребывания в Москве, когда она заново становилась москвичкой, Софья запомнила надолго. Казалось, она даже думать отвыкла, потому что для этого не было никакой возможности. Дети постоянно рвали ее на части, кормление их было для нее сущим адом. К тому же в доме часто бывали гости — литераторы, живописцы, представители *grand monde* и даже нигилисты. Софья понимала, что невозможно жить идеально. Волей — неволей придется отклоняться от цели. Поэтому она приучила себя довольствоваться чем-то средним. Что и говорить, Москва стоила ей «десяти лет жизни».

После последних родов Софья совсем мало спала, у нее непрестанно болела спина. Алеша не давал ей отдохнуть, часто капризничал. А надо было общаться, например, с золовкой Машей, ее дочерью Леной, угощать их блинами, выслушивать дядю Костю с его, надоевшими ей, светскими наставлениями, успокаивать кричавших малышей, управляться со старшими детьми, пристававшими к ней кто с чем, а Андрюша с просьбой: «Возьми куда-нибудь». Вот и пришлось ей ехать с ним в балаган, чтобы посмотреть кукольное представление, которым ребенок остался очень доволен. А старшие дети уже собирались в Малый театр, она же с малышами пила чай. Потом снова цирк, затем поездка в Оперу — сплошной сумбур. В пятницу визит к Оболенским, в субботу танцы у Олсуфьевых. Кому-то нужны платья, кому-то башмаки, кому-то еще что-нибудь. У Софьи от всего этого стоял спазм в горле и в груди, словно она подавилась словами. А, впрочем, зачем ей слова? Все равно ей не с кем поделиться. Ведь она сама выбрала себе такую жизнь, не согласившись с желанием мужа переустроить их семью. Она не желала пускать своих детей по миру без состояния. Сама была готова разделить с мужем его взгляды,

преклоняясь перед его художественным гением, но свой долг она видела только в жизни для детей, а поэтому снова привыкала к Москве.

Выбор был сделан. Жизнь с мужем пошла врозь. Когда-то она была очень молодой и счастливой, жила ради мужа и своей любви к нему. Спустя двадцать лет она поняла, что одинока, и стала оплакивать свою любовь. Это случилось, когда он впервые убежал от нее, заночевав в своем кабинете. Перед этим они поссорились из-за каких-то пустяков, из-за шитья детской курточки. Но ссора конечно же была просто поводом. Причина крылась в отходе мужа от семьи. Он признался ей в своем тайном желании уйти из дома. Этим признанием он словно вырвал ей сердце. Теперь она жила без него. В это время был болен тифом Илюша, и она давала ему хинин. Софья не ложилась на брошенную мужем постель. Часы проббили четыре раза, и она успела загадать под их тревожный бой: придет — не придет. Муж не пришел. Спустя сутки они помирились, долго проплакав. Софья поверила в чудо, в то, что их любовь не умерла, как не умерла она сама, долго просидевшая перед этим в ледяной воде с кроткой надеждой — мольбой о своей смерти. Нет, не простудилась, выжила, пришла домой и стала кормить своего улыбчивого малыша Алешу, потом Андрюшу приучала к гувернантке — англичанке.

Весной 1882 года Лёвочка продолжал, не уставая, критиковать московскую жизнь на все лады. Он заявлял, что Москва — «зараженная клоака». Это заставило Софью, наконец, согласиться с мужем больше сюда не приезжать. Каково же было ее удивление, когда она случайно узнала, что он ищет по всей Москве подходящий дом с садом для их семьи. «Вот и пойми здесь что-нибудь самый мудрый философ!» — вздыхала озадаченная жена. После долгих поисков выбор остановился на одном из домов в Долго — Хамовническом переулке, в районе Девичьего поля. Дом принадлежал купцу И. А. Арнаутову. О его продаже Лёвочка случайно узнал от своего знакомого М. П. Щепкина, который прочел об этом в одной из газет.

Дом был деревянным и очень даже симпатичным. За домом был сад с темными аллеями, живописными кустарниками, высоким курганом посередине. Если на него подняться по извилистой тропинке, то можно было увидеть парк графов Олсуфьевых. Муж осмотрел все это самым тщательным образом, хотя было темно, и хозяева отговаривали делать это.

Именно майский сад, большой и тенистый, в котором «было густо, как в тайге», произвел очень сильное впечатление на покупателя, одетого в поношенное пальто и порыжелую шляпу. В этом саду «роз было больше, чем в садах Гафиза», а еще — бездна клубники, крыжовника, малины и барбариса, море яблонь вперемежку со сливами и вишнями. Одним словом,

райский уголок, случайно затерявшийся в московском столпотворении. Мужа не смутило даже то, что рядом с домом находились две фабрики — одна, принадлежавшая братьям Жиро, занималась производством шелка, а другая — пивоварением.

Лёвочка приходил сюда еще не раз, сопровождаемый то ею, то сыновьями, чтобы получше осмотреть сам дом, который к тому времени простоял почти восемьдесят лет, уцелев даже в период московского пожара 1812 года. Дом был одноэтажный, с полуэтажными антресолями наверху. Муж насчитал шестнадцать комнат, десять из которых находились на первом этаже, а шесть — в антресолях. Все комнаты нижнего этажа оказались просторными и с высокими потолками, почти в шесть аршин, а верхнего — конечно, крошечными по размеру. Во дворе был еще небольшой флигелек в шесть комнат. К концу мая муж четко определился с покупкой дома, о чем писал Софье, делясь своими замыслами по поводу перестройки особняка, которая касалась в основном антресолей, где надо было поднять потолки и из шести комнат сделать три. Одна из них отводилась под Лёвочкин кабинет, в ней было решено потолок не увеличивать.

С середины июля 1882 года Толстые стали законными владельцами «арнаутовки». Муж уступил жене, пожелал увидеть только одно хорошее в московской жизни. Он был доволен своей покупкой, которая представляла собой не просто дом, а целую городскую усадьбу.

Обо всех плюсах и минусах «арнаутовки» Софья узнавала из подробных писем мужа, например, о том, что единственным здесь источником воды был колодец, из которого вода накачивалась с помощью насоса. Воду можно было привозить в дом в большой бочке или таскать в бадьях на коромысле, а зимой возить на санках. У нее голова пошла кругом, когда она представила, как много понадобится перевозить и переносить воды для мытья полов, посуды и других нужд. Например, для лошадей и коров, часть которых ещё только предстояло перевезти из Ясной Поляны в Москву. Что и говорить, большое хозяйство, нуждавшееся в огромном количестве воды. Сколько же раз в день дворнику придется накачивать и развозить воду по «арнаутке»?! А как долго продлится ремонт нижнего этажа и перестройка первого? Ведь потребуется переложить все печи, оштукатурить стены дома, поправить лестницы, настелить паркет, заменить старые водосточные трубы и все желоба, на окнах сделать форточки, расчистить подвалы и сторожку. Во сколько рублей обойдется семье весь этот капитальный ремонт? Точного расчета ни муж, ни она произвести не могли, но прекрасно знали, что уплаченные Арнаутову 27 тысяч рублей еще

не окончательная сумма, ведь теперь потребуется немало денег для восстановления всей хамовнической усадьбы. На ремонт и реконструкцию было потрачено еще десять тысяч рублей.

Софья понимала, что забот у мужа полон рот, и она, как могла, все время его подбадривала, хвалила за то, что он догадался купить мебель из красного дерева для гостиной у бывшего хозяина дома, за то, что он с головой ушел в строительную эпопею, связанную с новой покупкой, и делал это с поразительной энергией, за двоих — и за себя, и за нее. Но, самое главное, она была ему благодарна за то, что они заметно сблизились за последнее время. Теперь их жизнь шла не врозь, а вместе. Софье нравилось, как муж горячо хлопотал о их доме: так скорее к нему привыкнет, думалось ей. Она была рада, что основные хозяйственные хлопоты взял на себя Лёвочка, а не она. Софья просила мужа лишь об одном, чтобы он не ослабел, не потерял свой рабочий запал и помогал ей и после окончания ремонта. Только так она сможет впредь не быть злой.

Теперь Софью смущали сроки ремонта, которые, как ей казалось, уж слишком затянулись из-за того, что одна работа портила другую. Так, маляры истоптали паркет, который только что был настелен. А побелка потолков испортила не только полы, но и стены с обоями. Она понимала, что слишком торопится встретить новоселье. Еще осталось много нерешенных проблем. Муж нанял архитектора, от которого было мало толка, зато пропасть недоделок. Так, вид парадной лестницы получился плачевным, она была вся забита досками, в детской до сих пор не были переклеены обои, полы не просохли, а в передней они не были перетянуты сукном.

Конечно, Софья пришла в «злобный ужас», когда узнала о красивых лестничных перилах, но при этом таких, что ребенок мог легко пролезть между балясинами. Она тотчас же потребовала поменять эти балясины, ни в коей мере не оставляя их «редкими», иначе она не сможет быть спокойной, все время думая о том, что дети упадут. В противном случае она сама на глазах у архитектора заколотит ненавистные балясины досками и, таким образом, осрамит его. А архитектор тем временем просил у Льва Николаевича еще денег.

Лёвочка срочно послал слугу Сергея Арбузова за архитектором, чтобы тот прислал как можно больше паркетчиков. Хотел, чтобы работа продвинулась побыстрее и семья поскорее зажила в доме. Правда, он «робел» перед женой за дом, за неурядицы в нем, но так мечтал «поразить» ее своим благоустройством нового жилища, что был уверен, что к ее приезду здесь будет «тепло и сухо». Но Софью интересовали не только

практические дела с «паркетами и клозетами». Гораздо больше ее волновало внутреннее состояние мужа, «настроение» его духа: что у него на душе, не «одеревенела» ли она совсем?

Тем временем ремонт и реконструкция дома были завершены. 8 октября 1882 года Софья с детьми отправились в свою московскую усадьбу, где их ждал Лёвочка, уставший, но довольный плодами своего труда. Она торопилась с поездкой, нервничала, волновалась. До Козловки добралась вместе с детьми на соседском «ковчеге», потом они вовремя пересели на поезд, а в Туле их уже поджидал князь Урусов с «пропастью» конфет и пряников. Так, очень хорошо, «без суеты и сверканья пяток» они добрались до Москвы, а потом и до своей «арнаутовки», встретившей их яркими огнями. Дальше — больше: «обед накрыт», на столе — вазы с фруктами. Муж все устроил здесь как нельзя лучше.

Лёвочка предложил осмотреть весь дом, сначала показал нижние комнаты: столовую, угловую, спальню, детскую, классную, комнату сыновей, комнаты Тани и Маши и еще три другие комнаты — переднюю, девичью и буфетную. Экскурсия сопровождалась бесконечным оханьем и аханьем «экскурсантов», которые восклицали: какой чудесный дом, нет никаких изъянов в нем! Слышался неудержимый *animal spirits* (дикий восторг. — Н. Н.). Затем все большое семейство дружно поднялось наверх, где сияла зала, в которой пожелала бы станцевать сама Анна Аркадьевна Каренина! Потом осмотрели большую и малую гостиные, кабинет папа, а также заглянули в комнату экономки и камердинера. Впечатление от дома у всех было великолепным — светло, просторно, все продумано до мелочей, все сделано с толком и с любовью.

Казалось бы, такие проблемы, как сходить на Сухаревку, чтобы купить дочери ширму, как накормить сына «Дрюшу» (Андрея. — Н. Н.), как переделать балясины, как преобразить старый фасад дома и сделать его «кремовым с зелеными ставнями», как добиться того, чтобы паркет был с черными жилками, то есть с шиком, чтобы печи хорошо топились, чтобы дворник справлялся со своей работой исправно, как купить пролетку со сбруей не за пятьсот, а за 400 рублей, как перевозить зеркала, «на руках» или на перевозочной карете и т. д., уже остались позади. Тем не менее что-то еще надо было доделать, например подвалы, которые почти сопрели и завалились, а ведь они были так нужны для хранения запасов, привозимых из Ясной Поляны, — яблок и овощей, бочек с кислой капустой, с солеными огурцами, банок с вареньем, а еще было необходимо приготовить «сенник» для малыша Алеши, договориться с Суриковым об уроках для Тани и что-то еще другое. Думая обо всем этом, Софья

приходила к выводу, что «сгорает» уже не только она, а оба. Ее жизнь протекала теперь с ним вместе и не казалась ей больше «хаосом труда, суеты, отсутствия мысли, здоровья и времени». Теперь она каялась перед мужем и обещала больше не быть злой.

Жизнь потихоньку налаживалась, наступило будничное затишье, и все принялись за свои дела: кто-то спешил на университетские занятия, кто-то в Школу живописи, ваяния и зодчества, кто-то подыскивал натурщика для этюдов, кто-то сидел с младшими детьми, кто-то капризничал, кто-то ленился, а кто-то взялся за изучение древнееврейского языка. Софья не скрывала своего неудовольствия по поводу очередного мужниного увлечения, видела в этом пустую трату времени и сил. А Лёвочка между тем с наслаждением исполнял все рекомендации раввина Соломона Минора. Правда, порой вносил свои корректировки, например, читал только то, что было ему интересно, а остальное пропускал, а когда дошел до Исаяи, до его мысли, что «мир движем только любовью», обучение вдруг резко прекратил. Только полчаса, как заметила Софья, Лёвочка тратил на учебу, а остальное время проводил в дискуссиях с «очень хорошим», как он говорил, Минором. Понял ли муж, занимаясь с раввином, преимущества своей городской жизни, подумал ли о том, что в Ясной Поляне это вряд ли было бы возможно? Сама она, конечно, была рада за него, что он находился в таком бодром состоянии духа. Однако его головные боли она объясняла тем, что он слишком переусердствовал в изучении древнееврейского языка. Но не все же время ему заниматься «паркетами и клозетами»!

Однажды в столовой Софья пила кофе вместе с мужем и почтенным раввином, и тот сказал: «А я не знал, что вы женаты уже второй раз». Лёвочка ответил ему, что женат в первый и в последний раз. Неужели графиня — мать этих детей? Он указал на Сергея и Таню. Софья уже давно подметила, что муж не любил разговоров о ее молодости. Вскоре он забросил изучение древнееврейского языка, нашел это занятие малоинтересным, не то что изучение древнегреческого.

Муж теперь стал «спокойнее и добрее», писал о христианстве, правда, был нервный, его здоровье было не в лучшей поре. Тем не менее он с удовольствием играл в винт. Супруги были «очень дружны», позволив себе лишь один раз «поспорить». Жена мечтала о том, чтобы так продолжалось как можно дольше и чтобы муж писал в прежнем духе. Их двадцатилетняя совместная супружеская жизнь была похожа на полноводную реку, на глади которой возникали следы — узоры хороших и плохих дел. Задача семьи заключалась как раз в том, чтобы оставить как можно больше хороших

узор — следов.

Теперешний узор только начатой московской жизни состоял из повседневной пыли: Миша постоянно капризничал, ругался с «Дрюшей», который постоянно бегал к маме жаловаться на младшего брата, а Софья сказала, что Миша пока «мелкая птица». Дочь Таня, постоянно нянчившая братьев, была в ужасе от этой реплики матери, но легко сменила гнев на милость, когда стала мерить платья, которые ей привезли из Парижа к новому, 1883 году. Жизнь продолжалась. Дети то радовали родителей, то огорчали их. Но заботы о них не ослабевали никогда. Софья была благодарна мужу, когда он просил Таню помогать ей, а Илью — смотреть на охоту как на праздник и угощение, но не как на обычное дело.

Глава XVIII. «Тысячи мелочей»

С переездом в «арнаутовку» жизнь Софьи возвращалась на круги своя. После двадцатилетней разлуки она снова вернулась в свою родную городскую среду, словно надела удобное платье, в котором ей легко дышалось. Деревенская атмосфера для нее так и осталась чужой, не стала родной. За это время Софья успела понять, что все в ее жизни не случайно, а промыслительно, и теперь она старалась более покорно относиться к реальностям своего теперешнего мира, не посягая только на высшее служение судьбе. Она искала компромиссы, чтобы как-то облегчить свою душевную измученность, вызванную постоянными страхами новой беременности. Успокаивало только одно, что она по — прежнему желанна и страстно любима мужем. Однако с годами в ней все больше просыпалась жажда личной, пусть и маленькой, жизни, воодушевляемой спокойной, нежной, ласковой любовью. Ей казалось, что только так она могла бы справляться с той «тысячью мелочей», в водовороте которых она постоянно себя ощущала.

Софья упорно стряхивала с себя пылинки надоедливой повседневности, и это у нее довольно хорошо получалось. Честно говоря, она была не в восторге от их теперешнего жилища, расположенного почти на краю города, в таком не респектабельном районе Москвы. «Арнаутовка» ей больше напоминала деревенскую усадьбу, нежели городскую. Деревянный дом был полным слепком своих прежних бездетных владельцев, довольствовавшихся разведением огромного количества собак. Особняк казался ей непрезентабельным, изношенным, с полугнилыми чердаками, и как ей представлялось сначала, совсем не пригодным для жилья. Но Лёвочка был убежден, что роскошь излишня для нормальной жизни. Она не просто не нужна, жить в ней грешно. Из-за этого фасад дома оказался испорченным, потому что муж решил не надстраивать две верхние комнаты — свою и Машину, как сделал это, например, в гостиной. Тем не менее Софья решила быть более дипломатичной, держалась в стороне, подумав: пусть будет как оно есть. Конечно, многое в этой истории с домом было ей не по нраву, но она сумела извлечь урок из своей прежней жизни, особенно после своей отчаянной попытки броситься под колеса идущего поезда. Как-то она сильно поссорилась с Лёвочкой, убежала из дома, решив умереть, покинуть этот несправедливый мир. Вдруг, словно из-под земли, перед ней вырос Александр Михайлович Кузминский, муж сестры Тани, со

словами: «Куда ты, Соня, собралась, что с тобой?» Как выяснилось, Саша совершенно случайно оказался в этом месте. Он должен был идти по другой дороге, но пошел по этой, ближайшей к Козловке, из-за того, что на него напали летучие муравьи. После этого случая Софья более терпимо относилась к тому, что портило и ломало ее жизнь, видя во всем волю Божию.

За эти годы она научилась радоваться мелочам. Поэтому, проходя по комнатам московского дома, прислушивалась к звукам своих шагов, радуясь тому, что они не так громко разносятся, как в прежней их квартире в Денежном переулке. Обои в угловой комнате казались ей уж очень яркими, а в столовой — чрезмерно темными. Сюда с улиц не доносился шум экипажей. Теперь муж больше не упрекал ее покупкой дорогих вещей, например, стульев по 32 рубля за каждый, на эти деньги мужик мог купить себе корову или лошадь. Но, самое главное, она не ходила, как «шальная», по дому, что случалось во время их жизни в Денежном переулке. Жизнь возвращалась в свое прежнее русло, и Софья озаботилась тем, где в доме разместить привезенные ею из Ясной Поляны вещи — сундуки, рояль, а также многочисленные банки с соленьями и вареньями, мешки с мукой, овсом и прочим.

Она прекрасно понимала, что для ее чудных малышей деревенская жизнь на свежем воздухе была подобна райской. Не только для них, но и для ее старших девочек, которые с большим удовольствием ездили верхом в Ясной Поляне и даже обучили и приучили к этому любимому занятию свою «рыжую» гувернантку — англичанку. Атмосферой молодой веселости заразилась и она, с радостью гарцевавшая на лошади. Но и здесь детям было где порезвиться: летом на кургане, а зимой на катке. Они с нетерпением ждали наступления зимы, когда во дворе зальют каток, а если нет, то можно было отправиться с матерью на Патриаршие пруды, куда ездили все барышни и мальчики. Катание на коньках взбадривало Софью, она могла, например, кататься с Лёлей чуть ли не по три часа! Публика, окружавшая каток, недоумевала, глядя на нее: как это возможно, чтобы мать восьмерых детей летала по льду, словно семнадцатилетняя девочка?!

Софья привыкала к московскому дому, который должен был на долгие годы стать ее крепостью, и на многое закрывала глаза. Верхние комнаты еще не были полностью отделаны, хотя все было убрано, меблировано, блестело чистотой и новизной, но муж не обо всем подумал. Так, бедному повару не нашлось места для ночлега, поэтому его временно поселили на кухне, он спал на досках между окном и плитой. Софья убеждала себя, что все не так уж плохо, но принимать гостей воздерживалась, да и сама

решила пока никуда не выезжать, а потому по — прежнему целыми днями шила и учила детей.

Тем не менее она понимала, что ей придется заново учиться жить городской жизнью. Но не только это. Она должна привыкать к своему новому статусу — матери дочери — невесты. Софья многого не понимала в своей новой роли, что так, а что не так она делает, готовя Таню к запланированным выездам. Деньги уходили с невероятной быстротой и казалось, что этот поток было невозможно остановить. Немалых затрат стоили бальные туалеты дочери, привозимые для нее из Парижа. Но, как в таких случаях говорил мудрый Фетушка (А. А. Фет. — Н. Н.), «сочинить» другой жены, чем Софья, для Лёвочки было просто невозможно. Следовало только терпеть, а заодно и удивляться вместе с Дмитрием Дьяковым тому, что ее муж за свою супружескую жизнь умудрился ни разу ей не изменить. Что ж, честь и хвала Софье! Может быть, прав был все тот же Фет, как-то заметивший, что человек, всю жизнь жевавший жесткий колючий репейник, после этого особенно ценит аромат пышной розы. Разве можно после розы снова возвращаться к репейнику?

Сама же Софья воспринимала себя скорее как крепкий орешек. Она по — прежнему несла на своих хрупких плечах всю тяжесть семейной жизни. Ее постоянно тревожили детские болезни. У малыша Алеши стали резаться зубки, поднялась температура, начались жар и рвота. Она так испугалась за ребенка, что подумала о самом страшном, о воспалении мозга. День и ночь Софья находилась рядом с сыном, который не выпускал из своего ротика ее грудь — настолько его мучила жажда. Ей казалось, что ребенок умирает, но, слава богу, все обошлось, и Алеша выздоровел. Однако мысль о том, что этот малыш не жилец, ее больше никогда не покидала. Радость и печаль были, словно два плеча одного коромысла, непременно сопровождая друг друга.

Софья от души радовалась университетским успехам сына Сережи, предпочитавшего пустым светским удовольствиям занятия науками, особенно химией. Она гордилась своим первенцем, ценила его «деликатную» душу, стиль его жизни. Но радость сменилась печалью: заболела Таня, она вся горела, и Софья постоянно растирала дочь уксусом, боясь, что та заразилась тифом. К счастью, ее опасения не оправдались, и Таня быстро пошла на поправку благодаря заботливому материнскому уходу. Но тут Лёвочка стал мучиться страшными головными болями. Доктор Захарьин рекомендовал пациенту покой, для соблюдения которого советовал ему играть в карты. Следуя предписаниям доктора, Софья была вынуждена играть с мужем в ненавистный ей винт. Можно сказать, что она

жертвовала собой уже по привычке. Ведь сколько раз ей приходилось кормить то одного, то другого своего ребенка с «адским терпением» и страхом, что «сосцы отвалятся». Не поэтому ли ее «железная натура» так часто теперь давала сбой? Софья мучилась постоянными болями то в правом боку, то под ложечкой, то еще где-нибудь. А однажды врач Белин, обследовав ее, произнес: рак желудка. Она выслушала диагноз как приговор, но у нее хватило ума проконсультироваться у доктора Чиркова, обнаружившего у нее банальную желтуху.

Софья была довольна тем, что с переездом в Москву завершилась, как ей казалось, мужнина «робинзонада», продолжавшаяся все то время, как он поселился во флигеле вместе со слугой Сергеем Арбузовым. В этот период Лёвочка ел исключительно щи и каши, приготовленные слугой на скорую руку. Однажды ему захотелось отведать вареной говядины, к которой требовался хрен. Терки под рукой не оказалось. Вместо того чтобы послать за ней и купить за пять копеек, муж предпочел совсем иной, довольно экстравагантный выход из этого положения. Он изготовил терку сам из куска кровельного железа, а дырки пробил гвоздем: дешево и сердито. Лёвочка был в восторге от своей остроумной идеи, с удовольствием рассказывая о ней жене. Она же усмотрела в этом мелочность, которую замечала в нем не раз, особенно в его писательских делах, когда он поступал с бумагой как «распроплюшкин», экономя ее до невозможности: отрывал кусочки бумаги от полученных им писем и затем использовал их для писания. Подобные «практичные» выходки очень «развлекали» самого Лёвочку, но Софье подобная мужнина «экономия» представлялась чудовищной, особенно после того, как она увидела своих сильно похудевших детей, возвратившихся с летних вакансий из самарских степей. Она принялась откармливать детвору домашней, вкусной и сытной пищей, надеясь, что после этой полосы наступит более удачная.

Вернувшись из самарских степей, Лёвочка наконец-то закрыл свою «восточную» тему навсегда. Он был рад только одному, что когда-то купленная им земля потом достанется его детям. В степях, помимо чтения Библии, он занимался вполне земными делами: продавал породистых лошадей, сьедавших чрезмерное количество сена, сдавал землю в аренду, поделив ее на пять участков и оценив каждую десятину в один рубль 30 копеек. Он сам измерил землю, чтобы не платить 300 рублей землемеру. Продал скот, лошадей, строения за десять тысяч рублей, а за сдачу земли в аренду получил восемь тысяч. В общем, наконец-то «развязал» эту «путаницу», которую сам и затеял. Давно было пора это сделать.

А Софья в это время просиживала дни за шитьем, за чтением Сенеки,

обучала «Дрюшу», а вечерами размышляла о том, что она с каждым днем приближается к смерти. Дни пролетали, а ухватиться, как она считала, было не за что. Раньше она, не задумываясь, исполняла свои женские обязанности, была спокойна за то, что все делала более или менее правильно. А теперь находилась в растерянности. Опять пребывала в страхе — а вдруг она снова беременна? Из-за этих опасений на нее нападала апатия, которая, как ей казалось, «убила бы и не такую сучку». Муж, правда, был с ней в это время очень нежен, но она больше не доверяла ему. Софья мечтала о любви не страстной, а спокойной. А Лёвочка частенько пребывал «ночью в сладострастном соблазне». Он считал, что жена старательно убивала его любовь. Она же была убеждена, что страсть закончилась, теперь началась привычка, за которой на самом деле скрывается холодность. Софья стала «портиться», не была уже больше «воском», из которого мужу можно было «лепить» все, что хотелось, превратилась в эгоистку. Это дурное настроение она объясняла болью в спине. Ей хотелось рисовать вместе с дочерью Таней, но ее ждали «тысячи хлопот»: починка колодцев, чистка клозетов, болезни малышей, покупка башмаков, увольнение англичанки за то, что та клала к себе в постель Мишу, и поиск новой гувернантки, порядочной и хорошей, покупка рояля «Беккер» для Сережи за 700 рублей, поиск для Илюши хорошего хирурга, выезды в свет с Таней, отправка в Москву саженцев дубков из яснополянского Чепыжа и т. д. В общем, дни стремительно сменяли друг друга, превращая жизнь в какой-то краткий миг.

Вслед за ними переехал в Москву и деверь Сергей со своей семьей. Теперь они ходили друг к другу в гости, устраивали совместные танцклассы, а для старших детей — уроки рисования гипсовых фигур по вечерам. Но Софья всегда чувствовала что-то неладное в семье деверя, не клеилась его жизнь с цыганкой. Однако старалась не углубляться в это, а предпочитала больше заниматься с детьми. Особенно ей полюбились занятия, проводимые милейшим Ильей Михайловичем Прянишниковым. Софья с удовольствием рисовала вместе с детьми — дочкой Таней, а также с племянницами мужа Верой и Леночкой.

Однажды Софья познакомилась со своей полной тезкой, графиней С. А. Толстой, вдовой поэта А. К. Толстого, а заодно и с ее племянницей Хитрово, объектом обожания Владимира Соловьева. Обе дамы играли с ней в простоту и очень не понравились Софье этой игрой, пришлось «не ко двору». В этой связи она вспомнила рассказ Тургенева о своей тезке. Как-то Иван Сергеевич отправился в маскарад, на котором был заинтригован и очарован одной маской, стройной, с ангельским голосом и к тому же очень

умной. Назначив ему свидание, маска бесследно упорхнула. Снова повстречавшись с этой загадочной маской, Тургенев почти влюбился в нее, умолял открыться ему. Долго промучив писателя, она наконец согласилась и пригласила его в гости. Иван Сергеевич был очарован тонким вкусом хозяйки дома и тем изяществом, с которым было обставлено ее жилье. Вскоре маска открылась, и наступил момент истины. Вместо ангелоподобной красоты перед влюбленным предстал «чухонский солдат в юбке»! Боль разочарования была необъяснимой. Перед Тургеневым стояла некрасивая, рыжеволосая дама с большой головой. Но эта женщина поражала своим изощренным умом и обворожительным голосом, она прекрасно пела. Как же не похожи оказались друг на друга две абсолютные тезки! Софья была совсем другая — очень живая, впечатлительная, любившая покой, но еще больше обожавшая своих детей, ничтожно мало жившая своей жизнью. Ей было не по пути с этой светской львицей, и она предпочла больше никогда с ней не встречаться.

Тем не менее встреча со своей светской тезкой все-таки не была случайной для Софьи. Судьба постоянно руководила ее замыслами, не забывая что-то исправить в них, проявив при этом особую милость и доброту. Фортуне было угодно испытать свою подопечную соблазнами светской жизни, но она же позволила ей благополучно вырваться из этих цепких объятий, не погибнуть в них. Знакомство с вдовой поэта позволило Софье еще раз задуматься о том, как мало она знает себя и на что способна. Так, например, она не представляла своих возможностей, если бы оказалась «среди шумного бала». Ведь она так долго жила мужниными представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Свое естество Софья познавала Лёвочкиным умом, видела себя его глазами. А ей так хотелось узнать истинную цену себе, освободившись от полного «захвата» ее жизни им. Ей хотелось быть больше, чем *la femme de menage* (образцовая хозяйка дома. — **Н. Н.**) или грациознее, чем *la femme du foyer* (женщина домашнего очага. — **Н. Н.**). Ведь в ней царила женщина во всем блеске соблазнов. Она была хороша собой, удивительно моложава, к тому же жена большой знаменитости. Все это вместе взятое не могло не приковывать к ней всеобщего внимания. К тому же подросла старшая дочь Таня, которую надо было вывозить в свет. Живя в Москве, Софья не могла уже довольствоваться неспешными разговорами, протекавшими в их доме под звуки шипящего самовара. Пусть этим восхищается Афанасий Фет, на то он и поэт, которому, по его собственному признанию, не было нужды в посещении театров, концертов или вечеров. Этим пустым затеям он предпочитал времяпрепровождение в их замечательном доме, «где вечно

стоит самовар и сидит милая хозяйка». Что ж, самовар, действительно, важный атрибут домашнего уюта, но для Софьи недостаточный. Ее душа требовала большего, жаждала самовыражения, ведь она столько лет томилась, была лишена многих женских радостей, например гранд — кокетства, в котором и проявляется смелость ума. В общем, Софье надоел и опостылел ее пуританский, слишком аскетичный образ жизни, в котором царила тишина, напоминавшая тишину монастыря. Лёвочка, словно «замерз», был наедине со своими мыслями, а чужим не предписывал никакой ценности. Умудрился даже поссориться с умнейшей Александрин Толстой, не так давно побывавшей у них в гостях.

Софья, как бы невзначай, вспоминала о своей жизни, о своих немудреных желаниях, например самой принимать гостей, среди которых встречались разные: и умные, и скучные, и любезные, и чопорные. Перед тем как устраивать журфики, она проконсультировалась по этому вопросу у своего дяди Кости, который был большим знатоком бонтона, специалистом по всевозможным светским штучкам, касавшимся такой тонкой материи, как этикет. Софья получила от него много полезных советов: какие печенья и тартинки следует подавать к столу, как накрывать стол в зале, в котором в это время должны находиться солидные гости, а где надо размещать молодежь. Она потихоньку осваивала роль хозяйки салона, прекрасно сознавая, что ей еще очень далеко до Анны Павловны Шерер. Но она постигала это искусство, казавшееся ей таким мудреным. Этот приемный день бывал для Софьи крайне тягостным, ведь ей приходилось часами сидеть за чайным столом с «глупым» лицом. Сама удивлялась, как могла она поддаться этой «заразе обычая», такой глупой традиции света. В такие минуты она жалела себя, но особенно грустила по растратченному зря времени. Зато теперь довольно легко справлялась со всеми формальностями светского этикета, которыми раньше пренебрегала за ненадобностью. Лёвочка конечно же дистанцировался от приемов, в редких случаях позволяя себе заглянуть в гостиную.

Без сомнения, она уставала от светских развлечений, утомлялась ими, тем не менее стала принимать визитеров не только по четвергам, но и по воскресным дням. Целые толпы гостей, родственников и знакомых наполняли гостиную и залу их дома. Чаше всего у них бывала чета Фетов, а Мария Петровна, жена поэта, даже принимала самое активное участие в их светской жизни, давала советы, как нарядить Таню, чтобы она выглядела еще эффектнее, восхищалась ее красотой, а заодно и бельежурчиками на ее платье. Еще больше она восторгалась Софьей, представавшей перед ней в роскошном шелковом платье в серебристой гамме, которая так шла ей к

лицу, с «белыми блондами и чайными розами». Каждый раз, слыша в свой адрес восхищенное щебетание, Софья мечтала о том, чтобы это услышал ее любимый муж.

Об охоте пуще неволи Софья теперь знала уже не понаслышке. Она постоянно разрывалась между «хочу» и «надо», пока сохраняя паритет. После того как она привела всех в неописуемый восторг своим царственным появлением на первом балу, с оркестром, ужином, самым изысканным московским обществом, Софья стала постоянно бывать и на других балах, на которых познакомилась с бывшей пассией мужа, графиней Уваровой, а также с Мансуровой, Оболенскими, всех не перечесать. Знакомых становилось все больше и больше, их список увеличивался не по дням, а по часам. Софья сразу приняла решение, как только соприкоснулась с светской жизнью, что не стоит ей первой делать визитов, а наносить только ответные. Все двери московского бомонда были открыты перед ней настежь. «Свет» приветствовал ее молодость, открытость, почтенные дамы пытались даже ей ласково патронировать, будучи очарованными ее светской неопытностью. Мужчины же держались с ней почтительно — корректно.

Софья запомнила 1883 год как время бесконечного безудержного веселья, легкого головокружения из-за комплиментов и сияющих взглядов мужчин и женщин. Она находилась в состоянии сильного возбуждения, вызванного ее светским успехом, которому содействовала давняя знакомая, милейшая Александра Павловна Самарина, которая очень хлопотала, чтобы ее протеже, мать с дочерью — Софья и Таня, получили приглашение на престижный тогда бал Щербатовых, открывшийся популярным вальсом и блестящим вальсированием самой хозяйки с достойным партнером. Эта немолодая, но по-прежнему грациозная дама вызвала подлинный восторг у всех его участников.

Приезжая на рассвете домой, Софья постепенно приходила в себя, избавляясь от «чада» веселья и упрекая себя за то, что в свои тридцать девять лет она стала выезжать в свет, вроде бы для того, чтобы радоваться успехам дочери, а на самом деле была движима самолюбованием и наслаждением от успехов в свете. Приходила мысль о том, что она делает что-то не то, но остановиться уже не могла, по — прежнему продолжая играть в винт, участвовать в умственных играх, вести светские разговоры, заказывать новые туалеты, слава богу, хватило ума не идти на коронацию императора Александра III, которая обошлась бы ей в три тысячи рублей. Что и говорить, светская жизнь очень сильно ударила по семейному бюджету. Они стали жить гораздо роскошнее, почти на широкую ногу.

Туалеты Софьи и Тани, регулярная организация вечеров обходились недешево. Трат стало гораздо больше, чем в их прежней яснополянской жизни. Одни только ее туалеты, по мужниным расчетам, могли обеспечить безбедный прожиточный минимум средней крестьянской семьи. Одно платье обходилось в 250 рублей, на которые можно было купить больше двадцати пяти хороших рысаков! Лёвочка возмущался тем, что бородатые кучера вынуждены были по несколько часов мерзнуть у подъездов в ожидании своих беспечных хозяев, он не мог спокойно смотреть на пролетавшие мимо него кареты, в которых сидели дамы с высокими прическами, закутанные в ротонды. Тягу жены к роскошной жизни муж расценил как «усталость» от семейных забот, как пленительную мечту о легкой жизни с романами, влюбленностями и украшениями. Он же был убежден в том, что свет — это «премерзкая куча грязи», в которую жена увлекает не только себя, но и несмышленных детей — подростков.

Софья была в чем-то согласна с мужем. Ей казалось, что теперь ее жизнь действительно стала очень сумбурной, «спутанной», «не кроткой». Супружеские нелады, безусловно, отражались на детях. Поэтому вслед за мамой они выбирали то, что им было приятно, — веселые танцевальные вечера с котильоном, которые устраивались в их доме, игру в винт и т. п. Такие вечера удавались всегда, о них вспоминали как о праздничных и радостных событиях. Совсем другое дело — учеба с классными дамами, визиты людей, подолгу разговаривавших о чем-то серьезном с папой. В это время дети уходили из дома, предпочитая развлекаться на стороне. Илья играл в винт, проигрывал деньги гораздо больше, чем «жалованье» в три рубля (тогда как слуги получали всего лишь на рубль больше), которое старшим детям платили родители, и приносил единицы за плохую успеваемость. Ему исполнилось 17 лет, бранить его было бесполезно, нужно было горячо просить, увещевать. Только после этого он становился на какое-то время благоразумным и прилежным. А Таня в этот период репетировала пьесу «Новички в любви» у Оболенских, и Софья ездила на одну из репетиций, чтобы знать, с кем дочь играла в пьесе, все ли там было прилично и хорошо. Таня теперь вся «ушла с ушами» в свой костюм. Только и говорила об этом. Писать письма папе в Ясную Поляну совсем не хотела, объясняя это тем, что в письме могла описать исключительно свой костюм.

Московская жизнь Софьи и ее старших детей теперь не имела ничего общего с яснополянской. Балы, гости, множество комплиментов, восторженных взоров, адресованных ей. Дух захватывало от такого внимания, и порой приходило осознание, что она «погибает». Но дух

веселья одерживал верх. Однако ее присутствие на балах отягощалось думами о своих малышах. Поэтому Софья не раз поручала Таню кому-нибудь из надежных «маменек», а сама устремлялась к Алеше. Приезжала ночью, хватала малыша, спускала на пол бальное платье, кормила грудью, снова спешно одевалась и неслась в карете из Хамовников на Тверскую, на бал, к Тане, у которой голова кружилась от успехов. Она так уставала от светского веселья, что даже два раза падала, танцуя мазурку. Но Софья по — прежнему была в восторге от дочери, ее обаяния, шарма, от внимания к ней кавалеров. Счастливая дочь, в роскошном белом гипюровом платье с белыми акациями, прекрасно танцевала со светским львом Григорием Ивановичем Ностицем. Все любовались Таней, которая так была весела, что конечно же не могла не заразить этим свою мама, одетую в изысканное черное платье, украшенное тончайшими кружевами, принадлежавшими матери мужа. Михаил Сухотин, увидевший ее, не смог удержаться от восторга: «Вот кого надо пригласить танцевать! Вы сегодня удивительны!» Софье было приятно это слышать.

Сквозь шум бала до нее доносились восклицания: «Вы поразительны!» Все это смешивалось с оханьями и аханьями, вызываемыми то ее внешностью, то туалетом, то прической, сотворенной у лучших парикмахеров Москвы.

Дома к Софье приходило отрезвление от светской пустоты. Балы отравляли ее душу, оставляя в голове невероятную сумятицу. После них она ходила по дому, а точнее, бродила, не зная, за что ей взяться. Ей хотелось снова вернуться на круги своя, к спокойной, тихой, размеренной жизни. Дети перестали слушаться, стали выходить из-под контроля. Лёля, например, пользуясь случаем, мог не пойти в гимназию, обмануть *madam*, сказав, что у него болит живот. *Madam* не верила, возникла проблема, и Софья отказалась потворствовать лжи сына. Только в своих малышах она, как и раньше, находила радость и отдохновение. А Таня ворчала и упрекала Софью, когда та не могла поехать вместе с ней в театр или в концерт.

Сезон балов и выездов по традиции начинался непременно с Екатерининского дня, то есть с 24 ноября. В этот день принимала у себя старая фрейлина Екатерина Петровна Ермолова. У нее обычно бывала вся Москва, и, конечно, Софья не могла пропустить такого случая и отправилась туда с Таней. А вечером избранное общество собиралось у другой знатной именинницы — княжны Салтыковой — Головкиной. Но в это время был траур по государю, поэтому торжество подразумевалось без танцев. Но внезапно, как бы шутя, за рояль сел генерал Ден и стал наигрывать вальс. Боже мой, какой сразу поднялся визг от восторга. Тотчас

же все закружились в вихре танца, поднялся праздничный шум, все плясали с безумным упоением. После Екатерининского дня начиналась балльная феерия до самого Великого поста. Порой Софья сбивалась со счета, на скольких балах она должна была побывать за это время: то у Орлова — Давыдова, то у Барманских, то у Тепловых, то у Оболенских, то у Боянус... Сплошные танцы попеременно со спектаклями... Таня была в тюлевом зеленом платье с бархатными темно — зелеными птичками и сама порхала по паркету словно пташка. Дирижировал граф Ностиц, и все танцевали до упаду, так, что даже музыканты не выдержали и отказались играть. Уже было позднее утро, когда все, наконец, разъехались по домам.

Софья совсем сбивалась с ног от такой жизни, а ее дочь просто сияла от счастья. Таня часто удостоивалась чести станцевать котильон с самим распорядителем бала в первой паре, что, конечно, не могло не вдохновлять мама. Но кавалеры все были так себе. По четвергам встречала гостей уже сама Софья. Садилась в гостиной как «дура» в ожидании визитеров. В это время сын Лёля юлил у окна, высматривал, кто из гостей подъехал к дому. После — чай, ром, сухарики, тартинки. Все едят и пьют с большим аппетитом. Тем временем праздничный темп нарастал, и Софья совсем падала от усталости. Таня должна была играть в двух пьесах, а еще предстоял детский вечер, на который было приглашено 70 человек. Только детей насчитывалось более сорока. Все будут танцевать. Она договорилась с тапером, который прибудет к ней на этот большой прием. А потом, побывав у графини Капнист на репетиции, она и Таня стали невольными участниками всеобщей пляски, бешеного веселья, в котором участвовало почти десять пар. Просто чудо какое-то! А после этого отправились к княжнам Оболенским, у которых также было очень весело. Как могла, Софья удерживала дочь всеми силами от лишних выездов, но у нее это плохо получалось. Перед постом они побывали на балу в Московском благородном собрании, где был представлен весь высший свет Первопрестольной, но Тане там было скучно.

Наконец наступил Великий пост, а вместе с ним в дом пришла тишина. Ведь порой за один только день Софья с дочерью успевали сделать до десяти визитов, а сами принять за вечер до тринадцати барышень и до одиннадцати молодых людей. Гостиная была полна «маменек». А Лёвочка в это время поучал Таню, что ей следует разбираться в людях. Так, говорил он, если молодой человек очень хорошо танцует мазурку, значит, он никуда не годится. Он мечтал выдать дочь замуж за человека конечно же выдающегося, но только не за светского льва. Но Таню в то время ничто не интересовало в жизни, кроме светских сплетен.

Отец ужасался, когда получал от жены счета о «ежемесячных неизбежных расходах», которые составляли 1457 рублей. Из них на воспитателей детей уходило 203 рубля, в том числе и на двух учительниц и двух гувернанток; на дом тратилось 547 рублей, а жалованье прислуге (в количестве одиннадцати человек) обходилось в 98 рублей; на прочие расходы (в том числе и «еду всем» было потрачено 300 рублей) — 609 рублей. Теперь Лёвочка не приписывал деньгам какое-либо важное значение. Сами по себе деньги — не зло, считал он. Как, например, огонь, они могут быть использованы на добро и пользу. Они тяжелы лишь для христианина.

Лёвочка продолжал жить в Ясной Поляне. Как всегда, в девять часов просыпался, шел в лес Заказ, потом пил кофе, в одиннадцать садился за работу, завершал ее в четыре часа, снова шел на прогулку в Заказ, возвращаясь только к обеду, после чего наслаждался чтением книг, пил чай с «гувернанткой собак» Агафьей Михайловной, читал письма жены и опять ходил на прогулку при лунном свете. Всё вокруг хорошо, только «есть одному скучно», приходил он к заключению. «А жить одному гораздо лучше», — словно продолжала мысль мужа Софья. Она столько раз впадала в иллюзию, что без нее Лёвочке грустно, но теперь будто очнулась и поняла, что это далеко не так. Поэтому она и старалась занять свою жизнь чем-то другим, например, веселыми балами.

А он узнавал о ней и детях из писем, которые читал не сразу, а, растягивая удовольствие, придерживал их, и только после этого, хорошенько подготовившись, прочитывал, будто измерял нравственную температуру семьи — поднялась она или опустилась. Жена описывала «лесть *madame Seuron*», которая ее не трогала, но в то же время раздражало ее прошлое кокетство с мужем, а потому *elle aura affaire a moi* (ей придется иметь дело со мной. — Н. Н.). Софья жалела несчастную *Seuron*, потому что в своем «полусумасшествии» она ни за что не могла бы ручаться. Он узнал также, что дочь Таня не желала писать ему писем, будучи уверенной, что отец ей в ответ напишет три строчки, так какой смысл писать ему по три листа? Но зато, писала Софья, он пишет триста страниц для всего мира. Дочитав послание жены до конца, муж понял, что температура в семье упала ниже некуда.

Да она и сама понимала, что стала катиться под гору. Ведь она «не столб семьи», не такая уж и твердая, не такая уж *une-femme vertueuse* (добродетельная женщина. — Н. Н.), как может показаться на первый взгляд. Она знала, какая она «слабая, легкомысленная, полусумасшедшая и готовая на всякие самые безумные крайности». Выезды пришлось

прекратить, в том числе и из-за ее новой беременности, которая становилась все более заметной. Весь свет уже прослышал об ее интересном положении, злые языки судачили, что теперь Софья вывозит в свет сразу двух дочурок.

Она была в отчаянии из-за своей очередной беременности уже девятым ребенком и потому старалась его «выкинуть». Она даже обращалась к неизвестной акушерке, просила ту сделать искусственный выкидыш, но акушерка отклонила эту грешную просьбу. За этот свой грех, как полагала Софья, она и была в дальнейшем наказана смертью своего любимца Алеши.

А пока она готовилась к Рождеству и просила мужа, чтобы яснополянская прислуга получше откормила птиц, после чего прислала к праздничному московскому столу. Софью беспокоили мелкие хозяйственные вопросы — заходил ли муж в кладовую, цел ли там ее сундук, заперт ли как прежде? Хранит ли Лёвочка ключи от хозяйственных построек, кому он мог бы их оставить, если уедет из усадьбы, может ли, например, доверить их Филиппу, не потеряет ли тот их, не позволит ли все растащить, сможет ли уничтожить птицу, которая съедает так много корма, аж на 80 рублей? Софье не нравилась очередная Лёвочкина «игра в Робинзона», когда он отпустил кучера Андриана, якобы не нуждаясь в его услугах, а потому стал сам выполнять эту работу. Но она приветствовала решение мужа рассчитать скотницу Арину, с которой была связана некрасивая история: ее уличили в воровстве «половины молока». В общем, Софья, как любил говорить в таких случаях Лёвочка, была жива *some more*, то есть «еще» была жива семейными интересами.

Софья медленно возвращалась к прежней жизни и старалась взяться за свои привычные дела, достала из сундука все летние вещи, хорошенько все их осмотрела, примерила детям, а потом принялась все перешивать, а заодно и выкраивать новые платья и рубашки. Получилось вполне авантажно. Такие бесхитростные повседневные дела словно возродили ее, помогали снова окунуться в радостную стихию лета, украшенную скорым приездом сестры Тани с милым семейством в Ясную Поляну. Шитье и прием брома по рекомендации врача вскоре успокоили нервы Софьи, расшалившиеся из-за многих причин, но особенно из-за «великих расходов», приводивших ее в такой ужас, что «просто беда». Теперь она стремилась к жесткой экономии, чему конечно же способствовала невозможность посещать балы.

За это время Софья кое-как навела порядок в своем московском хозяйстве, чем немало переполошила прислугу. Узнав о том, что к любимой

служанке, ее крестнице, по ночам повадился ходить через окно кучер Лукьян, она сразу же рассчитала обоих. А когда ей стало известно, что ее старший повар частенько выпивал, она тотчас же уволила его. Софья была не согласна с мужем, считавшим, что в воспитании людей, в том числе и прислуги, исключительно важен личный пример. Сама она была убеждена, что только пощечина поможет их воспитанию.

Изо всех сил Софья стремилась выкарабкаться из пустяшного светского мира, чтобы вернуться в прежнюю семейную колею, не затронув при этом даже мизинцем своего мужа. Теперь она сама тянулась к нему, мечтая о том, чтобы гладко и дельно проходила их совместная жизнь. Но как достичь этого? Ведь если она будет жить в Ясной Поляне, то придется жертвовать сыновьями, а если в Москве, то будет мучить мужа. Из-за этого она постоянно ломала себе голову, как устроить жизнь так, чтобы мужу было хорошо в Москве. Теперь Софья стала гораздо лучше понимать предназначение Лёвочки, которое конечно же заключалось в творчестве. Ведь оно всегда одерживало над ним полную власть. Все затеи Лёвочки оставались в его голове, а решать их надо было судьбе, приказчику и ей. Только так, полагала она, можно было сберечь эту *une machine a écrire* (машину для писания. — **Н. Н.**). Не поэтому ли у нее появилось желание, или скорее потребность, побыстрее соединиться с ним в Ясной Поляне? К тому же завершился курс ее лечения под наблюдением акушера Чижа. Муж обзывал себя «грубым, эгоистичным животным», который «гримасничал добродетелью» — отпускал старика — повара, чтобы самому готовить еду, убирал дом, рубил дрова, топил печи и, конечно, ждал жену с детьми.

Глава XIX. «На разных дорогах»

Кажется, трижды был прав ее покойный папа, утверждавший, что бедная его дочь не умела веселиться. Похоже, отцовское пророчество сбывалось. После веселой бальной феерии Софья затосковала, ее снова потянуло к простым деревенским удовольствиям. А для Тани, напротив, возвращение в Ясную Поляну было подобно какому-то «вечному кошмару», и она совсем не хотела разлучаться с Москвой. Софья объяснила дочери, что их материальное положение не позволяет больше так бездумно тратить деньги. Госпожа Фортуна уж очень быстро вращала свое колесо, не давая никакой возможности хоть как-то ей опомниться. Тем не менее думать ей было о чем. Софья прекрасно понимала, что «начинала портиться», делалась более эгоистичной, смотрела на супружескую любовь только как на награду, не задумываясь о том, что ее еще надо заслужить испытанием, которое может оказаться не по плечу.

Она жила с мужем словно в параллельных мирах. А он утверждал, что муж и жена не параллельные линии, а пересекающиеся только в одной точке, чтобы дальше идти по разным путям. Так и шли они сейчас по разным дорогам. Ее мучили постоянные заботы о детях и Лёвочке, от этих проблем ей порой становилось невыносимо тяжело. Так хотелось совсем иной жизни, в которой кто-нибудь заботился бы именно о ней. Однако все это были только мечты. Только когда под яснополянским небом собрались два больших дружных семейства — Толстых и Кузминских, жизнь Софьи опять забила ключом, позволив ей отвлечься от мучивших ее тягостных мыслей. Родственники чинно ходили друг к другу в гости. Как всегда, Кузминские обустроились в другом флигеле, который так и назывался в их честь — «кузминским». Все семейство Толстых приходило к ним, чтобы отведать вкуснейших пирогов, а на следующий день Кузминские наносили ответный визит Толстым. После этого обсуждали, чей же пирог вкуснее. Проигравших конечно же не было. Как говорил в подобных случаях Лёвочка, «оба — лучше».

Летняя яснополянская атмосфера была немыслима без любовного флера: старшие дети Толстых постоянно влюблялись в кого-нибудь. А у малышей были свои проблемы — они частенько дрались друг с другом и, естественно, после этого сильно плакали. Тетя Таня мастерски расправлялась с драчунами: брала проказников за шиворот и стучала их друг о друга лбами, а потом заставляла поцеловаться в знак примирения,

грозя поставить забияку в угол. Катание на лошадях, пикники, купание и, наконец, лакомство мороженым, каймаками, представлявшими собой фантастические кулинарные изыски в виде домиков с вафельными окошками, соединенными между собой вкуснейшим кремом... Так с обедами под вязами, где блюда сменяли друг друга, проходил день за днем. А горничные в это время постоянно крахмалили и гладили белоснежные скатерти, лакеи чистили пропасть обуви, а кучера готовили экипажи для господ. Но однажды эта умиротворенная жизнь была нарушена: Лёвочка позвал Софью в свой кабинет и передал доверенность на управление всеми своими делами, имущественными и издательскими. Она на всю жизнь запомнила этот день — 21 мая 1883 года, когда ей пришлось пролить столько слез. Теперь, кроме ежедневных семейных хлопот, на нее еще свалились немалые заботы об имениях, домах, издании книг, а муж таким образом освободился от этих проблем. Этот его шаг был спровоцирован страшным пожаром, который уничтожил половину яснополянской деревни. 22 семьи остались без крова. Лёвочка сам тушил огонь из пожарного крана. Он так близко к сердцу принял эту беду, что хотел все свое имущество отдать погорельцам. Но, поразмыслив, понял, что не сможет этого сделать, ведь у него восемь детей, жена. Он и она — одно целое. Так он решил написать доверенность на ее имя. Сам же в это время отправился «отпиваться» кумысом в самарские степи и ликвидировать тамошнее хозяйство. Оттуда слал ей страстные письма, которым Софья уже не верила.

На Святую Троицу она с радостью принимала у себя князя Урусова, приехавшего к ней из Тулы, чтобы передать рукопись мужа «В чем моя вера?». В этот праздничный день мимо них гурьбой проходили молодые нарядные бабы, парни с гармошками, песнями и венками. Они шли к Среднему пруду, чтобы бросить венки в воду и загадать что-нибудь на счастье. Глядя на эту беззаботную толпу, Софья тоже захотела загадать. Сейчас она вспомнила, как муж однажды сказал ей, словно напроорочил, что та жизнь, которую она вела в Москве, немыслима без романа. Теперь этот роман, кажется, сам нашел ее. Всю свою супружескую жизнь Софья покорно и смиренно обожала Лёвочку, удовлетворяясь его «временными порывами». Сейчас же она уже не доверялась им, ей хотелось возвышенных романтических чувств, «ласки — любви», восторгов и признаний. Все это она нашла в князе Урусове, Лёвочкином «апостоле».

Софья была очень дружна с Леонидом Дмитриевичем. С ним ей было «хорошо и счастливо», он помогал ей абстрагироваться от монотонной повседневности. Интуиция подсказывала ей, что он относится к ней не

просто по — дружески, не только как к жене своего друга, оставаясь при этом рыцарем «без тени и укора совести». В их отношениях было что-то загадочное, таинственное, не понятое ею до конца, но зато угаданное ее мужем и вызывавшее в нем ревность. А Леонид Дмитриевич был удивительным человеком. Он пребывал в мире отвлеченных мечтаний и абстрактных идей, предпочитая вести жизнь замкнутую и уединенную, скорее похожую на жизнь затворника и холостяка. Он был женат на дочери знаменитого богача Мальцова, особе весьма эмансипированной, полностью отдавшейся светской жизни и проживавшей постоянно в Париже. Как-то Софья познакомилась с этой Монею, приезжавшей вместе с дочерью Мэри и ее мужем в Ясную Поляну. Ее очень корбило поведение Леонида Дмитриевича, по — прежнему называвшего жену «душкой». А Монея между тем горячо благодарила Софью за то, что ее семья одарила горемыку — мужа всем тем, чего не могла дать ему она сама — теплоту и ласку. Чем-то жизнь князя напомнила ей жизнь Ивана Сергеевича Тургенева, также обретшего себе приют на краешке чужого гнезда. Многие подмечали, что Урусов, так же как и Тургенев, «волочился» за семьей Толстых. Софья поражалась таким свободным независимым супружеским отношениям, тем, что муж достаточно либерально воспринимал причуды своей жены. Но еще больше Софью удивляло то, как в этом человеке сочеталась любовь к философии, ко всему утонченному и изысканному с положением чиновника.

Однажды она оказалась в гостях у Урусова. Тот взял у лакея блюдо с пирогом и стал лично потчевать ее и тем самым как бы вознес Софью на некий пьедестал. В этом жесте она усмотрела рыцарское отношение к женщине и подумала о том, как стиль жизни князя отличается от Лёвочкиного. Ведь князь никого не призывал отказываться от мирских «игрушек», как это делал ее муж. Софья была поражена высочайшей эрудицией этого человека, не могла оторваться от его переводов Марка Аврелия. Всю последующую жизнь ее мучил вопрос, как к ней относился Урусов, но это так и осталось загадкой. Софья не хотела больше жить идеальными представлениями мужа, она желала забав и восхищений. Однажды вместе с дочерьми она нарядилась в яркие бабьи наряды и предстала в таком виде перед мужем и князем, игравшими в это время в шахматы. Ей запомнились восхищенный взгляд Урусова, его всепонимающая улыбка, которой он словно поощрял Софью к легкомыслию.

Во время частых Лёвочкиных поездок на самарский хутор князь не забывал навещать Софью, он становился все ближе ей, хотя внешне все

выглядело пристойно и безукоризненно. Она была настолько экзальтирована присутствием Урусова, что просила Бога, чтобы поскорее вернулся Лёвочка и «встал бы между» нею и князем. Но вскоре поняла, что во всем повинна эйфория. Однажды, в свой день ангела, Софья отправилась вместе с князем и дочкой Машей на прогулку верхом, во время которой князь упал вместе с лошастью на ровном месте. Софья сильно перепугалась, но не из-за ушиба гостя, а из-за травмы лошади, которая была любимицей Лёвочки. Этот пассаж с падением Урусова многое объяснил ей в отношениях с князем. Она поняла, что хочет нравиться мужчинам только из-за того, чтобы об этом знал Лёвочка.

Тем временем летняя жизнь шла своим чередом, сопровождаемая постоянными детскими шалостями, купаниями, в которых отражался характер яснополянских обитателей, тонко подмеченный Лёвочкой: «Тетя Соня в костюме входит в купальню степенно, по ступенькам, вбирая в себя дух от холода, потом прилично окунется, войдя в воду, и тихими плавными движениями плывет в даль. Тетя Таня надевает изодраный клеенчатый чепец с розовыми ситцевыми подвязушками и отчаянно сигает в глубину и мгновенно неподвижно ложится на спину. Тетя Соня боится, когда дети прыгают в воду. Тетя Таня срамит детей, если они боятся прыгать. Тетя Соня в затруднительных обстоятельствах думает: «Кому я больше нужна? Кому я могу быть полезна?» Тетя Таня думает: «Кто мне нынче нужен? Кого мне куда послать?» Тетя Соня умывается холодной водой. Тетя Таня боится холодной воды. Тетя Соня любит читать философию и вести серьезные разговоры и удивить тетю Таню страшными словами и достигает вполне своей цели. Тетя Таня любит читать романы и говорить о любви. Тетя Соня, играя в крокет, всегда находит себе и другое занятие, как то: посыпает песком каменистое место, чинит молотки, говоря, что слишком деятельна и не привыкла сидеть сложа руки. Тетя Таня с озлоблением следит за игрой, ненавидя врагов и забывая все остальное. Тетя Соня обожает малышей, тетя Таня далеко не обожает их. Когда малыши ушибаются, тетя Соня ласкает их, говоря: «Матушки мои, голубчик мой, вот, стой, мы этот пол прибьем — вот тебе, вот тебе». И малыш, и тетя Соня с ожесточением бьют пол. Тетя Таня, когда малыши ушибаются, начинает с озлоблением тереть ушибленное место, говоря: «Чтоб вас совсем, и кто вас только родил! И где эти няньки, черт их возьми совсем! Дайте хоть холодной воды, что все рот разинули!» Когда дети больны, тетя Соня мрачно читает медицинские книги и дает опиум. Тетя Таня, когда болевают дети, выберит их и даст масла. Тетя Соня, пользуясь какой-нибудь радостью или весельем, тотчас примешивает к нему чувство

грусти. Тетя Таня пользуется счастьем всецельно. Чья нога меньше, тети Тани или тети Сонины, еще не разрешено». В этой шутливой характеристике двух сестер Софья предстает со всеми своими страхами и опасениями.

Словом, жизнь продолжалась, становясь все более предсказуемой. Так, дочь Таня постоянно думала о бантиках и платьях, «Сюся», то есть Лёля, мечтал о дыне или арбузе, которые поспевали в парниках, две Маши, дочь и племянница, — о танцах и королях, в которых пока только играли, «Альгужек», малыш Алеша, плакал и просил, чтобы его повозили на ковре по дому, Софья вспоминала свой плохой сон, Лёвочка просил дочерей, чтобы они не стали «Фифи Долгоруковой», не носили башмаков от «Шопенмахера». В общем, жизнь протекала в маленьких радостях. Кто-то находил свои коралловые серьги и свой бинокль из слоновой кости, кто-то радовался красивому напеву, а кто-то мечтал о том, чтобы мама больше обращала внимание на их сердце, а не на внешнюю сторону жизни, чтобы Маша с Лёлей не были заброшенными, чтобы Маша была лучше одета, чтобы мама не била Илюшу, который был уже втрое сильнее ее, чтобы «Дрюша» и Миша по — прежнему называли себя «блундинами».

Софья понимала, что детские упреки в ее адрес вполне уместны. Она действительно была больше озабочена внешней стороной их воспитания, стремилась к тому, чтобы они были хорошо развиты физически, но при этом мало обращала внимания на воспитание их души. За нее это делал Лёвочка, приучавший детей думать о себе, как о дробе, достоинства детей он называл числителем, а знаменателем — то, что они о себе воображали. Софья же больше любила возиться с малышами, наблюдая за их взрослением. Андрюша засыпал только тогда, когда она сидела рядом с ним, и весь дом в этот момент притихал, чтобы не мешать ребенку. Он был капризным мальчиком, любил только лакомства — мед, сыр, а вот Миша был здоровой натурой, терпеть не мог ничего пикантного.

Конечно, Софья была рада возвращению мужа из Самары, он выглядел здоровым, свежим, отдохнувшим. В ярком цветастом сарафане она отправлялась вместе с ним и детьми на покос. Убирали сено, растрясали его, а потом копнили. Порой она привозила сюда своим милым труженикам сытные обеды. После заготовки сена для крестьянской вдовы они гурьбой отправлялись купаться на Воронку. В это время проказник — муж забегал с детьми вперед, прятался с ними в овраге, и когда Софья с сестрой и Страховым подходили совсем близко, Лёвочка подвывал волком, чтобы их напугать. У него ловко это получалось. А по вечерам он всех детей собирал вокруг себя на балконе, садился на пол и просил их рассказать о своей

самой счастливой и несчастной минуте жизни или какую-нибудь страшную историю. Обычно таких охотников не находилось. У них, к счастью, еще не было подобных историй, слишком короткой пока была их жизнь. Софья любила подобные сборища, воссоединявшие детей с отцом. Но самым заметным событием в Ясной Поляне стало появление «Почтового ящика». Автором этого изобретения стало все почтенное общество, отдыхавшее летом в яснополянской усадьбе. Это был простой деревянный ящик, закрывавшийся на ключ и висевший целую неделю на лестничной площадке. Все желающие могли оставлять в нем свои безымянные послания. Основная интрига этой остроумной идеи заключалась в том, что надо было угадать автора той или иной записки. Софья убедилась, что ничто так не сплочивает младших и старших, гостей и хозяев, как совместное творчество. По воскресным вечерам под всеобщее ликование ящик торжественно вносили в зал. Его открывали, и кто-нибудь из присутствовавших доставал и зачитывал содержимое. Так стало известно обо всех «Идеалах Ясной Поляны»: Льва Николаевича: нищета, мир и согласие; сжечь все, чему поклонялся, поклониться всему, что сжигал;

Софьи Андреевны: Сенека; иметь 150 малышей, которые никогда бы не становились большими;

Татьяны Андреевны: вечная молодость, свобода женщин;

Татьяны Львовны: стриженная голова; душевная тонкость и постоянно новые башмаки;

Ильи Львовича: тщательно скрыть от всех, что у него есть сердце, и делать вид, что убил 100 волков;

Марии Александровны (Кузминской): общая семья, построенная на началах грации и орошаемая слезами умиления;

m-me Seuron: изящество;

Веры Александровны Кузминской: дядя Ляля (то есть Лев Николаевич);

Елены Сергеевны (племянницы Л. Н. Толстого. — **Н. Н.**): верховая езда и старый муж;

князя Урусова: расчет в крокет и забвение всего земного;

Лёли (сына): издавать газету «Новости»;

Маши: звуки гитарных струн;

Елизаветы Валерьяновны Оболенской (племянницы. — Я. Я): счастье всех и семейность вокруг;

идеалы малышей: напихиваться весь день всякой дрянью и изредка для разнообразия зареветь благим матом.

В этих Лёвочкиных записках, конечно, нетрудно было любому угадать

их знаменитого автора. Уж очень они были проницательными и корректными одновременно.

Софье особенно нравилась его шутка «что от кого родится»: от Льва Николаевича: книжки и мужики у крыльца; от Татьяны Андреевны: кексы, пироги с вареньем, хорошенькие девочки и католические мальчики;

от князя Урусова: споры, приятности в обращении, гостинцы и мальчик Сережа;

от m-me Seuron: *des bonnes manieres, les verbes a copier et un beaugarson* (хорошие манеры, списки глаголов и милый мальчик. — Я. Я);

от Татьяны Львовны: топот, плохая картина, наряды и веселье вперемежку с мрачностью;

от Маши Кузминской: всеобщее умиление, желание всем дать гостинцы;

от Маши Толстой и Веры Кузминской: огрызки яблок; от Веры: грубые, но всегда правдивые речи; от Маши: ласковые, но не всегда правдивые речи; от Лёли: остроумие, один заяц и один бекас; от Ильи: собачий лай, пороссячий визг, много чертыханья и все-таки много любезного людям.

А что же от мама? Да, от нее суета, обеды, завтраки, большие и малые дети, платья им на рост и бабы больные у крыльца.

Слушая подобные отзывы о себе и о родственниках, Софья приходила в восторг. А вот «Скорбный лист душевнобольных яснополянского госпиталя» не вызывал у нее подобных эмоций, а чем-то даже настораживал. Под номером один значилась собственная характеристика автора, легко и так узнаваемого без всяких подписей:

«№ 1 (Лев Николаевич). Сангвинического свойства. Принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами *Welt verbes serungswahn* (мания исправления мира. — Я. Я). Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки общие: недовольство всеми существующими порядками, осуждение всех, кроме себя, и раздражительная многоречивость, без обращения внимания на слушателей, частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности. Признаки частные: занятия несвойственными и ненужными работами, чищение и шитье сапог, кошение травы и т. п. Лечение: полное равнодушие всех окружающих к его речам, занятия такого рода, которые бы поглощали силы больного».

«№ 2 (Софья Андреевна). Находится в отделении смирных, но временами должна быть отделяема. Больная одержима манией: *retulantia*

toropigis maxima (величайшая необузданность (лат.). — Н. Н.). Пункт помешательства в том, что больной кажется, что все от нее всего требуют, и она никак не может успеть все сделать. Признаки: разрешение задач, которые не заданы; ответ на вопросы прежде, чем они поставлены, оправдание себя в обвинениях, которые не деланы, и удовлетворение потребностей, которые не заявлены. Лечение: напряженная работа. Диета: разобщение с легкомысленными и светскими людьми. Хорошо тоже действуют в этом случае в умеренном приеме воды Кузькиной матери».

«№ 6 (Татьяна Андреевна Кузминская). Больная одержима манией, называемой *mania demoniaca complicate* (тяжелой манией одержимости бесом. — Н. Н.), встречающейся довольно редко и представляющей мало вероятности исцеления. Больная принадлежит к отделению опасных. Происхождение болезни: незаслуженный успех в молодости и привычка удовлетворенного тщеславия без нравственных основ жизни. Признаки болезни: страх перед мнимыми, личными чертами и особенное пристрастие к делам их, ко всякого рода искушениям: праздности, к роскоши, к злости. Забота о той жизни, которой нет, и равнодушие к той, которая есть. Больная чувствует себя постоянно в сетях дьявола, любит быть в его сетях и вместе с тем бояться его... Лечение двоякое: или совершенное предание себя дьяволу и делам его с тем, чтобы больная извела горечь их, или совершенное отчуждение больной от дел дьявола. В первом случае хороши были бы раньше два больших приема компрометирующего кокетства, два миллиона денег, два месяца полной праздности и привлечение к мировому судье за оскорбление. Во втором случае: три или четыре ребенка с кормлением их, полная занятий жизнь и умственное развитие. Диета — в первом случае: трюфели и шампанское, платье все из кружев, три новых в день. И во втором — щи, каша, по воскресеньям сладкие ватрушки и платье одного цвета и покроя на всю жизнь».

Лёвочка сам прочел за вечерним чаем 22 августа 1884 года, в день рождения Софьи, свой «Скорбный лист», не вызвав при этом ничьих обид. В общей сложности Софья насчитала 23 истории болезни, которые все были излечимы с помощью дружного смеха самих «пациентов» яснополянского «госпиталя», каждый из которых с нетерпением ждал следующего воскресенья, чтобы снова открыть «Почтовый ящик» и узнать, сколько было в обоих домах заколото цыплят, придушено кур, съедено баранов, привезено ростбифа и телят. Подобные заметки мужа казались Софье грубоватыми, так же как и «Расписание яснополянского дня»: 10–11 — кофе дома, 11–12 — чай на крокете, 12–13 — завтрак, 13–14 — опять

чай на крокете, 14–15 — занятия, 15–17 — купание, 17–19 — обед, 19–20 — крокети катание на лодке, 20–21 — маленький чай, 21–22 — большой чай, 22–23 — ужин, 23–10 утра — сон. Расписание заканчивалось Лёвочкой почти с сарказмом: «А еще говорят, что мы мало работаем, да ведь так чахотку наживешь!» Софье гораздо больше нравились другие записки, в которых отражались красота, солнечность, беззаботность их летнего отдыха.

А муж теперь всех, кто жил эгоистичной жизнью, называл душевнобольными людьми, которых насчитывалось 99 из 100. Софье докучала его ворчливость, все более становящаяся похожей на стариковское брюзжание. Мужа все чаще раздражали посещавшие их дом молодые кавалеры, ухаживавшие за дочерью Таней, которая теперь была так далека от отца. Даже ее веселость уже не радовала его, а ведь еще не так давно он утверждал, что «веселье Богу приятно». Таня продолжала посещать Школу живописи, ваяния и зодчества, правда, очень часто пропускала занятия, к тому же ей следовало «жиру сбавить». Сын Сережа казался ему «невозможно тупым», с «кастрированным умом, как у матери». Умилялся он только Ильей, который как будто «прислушивался» к отцу, стал вместе с Лёлей «убирать свою комнату», таким образом хоть как-то избавляясь от ненавистного отцу барства.

Софья была часто не в духе, напоминала собой колючку, поэтому «приходила мешать» мужу. Нелады между супругами дурно отражались на детях. Лев очень плохо учился, а Илья до поздней ночи играл в винт, вывозил любимую собаку на выставки, участвовал в спектаклях, но учебной совсем не занимался. В душе у Лёвочки нарастали внутренние упрёки к Софье. Она не раз ловила на себе его суровый взгляд. Глаза его светлели лишь тогда, когда дети читали «Отче наш» на ночь.

Возбужденное состояние Софьи было вызвано ее очередной, двенадцатой беременностью, крайне нежелательной для нее, о которой она думала с отвращением. Она ничего хорошего не ждала от будущего лета, кроме скуки и болезни, переживала, что не успеет разродиться до приезда Кузминских в Ясную Поляну, мечтала о том, чтобы «эту мерзость проделать в одиночестве». В общем, она ехала теперь в Ясную Поляну «не на радость, а на муку». Самое лучшее время — купания, покоса, длинных дней и чудных летних коротких ночей — она должна была провести «в постели, с криком малыша и пеленками». Из-за этого она впадала в «буйное отчаяние», была готова «кричать и приходить в ярость». Софья сразу же решила, что кормить новорожденного не будет, а возьмет кормилицу. Она даже успела заблаговременно все купить «на дешевых

товарах, чтоб ее одеть». Муж был в ужасе от такого отношения жены к их будущему дитя. Ведь для него рождение малыша означало «неразгаданную тайну», призыв к любви и жизни. Она же оживлялась совсем иным, например, когда «с колокольчиками прилетал Коля Кислинский, Танин жених, обладавший магическим действием на девиц», которые сразу начинали порхать и петь. Она сама тоже бы порхала, если бы чаще слышала Лёвочкины восклицания: «Как ты красива!»

Между тем лето приближалось. Муж спал, как он говорил, «одним глазом», видел корень зла в «еде послаще». А Софья не понимала, в чем заключается его система упрощения семьи, где граница того, как жить надо, чтобы зарабатывать на хлеб своим творчеством? Что и говорить, перспектива остаться без денег, да еще накануне родов, пугала ее. Поэтому Софья взяла себя в руки и обдумала всё вперед: кормить ребенка не станет, а передаст всё в руки судьбы, сама же возьмется за издательские дела, совместит в себе, таким образом, функции жены и мужа. Она была убеждена, что пользы от нее для будущего ребенка не будет никакой: она находилась не в лучшей форме, была крайне нервная и слезливая, постоянно пребывала в страхе, ожидая недовольства мужа из-за того, что взяла кормилицу Аннушку, которая теперь жила у нее вместе со своей восьмимесячной девочкой. Если бы дорогой Лёвочка попросил ее, чтобы она сама кормила ребенка, приласкал бы при этом, то она конечно же согласилась бы кормить грудью. Но муж был чужд, как никогда. Все время пропадал на косьбе с мужиками, уходил на заре, а возвращался только к вечеру. Она его почти не видела.

Поздно вечером 17 июня 1884 года у Софьи с мужем зашел разговор о самарских лошадях. Она была не в духе, ей очень нездоровилось, и она стала упрекать его, что все его затеи, как правило, заканчиваются большими убытками. Так произошло и с лошадьми, на которых была потрачена уйма денег, а толку никакого, всех лошадей поморили. Спор вышел крайне резким. Лёвочка ушел, взяв с собой холщовый мешок, с которым обычно странствовал во время паломничества в Оптину пустынь. Софья догнала его, хотела узнать, куда он направился. «Может быть, в Америку и навсегда», — услышала она в ответ. А потом со слезами, но твердо добавил: «Не могу так больше жить дома». Софья стала умолять мужа остаться, ведь ей скоро рожать, она это чувствовала, уже начинались предродовые боли. Лёвочка был непреклонен. У нее начинались схватки. В 12 часов ночи Софья сидела на лавочке перед домом и громко плакала. Пришла акушерка, стала утешать ее, подроссел сын Лев. Они-то и довели ее до спальни.

В пятом часу утра домашние сообщили ей, что муж вернулся и остался спать внизу. Софья вскочила и пошла к нему, уставшему и лежавшему на диване с «недобрым» лицом. Она подозревала его ревность и дурные мысли к младенцу. Софья клялась мужу, что никого, кроме него, никогда не любила, что чиста перед ним и ни в чем не виновата. Он по — прежнему оставался глухим к ее словам. После двадцатидвухлетнего супружеского согласия это был, пожалуй, самый тяжелый удар для нее.

18 июня 1884 года в 7 часов утра у Софьи родилась прекрасная девочка с темными длинными волосами и большими синими глазами. Она попросила, чтобы ребенка поскорее унесли в детскую, с глаз долой, чтобы не терзать себе сердце. Новорожденную девочку крестил Александр Михайлович Кузминский, а заочно — Александрин Толстая. Софья же тем временем вспоминала, как год тому назад, возвратившись после прогулки с князем Урусовым, она заметила около своего обеденного прибора чудную солонку из саксонского фарфора в виде маленькой голубоглазой девочки и воскликнула: «Вот бы мне такую, живую!» Через девять месяцев, день в день, у нее родилась Саша с голубыми глазами. Что это? Фантазм, оговорка или причудливое видение? А может, желание выдать грёзу за действительность? Соблазн раззадорить мужа? Похоже, эти вопросы так и останутся без ответов.

Глава XX. «Я souffre-douleur»^[1]

После рождения дочки Саши Софья вновь отправилась в Москву, чтобы «угодить своим детям». А Лёвочка остался жить в Ясной Поляне, чтобы снова и снова играть в Робинзона, тратя свои драгоценные умственные силы на пустяшные дела: колку дров, шитье сапог и калош ужасающей формы, «ставленья» шипящих самоваров, питье чая с сахаром вприкуску. Теперь он совсем не пил вина, перестал есть мясо, мало курил папиросы, распрощался с «чувством охоты» и даже, как-то во время прогулки увидев проскочившего мимо зайца, пожелал ему успеха.

Софья подбадривала мужа, занятого хозяйством, которому он отдавался сполна, рассчитав своего помощника Митрофана. Она даже сама напросилась к нему в помощницы, чтобы совместными усилиями получать большую выгоду от недоходного яснополянского имения. Весь секрет ее успеха заключался в простоте исполнения, в умении делиться с мужиком, то есть самым раздавать крестьянам все то, что они у хозяев и крали. Софья была убеждена, что только так можно выстроить цивилизованные отношения с простым народом. Этот подход к ведению хозяйства представлялся ей надежным и вполне рациональным.

Теперь жена узнавала от новых друзей мужа, Владимира Григорьевича Черткова и Павла Ивановича Бирюкова, которые одновременно являлись коллегами по издательству «Посредник», о том, как Лёвочке хорошо одному дышится в Ясной Поляне. Они утверждали, что в таком душевном состоянии его никогда раньше не видели. Подобные разговоры еще раз убеждали Софью в том, что ему без жены гораздо лучше. Муж получал огромное удовольствие от своих хозяйственных реформ, минимизировав расходы до крайних пределов. Он постоянно подсчитывал затраты, забрал себе счетную книгу, прежде хранившуюся у Митрофана, а Софья волновалась из-за того, что муж так быстро и легко рассчитал приказчика, что она даже не могла понять, куда подевались те 100 рублей, которые она выдала Митрофану на покупки в мясной лавке у Попова. Она желала сама разобраться с этим вопросом, а заодно проверить счетную книгу, где должны были регистрироваться все расходы на провизию. Сейчас ее Лёвочка жил, как он выражался, «не по капризу», а по убеждению, которое было им выстрадано. Для него теперь все финансовые вопросы казались несущественными, излишними, ненужными. Он мечтал о том, чтобы рядом с ним находились его «братья и сестры», его единомышленники.

Однако его семья состояла не из сестер и братьев, а из жены и детей, которые должны были учиться, и о них надо было заботиться. А для этого нужны были не только совместная родительская любовь и забота, но и средства, притом немалые. Поэтому Софья не могла согласиться с мужем, что его присутствие в Москве абсолютно бесполезно. Она усматривала в этом только одно: желание самоустраниться от проблем, которые, как он выражался, «парализовывали» его и были ему «противны».

Теперь их супружеская жизнь все больше превращалась в эпистолярный роман. Она писала ему, как он говорил, «унылые» письма, из которых он узнавал все подробности ее московской жизни, сумбурной и хаотичной. Из последнего послания жены Лёвочка узнал, что она снова больна женскими болезнями и сама себя лечила от них, но ей ничто не помогало. Он просил ее обратиться к врачам, что она вскоре и сделала. Акушерка предписала ей строгую диету, постельный режим и покой и полное воздержание. Что и говорить, заключала Софья, «не береглась после родов и не поберегли, теперь и сиди». Муж, конечно, признавал свою вину, вспоминал те июньские события, когда жена должна была родить Сашу, и он собрался от нее уйти, а потом их горячее примирение, как он поддался тогда «похоти мерзкой после Саши». А Софья в этих раскаяниях мужа чувствовала совсем иное — все напускное.

Теперь мучимая болями, она прекрасно сознавала, что ей не удалось пройти целой и невредимой через все испытания временем. Ее история любви развивалась по традиционной схеме, двигаясь от поэзии волшебных августовских «стальных» дней, проведенных с Лёвочкой перед их венчанием, к банальной прозе жизни — «вместе — врозь». Вот и теперь, будучи мужем и женой, живут отдельно, надвадома — она с детьми в Москве, а он один в Ясной Поляне. Каждый регулярно отчитывался о своих делах в письмах другому. Обычно Лёвочка отвозил свою корреспонденцию на станцию «Козловка» и по дороге успевал еще что-то подписать и подправить, она же порой дипломатично отрывала кусок письма, в котором откровенно выговаривала ему то, что о нем думала. В своих посланиях Софья чаще всего рассказывала о «хаосе» жизни, в котором постоянно пребывала с утра до вечера, иногда не смыкала глаз из-за бессонницы, отчего становилась «шальной», думая о том, почему им вместе — чуждо, а врозь — скучно. Она старалась как можно меньше писать мужу о наболевшем, что было у нее на сердце, чтобы не было взаимных упреков и обид. В ее письмах гораздо больше беспокойства о муже: как он ездил к колодцу за водой, взял ли с собой ведро или снова забыл, не мешали ли спать мыши, не скреблись ли они и не бегали ли по одеялу? Софья хотела,

чтобы он не рисковал, не ездил по скверному санному пути, не наваливал на себя столько разной работы, чтобы он берег себя. Еще она спрашивала его в письмах, как он выпекал хлеб по методике главного вегетарианца Фрея, не рассмешил ли своей выпечкой кухарку Марью Афанасьевну, и очень просила, чтобы он не угощал этим хлебом дочерей.

Софья подробно описывала свою московскую жизнь, героями которой были их дети. Она жаловалась мужу на старших сыновей, которые доставляли ей большие проблемы. Так, Илюша часто бывал грубым и очень плохо занимался, потому что был ленив. Свою никудышную учебу он объяснял тем, что ему все очень легко дается, поэтому нет смысла готовиться к урокам. Софья была не на шутку озабочена поведением сына, который мог пропадать целыми днями, а иногда и отсутствовать полночи. Он был «неприятно распущен». А сын Сергей все больше становился франтом и «бурным» жуиrom. Как-то, будучи в гостях у дяди Сережи, Илья и Сергей слегка выпили и развеселились. Потом отправились с «безобразными» стариками к цыганам, после чего оправдывались перед ней тем, что все это придумали, чтобы посмеяться. А затем сконфуженный Сережа попросил у нее 100 рублей, чтобы расплатиться с долгами. Дочь Таня ругала проказников братьев за то, что они вели себя недостойно, сама же усердно занималась переписыванием рукописей отца, рисованием, чтением, но, главное, своим нравственным самоусовершенствованием. Она была опорой матери, которая в это время постоянно принимала калий — бромати из-за нервных перегрузок, непосильные материнские заботы давали о себе знать. Слава богу, что малыши были здоровы и веселы. Особенно радовал Алеша, который «неестественно быстро все соображал и был очень мил». Несмотря на все трудности, Софья вывозила малышей в цирк, где детей покорила своим бесстрашием укротительница львов.

А муж тем временем все меньше и меньше интересовался внутренней жизнью детей и жены. Но, как ни парадоксально, был в курсе того, что с ними происходит, всегда знал, когда «у нее дела». Софья была убеждена: не она ушла от него, а он от нее. Она всегда стремилась понять его, а значит, и простить, и того же хотела от него, чтобы муж не забывал, когда сердился на детей, что он в жизни «впереди», например, сына Сережи, на целых 35 лет, впереди Тани, как и Лёли, почти на 40, впереди нее на 18 лет. Невозможно, чтобы вся семья неслась сломя голову догонять папа. Муж должен понять, что дети только вступают в жизнь, поэтому иногда спотыкаются, шатаются и даже падают, но, несмотря ни на что, по — прежнему продолжают весело и молодо шагать по своему пути. Софья стремилась всегда быть с ними рядом, чтобы вовремя их поддержать, не

позволить им оступиться или провалиться. В этом она видела родительское предназначение, которого будет придерживаться и впредь до тех пор, пока будет жива. Она не умела и не хотела быть с ними врозь, что бы с ней ни случилось.

Тем временем Лёвочка по — прежнему «каламбурил», сравнивая себя с *comme le Pont Neuf* (молод, как старый мост. — **Н. Н.**). Он мрачно смотрел на жизнь Сергея и Ильи, считал ее праздной и пустой. Тем не менее помочь им хоть в чем-то не желал. Видя отцовское недовольство, дети еще больше отдалялись от него, а он постоянно донимал их своими нравоучениями, но из этого ровным счетом ничего путного не получалось. Противостояние между отцом и старшими сыновьями еще больше усилилось, когда Илья провалился на экзаменах. Этот удар для Софьи оказался очень серьезным. Она не знала, что предпринять, а Илья тем временем метался: то выходил из гимназии, то оставался там, то начинал готовиться к поступлению в университет.

Вскоре Лёвочка внес свои корректировки в дочерние забавы и удовольствия. Он стал поощрять Таню и Машу к вегетарианству, находя в этом основу здоровой жизни. Но эта идея абсолютно не вдохновляла Софью, предпочитавшую еду посытнее да повкуснее, а потому из-за этого всегда начиналась ругань. Она упрекала мужа, что он сбил дочерей с толку, приучил их не есть мясо, а есть уксус (!) с маслом, отчего дочери стали зеленые и худые. Лёвочка же начинал оправдываться, что он ни при чем, он только пробуждал их сознание, чтобы приучить их к минимализму. В этой брани Софья обычно не скупилась на выражения, называя дочерей «глупыми», а мужа — «дураком». Но Лёвочка только тихо посмеивался в сторонке. А однажды он попросил Владимира Григорьевича Черткова помочь ему повлиять на «женский персонал» — жену и дочерей, чтобы они как можно меньше увлекались всем новомодным, например, турнюрками, коротенькими юбочками из конского волоса, которые поддевались под платье для создания эффектного пышного зада. «Лекция» Черткова увенчалась успехом к радости Толстого.

В их московский дом часто наведывались гости. Софье особенно запомнился визит Ивана Николаевича Крамского, который, к сожалению, не застал здесь мужа, с которым очень хотел увидеться. Он приехал к ним, чтобы обсудить с Лёвочкой выставочные вопросы, а заодно расспросить, как восстановить прежние законы Общества художников. Софья была в восторге от Крамского, который посидел с ней и с дочерьми с часок, но был вынужден откланяться, поскольку спешил на собрание живописцев. Вспоминая его, она восхищалась: «Вот умен-то! Все понимает, просто

прелесть какая!» Ей было очень жаль, что такой чуткости лишен ее сын Сережа, который в своем письме папа писал все очень «нескладно», обвинял отца в том, что тот не интересовался делами Софьи, которая из-за этого очень обижалась на мужа. «Как можно так плохо понимать своих близких?!» — возмущалась она неделикатностью сына. А муж чувствовал себя совершенно чужим среди родных. Он уже не хотел довольствоваться жизнью исключительно семейной, считая это «дурью». Стремился жить для других, для всех. Но его близкие думали иначе. Все, что было дорого ему, им было противно. Так, прелестной, тихой, скромной, деревенской жизни жена предпочла жизнь совсем иную — шумную, честолюбивую, с соблазнами тщеславия, закрывала глаза на то, что происходило вокруг, и прежде всего на то, как он страдал. Она продолжала вывозить дочь на балы, стремилась к домашнему комфорту, к роскоши, к иллюзорной жизни. Настоящая же жизнь, как считал Лёвочка, проходила мимо нее. Поэтому дети росли, а их родители расходились все дальше и дальше. В этой ситуации Лев Николаевич видел три выхода. Первый: отдать все имущество. Второй: уйти из семьи. Третий: продолжить жить так, как жил. Он предпочел искать не причину болезни, а лекарство от нее: «На днях началась подписка и продажа на самых стеснительных для книгопродавцев условиях и выгодных для продажи. Сойдешь вниз и встретишь покупателя, который смотрит на меня, как на обманщика, пишущего против собственности и под фирмой жены, выжимающего сколько можно больше денег от людей за свое писанье». Все это привело к тому, что Лёвочка впал в «крайне нервное и мрачное настроение» и однажды со «страшным лицом» заявил Софье: «Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку». Если бы на ее голову в этот миг обрушился весь дом, то, наверное, она бы не так удивилась. Что случилось? Муж ответил ей аллегорией, что если на воз накладывать все больше и больше, то лошадь встанет и не повезет. Затем последовали крик, упреки, грубые слова. Софья все терпела и терпела, но когда он сказал ей: «Где ты, там воздух заражен», она велела принести сундук, чтобы уложить вещи и уехать. Прибежали дети, поднялся рев. Муж стал умолять ее остаться. Она осталась, а у него начались истерические рыдания. На нее же нашел столбняк, она не могла ни говорить, ни плакать. Молчала три часа, а потом спросила его, как мог он напоказ выставить ее и детей в своем сочинении «Так что же нам делать?». Как мог он описать буржуазность сына Сергея, который нанимал двух женщин для того, чтобы они набивали ему папиросы, а он платил им за это 2 рубля 50 копеек, который просил его, «нельзя ли его личность не выставлять»? Зачем он всему свету рассказал,

как она якобы мчалась «в развратных одеждах», ведь это была его очевидная злоба и одновременно «хвальство»? Как мог он расписывать то, как она заставляла стариков — лакеев и горничных всю ночь хлопотать вокруг нее из-за своих якобы причуд, чтобы ехать на бал веселиться? Знали он, что они всегда были мертвецки пьяны? Может быть, все-таки проблема не в ней, а в нем, в его желании самооправдаться?

Глава XXI. «Под фирмой жены»

Софья теперь ни шагу не делала из дома. Она до трех часов ночи работала над изданием сочинений мужа: объявила подписку на новое, пятое издание, забрала дела у Николая Нагорнова, мужа племянницы Лёвочки, приглядывалась к флигелю, как к возможному складу для книг. Вскоре Софья наняла артельщика для укладки книг и для всякой беготни, потом вызвала к себе торговцев бумагой, перезнакомилась со всеми директорами московских типографий и выяснила, что московские цены гораздо ниже петербургских. Поэтому ее больше устраивало печатание Лёвочкиных книг здесь, в Москве. Софья также учла и то, что возможность держать корректуры у себя дома в Хамовниках ей тоже облегчала дело. Она даже смогла подключить Лёвочку к этой работе, и они, как прежде, в лучшие времена, трудились на пару. Муж еще раз пересмотрел все свои сочинения, написанные им за тридцать лет, исправил неточности, которые были когда-то допущены переписчиками и наборщиками. Но самое главное, он вернул роману «Война и мир» первоначальный вид — заменил все фразы на русском языке на французские, а все философские размышления из эпилога перенес в главы. Он с удовольствием взялся за корректуры «Люцерна», который был немного испорчен гегельянством, просмотрел свои педагогические статьи. Его привели в восторг сцены охоты в «Анне Карениной», он даже воскликнул: «Справедливо, прекрасно!.. Благодарствуйте, Лев Николаевич, — кланяясь при этом другому, воображаемому Льву Николаевичу, — справедливо вы написали и хорошо!» Несмотря на то, что свои художественные произведения он теперь считал «дребеденью», написанной «очень дурным человеком», Лёвочка вчитывался в них чрезвычайно внимательно. Софья же, напротив, наслаждалась и умилялась его художественным шедеврам. Как-то вернувшись после шумного веселья с шарадами, она села за чтение корректур «Детства» и просидела до трех часов ночи. На нее нахлынули воспоминания, в ней проснулось совсем забытое детское чувство, которое она впервые испытала, будучи одиннадцатилетней девочкой. От чтения зарябило в глазах, и она не могла больше править корректуру. Слезы душили ее, и она зарыдала. Все-таки Софья очень любила своего Лёвочку. Ей было больно от того, что со временем их любовь «загрубела», а так хотелось «соскоблить» наносное, чтобы вернуть прежнюю чистоту этому чувству.

Софья понимала: чтобы продуктивнее вести свое дело, нужны деньги, и немалые, но их у нее не было, муж не дал ей ни копейки. Ей пришлось взять займы у матери 10 тысяч рублей, а ещё 15 тысяч рублей у орловского помещика А. А. Стаховича, который с большим удовольствием предоставил деньги под минимальный процент. Стахович помог и как большой знаток лошадей. Теперь муж просматривал повесть «Хлыстомер», а Стахович исправил прозвище лошади с «Хлыстомера» на «Холстомер», пояснив смысл прозвища: такая лошадь шагала особенно, словно холсты мерила. После этой повести, как признавался автор, он словно искупался в чистой реке, свободно плывя по волнам фантазии.

Для успешного ведения издательского дела Софьи не хватало мудрых советов людей, знавших в этом толк. Подобные советы ей могла дать прежде всего Анна Григорьевна Достоевская. По словам сестры Тани, близко знавшей вдову писателя, а также по мнению критика Страхова, Достоевская была очень опытной издательницей. Софья намеревалась повидаться с ней, но болезнь детей мешала этому. 19 февраля 1885 года она отправилась в Петербург, чтобы встретиться с Анной Григорьевной. Софья очень подробно изложила всю предысторию прежних изданий своего мужа, которыми заведовал московский книготорговец Салаев, плативший мужу очень скромные деньги. Она расспрашивала Анну Григорьевну обо всех нюансах и подводных рифах издательского дела и получила советы, которые помогли ей справиться со всеми проблемами этого ремесла. В общем, она была в полном восторге от встречи с вдовой писателя, о чем тотчас же написала Лёвочке. Еще она написала о том, как опытная издательница выручила за два года 67 тысяч рублей, перечислила множество нужных и полезных советов, полученных ею от Анны Григорьевны. Главный из них заключался в том, что нужно уступать книготорговцам всего лишь пять процентов. А еще она сообщила мужу о своей встрече с императрицей Марией Федоровной, которая состоялась в доме ее двоюродной тетки Шостак. В этой связи Лёвочка напомнил, как однажды, оказавшись в Петергофе в мае, он случайно увидел в кустах человека, щелкавшего соловьем. Муж боялся, чтобы не произошло что-то подобное с его женой. Софье было неприятно это сравнение с щелкуном из Петергофа, ведь она находилась уже не в столь юном возрасте, чтобы у нее могла закружиться голова от лицемерия царского величия. Возвратившись в Москву, она с удвоенной энергией принялась за издательские дела. Занималась подпиской, размещая объявления в газетах о новом издании. В это время она забывала о семейных страданиях, о возможном уходе мужа. Ей было нестрашно, потому что она с головой спряталась за работу.

К апрелю все подготовительные работы были завершены, о чем Софья уведомила свою наставницу Анну Григорьевну Достоевскую. Она подготовила тексты, распределила их по томам, все это сделала легко и уверенно. У нее была большая опора в лице Н. Н. Страхова, который во всем действовал в соответствии с намеченным планом. Новое, пятое издание конечно же во многом повторяло предшествовавшее, которое вышло 12 лет назад в одиннадцати томах. Теперешнее обновленное включало в себя еще один том, двенадцатый, куда она намеревалась поместить все поздние статьи и трактаты мужа. Именно с этим томом ей предстояли большие проблемы.

Софья еще раз провела успешные переговоры с владельцами московских типографий Мамонтовым, Волчаниновым, Лиснером и Кушнеревым. Они должны были напечатать отдельные тома собрания сочинений Толстого. Проблема возникла у нее только одна, и причем существенная. Она касалась цензуры. Поэтому Софья предварительно проконсультировалась с духовным цензором А. М. Ивановым — Платоновым. Тот объяснил ей, что антицерковные сочинения мужа не могут быть опубликованы, и посоветовал включить в последний том новые художественные сочинения мужа. Также он посоветовал ей заблаговременно заручиться благословением начальника Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова и конечно же обер — прокурора Священного синода К. П. Победоносцева. Его совет она приняла к сведению, а после стала размышлять, как ей быть с рекламным проспектом, с адресами для рассылки, можно ли выпускать тома собрания сочинений не по порядку, а по мере их готовности и т. д. Для этого ей были нужны копия с объявления о подписке и копия с циркуляров, полученных от Анны Григорьевны Достоевской. В общем, мытарств было много, и она делилась ими со Страховым, рассказала ему о своем визите к Иванову — Платонову. Николай Николаевич успокоил Софью, объяснив, что выпуск томов не по порядку обычное дело, а заверения духовного цензора служат очень серьезной гарантией того, что двенадцатый том может увидеть свет. Заодно она решила с ним и другие вопросы: о размещении портрета мужа, о необходимости написания предисловия, о возможности рассрочки оплаты. Страхов был уверен, что это издание станет образцовым, ведь все предыдущие были «несносно плохи».

Тем временем постоянно возникали проблемы и совсем иного порядка, которые были связаны то с добыванием денег, то с недугами, свалившимися на кого-то из детей или на нее саму. Софья до сих пор не могла оправиться после родов Саши. Из нее все время «что-то лило, точно

внутри нарыв прорвался».

Боль не уменьшалась, и она обратилась к хорошему специалисту, доктору Чижу. Тот подтвердил опасения акушерки, о чем Софья уже сообщила Лёвочке, который стал снова винить себя, мучился угрызениями совести, называл себя «грубым, эгоистическим животным». Жена успокаивала мужа, считала, что они оба виноваты — не удержались тогда после последних ее родов, сопровождавшихся желанием Лёвочки уйти из дома. К тому же, как полагала Софья, причиной ее недуга могла стать какая-нибудь и «механическая причина». Вскоре она почувствовала себя значительно лучше, в течение нескольких дней не было «ни капли крови».

Но чувство облегчения быстро прошло — ей снова пришлось окунуться в вечные проблемы повседневности, самой трудной из которых была: где достать денег? Этот совсем нериторический вопрос делал ее «измученной и растрепанной». Она постоянно скрупулезно просчитывала семейные расходы, из которых 609 рублей уходило на еду и дом, 203 рубля — на детское обучение и 98 рублей — на обслуживающий персонал, на слуг. Таким образом, деньги становились чем-то мистическим, внезапно исчезающим, чтобы объявиться вновь. А муж перестал думать о деньгах. Теперь он не придавал им никакого значения, предоставив жене полное право заниматься всеми финансовыми вопросами.

Софья даже не заметила, как полюбила темноту и тишину. Только так она могла расслабиться и на миг забыть о проблемах. Извечная суета сует давала о себе знать. Она еще больше стала любить ухаживать за больным Лёвочкой. В такие моменты особенно остро ощущала свою полезность мужу. Истинным праздником для нее становились поездки с дочерью на Мясницкую, в Школу живописи, ваяния и зодчества. Посещая вечерние классы, она забывала о своей суетной жизни. Она еще больше увлеклась обучением Андрея и Миши, находя для себя в этом труде огромную радость. Каждый раз слыша возглас сыновей: «Мама, поучи нас!» — она забывала о повседневном кошмаре, о грузе материальных забот.

А муж в это время «дышал» мыслями о Будде, сам убирал свою комнату, топил печи, колол дрова, возил на салазках воду, предпочитал ходить пешком, в поездах ездил третьим и самым дешевым классом. В общем, стремился сделать свою жизнь как можно более идеальной и христианской. Теперь он понял, что их семья может уложиться в сумму от двух до трех тысяч рублей в год. Считал, что все домохозяева должны больше давать, чем брать, и предложил по воскресным дням организовывать обеды для бедных. Хотел, чтобы семья делала больше для других, чем для себя. В общем, Лёвочка жил без мяса и обличал семью для

того, чтобы потом каяться. Иногда слабел, не писал, впадал в уныние. Правда, оживился, когда организовал с В. Г. Чертковым издательский дом «Посредник», чтобы предлагать публике дешевые, двухкопеечные издания своих произведений. К своей работе он подключил опытного издателя Ивана Сытина, а также очень образованного Павла Бирюкова. Софья же подмечала в Черткове что-то несимпатичное, подозрительное и суетливое. Она пришла в ужас, когда услышала, как Владимир Григорьевич уговаривал мужа зачем-то поехать с ним в Петербург, где обещал Лёвочке устроить жизнь более достойную. А вот теперь, как ей показалось, он уж слишком «зажился» у них в Москве, спал в комнате с Лёлей и сиял счастьем. Короче говоря, муж с большим воодушевлением занимался делами «Посредника», что-то специально сочиняя для него, а она тем временем готовила свое издание его сочинений.

Софья захватила с собой в Москву рукопись «Холстомера» для набора и постоянно торопила мужа закончить работу над повестью «Смерть Ивана Ильича», предназначенной ею для последнего, двенадцатого тома собрания сочинений. Наконец, он склонился к тому, чтобы подправить повесть. Быстро пробежав несколько отрывков из «Холстомера», Софья воскликнула с восхищением: «Очень хорошо! Вот пишет-то, точно это нам». Ей хотелось, чтобы Лёвочка побольше «пачкал» пальцы чернилами, когда трудился над этим сочинением, а не над текстами для «Посредника», такими как «Ильяс», «Где любовь, там и Бог», «Два брата и золото». Ее раздражало, когда муж занимался чем-то другим, а не писательством, например, когда шил ботинки на толстых подошвах для Афанасия Фета, за что получил «свидетельство» о «полной целесообразности работы».

У Софьи было забот по горло. Надо было снова поподробнее расспросить Анну Григорьевну обо всех тонкостях подписки на издание, чтобы оно расходилось быстрее. Она не забыла о том, как сочинение мужа, изданное Вольфом, не могло разойтись аж за двадцать лет. А другое Лёвочкино издание 1873 года, вышедшее в восьми томах, тиражом 3600 экземпляров по цене 12 рублей за экземпляр, продавалось крайне туго, так как не было распространителей и толковых книгопродавцов. Поэтому приходилось довольствоваться только теми заказами, которые поступали от очень крупных торговцев за наличный расчет. В общем, ей не хотелось дважды входить в одну и ту же реку. Софья очень ответственно относилась к своему издательскому делу, видя в нем единственно достойный источник существования своей огромной семьи. Она не могла позволить себе широким жестом безвозмездно раздавать то, что принадлежало ей и детям, не была намерена кормить дармоедов, наживавшихся на Лёвочкином труде.

В октябре 1885 года вышли в свет пятый, шестой, седьмой и восьмой тома полного собрания сочинений Толстого. Это было только первое издание, выпускаемое ею. То ли еще будет! В ноябре увидели свет уже третий и четвертый тома. Как же она была благодарна Анне Григорьевне Достоевской за ее мудрый и практичный совет о выпуске томов вне зависимости от их очередности! Но возникли проблемы с последним, двенадцатым томом, притом очень серьезные, и Софья снова отправилась в столицу, чтобы расставить все точки над «і». Перед поездкой она успела дать объявление в газете о выпуске полного собрания сочинений мужа.

Поездка оказалась слишком трудной. Ведь ей пришлось выполнить сразу несколько поручений мужа, например, нанести визит начальнику Штаба, генералу Обручеву, чтобы попросить его о смягчении наказания А. П. Залюбовскому, который отказался от военной службы, и как она полагала, не без влияния пацифистских взглядов своего мужа. Лёвочка очень переживал за судьбу этого молодого человека и просил Софью сделать все возможное для его спасения, то есть узнать у Кузминского, который в это время находился в должности председателя Петербургского окружного суда, к кому можно обратиться с этой просьбой. Что и говорить, муж умел загрузить жену своими заботами.

Особенных напряжений от нее потребовал заключительный, двенадцатый том, который долгое время оставался не-сформированным. Духовные сочинения мужа Софья передала в Московский духовный цензурный комитет, члены которого сочли сентенции Толстого чрезвычайно дерзкими. Кроме того, ей приходилось ждать, когда же наконец Лёвочка завершит работу над повестью «Смерть Ивана Ильича». Софья даже не догадывалась о скрытых смыслах этого произведения, о намеках на их совместную жизнь. Поэтому она искренне обрадовалась, когда муж преподнес ей это сочинение в подарок на день рождения, 17 сентября, сказав при этом, что это очень скромный презент.

Казалось, ей удалось невозможное: опубликовать в двенадцатом томе, вышедшем в апреле 1886 года, не только новые сочинения мужа, но и фрагменты трактата «Так что же нам делать?», появившегося под заглавием «Мысли о переписи», в котором Лёвочкина тенденциозность была несколько смягчена филантропическим смирением. Во имя этого она штурмовала всяческие преграды. Благодаря ее усилиям Московский духовный цензурный комитет все-таки рассмотрел корректурные листы «Исповеди», трактата «В чем моя вера?».



Аллея в Ясной Поляне



Софья Андреевна и Лев Николаевич с сыном Мишей. *Ясная Поляна, 1898 г.*



Софья Андреевна и Лев Николаевич с детьми и гостями в парке Ясной

Поляны. 1899 г.



С внуком Лёвушкой. Ясная Поляна, 1898 г.



С внуками Сонечкой (на руках) и Лёвущкой. Ясная Поляна, 1900 г.



Москва. 1898 г.



Софья Андреевна позирует художнице Юлии Игумновой. Ясная Поляна, 1899 г.



Софья Андреевна и крестьянка Анна Маслова. 1898 г.



Ясная Поляна. 1901 г.



Лев Николаевич и Софья Андреевна. Ясная Поляна, 1901 г.



Лев Николаевич и Софья Андреевна с племянницами Верой и Лизой.

Ясная Поляна, 1901 г.



Софья Андреевна с детьми. Гаспра, 1902 г.



Лев Николаевич во время болезни в окружении родных и близких.

Гаспра, 1902 г.



С букетом лилий в День Святой Троицы. Гаспра, 1902 г.



Внуки Ванечка и Танечка. Ясная Поляна, 1904 г.



В день семидесяти пятилети Льва Николаевича. Ясная Поляна, 28 августа 1903 г.



С. А. Толстая. Ясная Поляна, 1903 г.



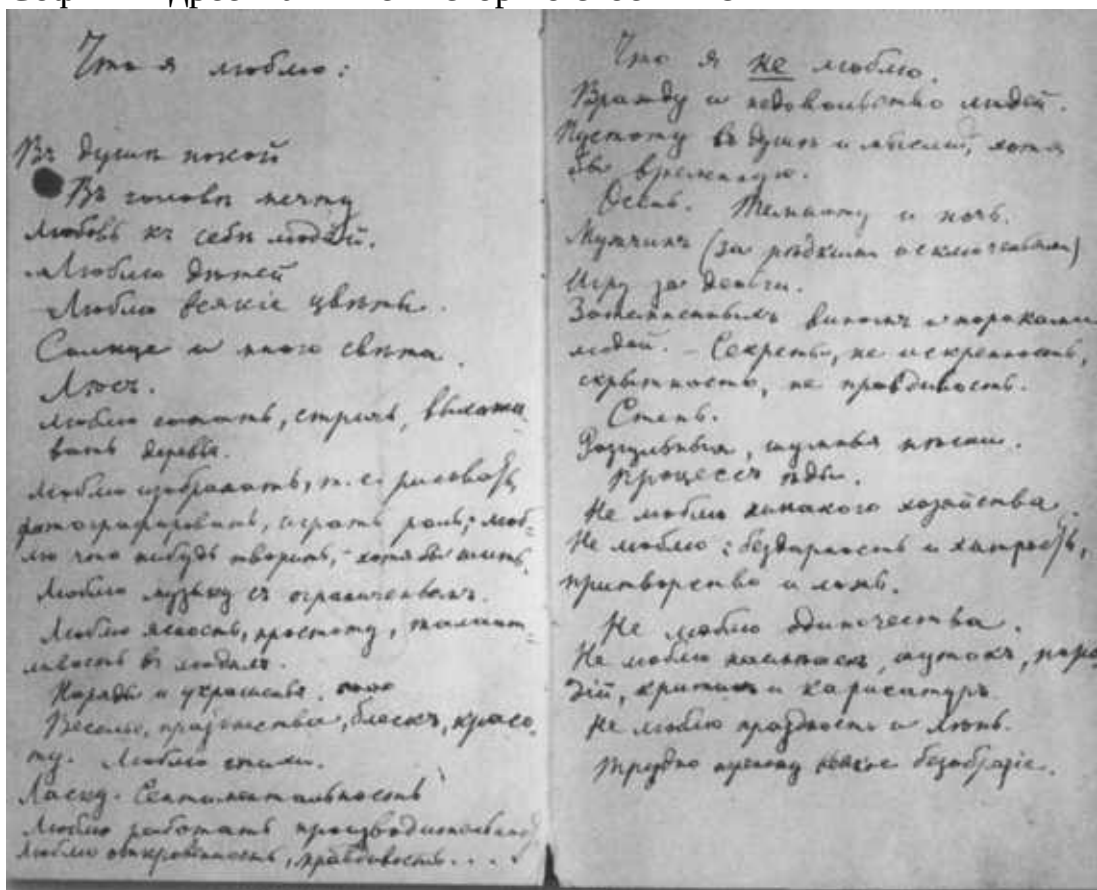
С.И. Танеев Ясная Поляна 1907 г



Софья Андреевна делает копию картины Ильи Репина



Софья Андреевна пишет историю своей жизни



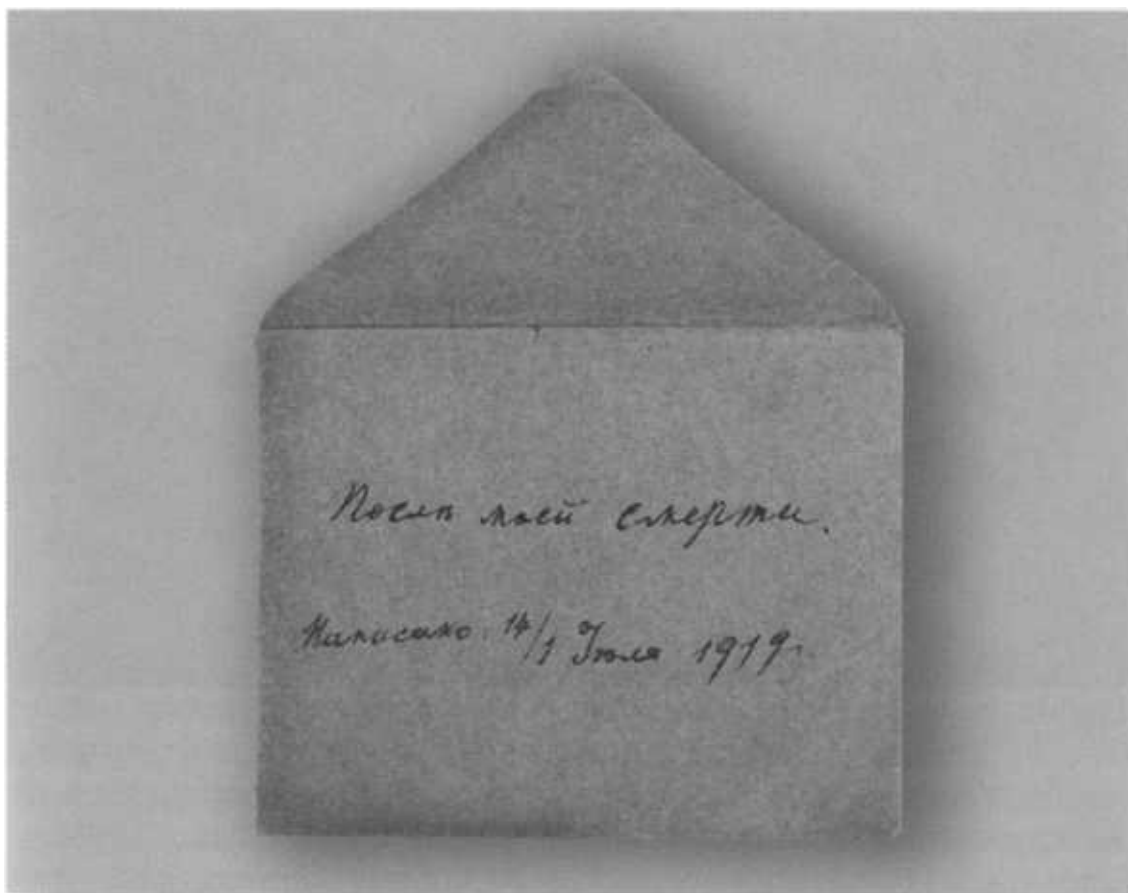
Из записной книжки С. А. Толстой



Последняя годовщина свадьбы. Ясная Поляна, 23 сентября 1910 г.



Софья Андреевна на могиле Льва Николаевича. 1912 г.



Последнее письмо Софьи Андреевны семье.



Софья Андреевна Толстая

После этого сообщил Синоду, что в этих сочинениях заключается немалый соблазн, способный произвести сумятицу в отдельных умах и таким образом нарушить единение Церкви и государства. В итоге комитет сделал представление на усмотрение Синода. Вскоре Софья получила письмо от Победоносцева о том, что «нет никакой надежды» на то, чтобы статья «В чем моя вера?» была пропущена Синодом, так как «при всем добром намерении автора» она произвела бы «вредное действие на умы». Невзирая на все эти опасения и предупреждения, она все-таки добилась своего, и Лёвочкино сочинение вышло в новом собрании сочинений, пусть и в несколько усеченном виде. Это было ее победой, и уж, конечно, не пирровой. Объявив подписку на сочинения мужа, она тайно надеялась на то, что это издание окажется самым образцовым по сравнению с предыдущими. Что ж, интуиция не подвела ее. Лёвочка очень радовался за Софью, за ее триумф, за выход двенадцатого тома, но больше всего за выход сказки «Об Иване дураке и его двух братьях».

Теперь веселее стало в их доме. Детям было разрешено делать все, что они хотели. Их даже отвезли в Собачий театр, приглашали к ним гостей, да еще каких, самого «Петрушку Уксусова» (!). Так назывался театр марионеток. А для взрослых детей был предложен иной сюрприз: в масках они отправились к знакомым, знавшим толк в веселье. Компания подобралась что надо, с тапершей, и на шести санях разъезжала от одного дома к другому, плясала и ликовала... Этот год завершился для Софьи удачно. Но что ожидало ее в новом, 1886–м?

Глава XXII. Натурщица

Издательский фурор не вскружил Софье голову. Жизнь закалила ее, приучив легко приспосабливаться ко всем поворотам судьбы. Тем не менее, несмотря на усталость, ей дышалось значительно легче. С трудным и незнакомым издательским делом она справилась успешно. Теперь ей не нужно было беспокоиться о том, что дети пострадают от экспериментов своих родителей из-за их беспечности, непрактичности или из-за издательского произвола. Софья сумела выстоять, не поддавшись стремлениям мужа к идеалу бедности. Она не ошиблась в своих расчетах, не сделала ставку на другие проекты, не стала всерьез размышлять о прибыльности яснополянского хозяйства или успешности картофельного завода в Никольском. Софья нашла свой дивиденд не там, а в издательской деятельности. Она устала от иллюзий и утопических планов мужа, не ждала денег от самарских арендаторов, прекрасно зная, что даже взятый в наем яснополянский яблоневый сад не принес никакого дохода.

Отныне и навсегда издание и продажа книг будут находиться в ее руках. Так будет надежнее, и свое право она никому не отдаст. Софья завела в своей «фирме» строгий порядок. Книги теперь не валялись как попало на складе. Они были аккуратно сложены в пачки. Также книги были застрахованы и строго учитывались. Софья гордилась своим детищем, полным собранием сочинений мужа, отпечатанным на хорошей бумаге. Но самое главное в издательском дебюте Софьи, пожалуй, заключалось в ее стоическом упорстве, в страстной защите и отстаивании позиции мужа — писателя во что бы то ни стало.

После проделанной ею плодотворной работы совсем поиному проходила жизнь в их доме. Софья с еще большим энтузиазмом собирала всех родных, близких и друзей вокруг большого обеденного стола. Даже Лёвочка в это время казался ей «очень семейным». К ним в гости нередко заезжала родня деверя Сергея, а также Истомины, Олсуфьевы, супруги Фет. Приходили и ученые мужи, редакторы журналов, например, Юрьев, редактор «Русской мысли», профессор Бугаев, и затевались «умные» разговоры. Было очень интересно. А по воскресным вечерам собирались больше «все свои»: деверь с дочерьми, дядя Костя, из светских — Жирковы, Лопухин, Трескин, Львов. Играли в винт, ужинали, заставляли петь Татьяну Кузминскую, молодежь же предпочитала играть в колечко или веревочку. После девяти вечера гостиную обычно запирали, потому что

муж ложился спать. Он уставал, часто говорил, что его «совсем бабы одолели» или упоминал себя в женском роде: «я пила, я ела», стал даже носить кофточку и начал учиться вязать. Муж был очень мил и дружелюбен. Казалось, тоска прошла.

Софья любила многолюдье в своем доме, когда было весело, шумно, все шутили, дразнили друг друга, играли в остроумную почту, передавая соседу на ухо какую-нибудь фразу, которая, обойдя всех присутствовавших, наконец, возвращалась к человеку, запустившему ее вокруг стола, в форме потрясающей глупости, произносимой вслух под общий хохот. Она все время посматривала на мужа, думая о том, какой червяк насквозь проел такой сочный и красивый плод. За общим столом он был словно чужой, привносил в радостное застолье какую-то пасмурную грусть, из-за которой становилось неловко и неудобно. Поэтому между ним и ею возникали горячие споры. Софья «подавала» лаконичные реплики, а он, конечно, парировал ее «подачи», возражал, настаивал на своем, порой даже очень горячился. Дочь Таня сразу же становилась на сторону отца. Она была очень открытой, как мама. Кульминацией их обеда был разлив кваса из большого кувшина. В спешке его проливали на скатерть, и взрослые бросались промокать его салфетками, но это не помогало. Поэтому скатерть всегда была залита чем-нибудь, а еще на ней непременно была целая горка хлебных крошек и пирамида из посуды, дожидавшаяся опоздавших гостей. Грязные скатерти позволяли дочери Тане легкомысленно утверждать, что «все Толстые — неряхи».

А «Фетушка» посвятил Софье стихи, написанные в одно из приятных воскресений:

Когда стопой слегка усталой
Зайдете в брошенный цветник,
Где под травой одичалой
Цветок подавленный приник,
Скажите: давнею порою
Здесь жил поклонник красоты,
Он бескорыстною рукою

И для меня сажал цветы...

«Очень мило! — воскликнула Софья. — И грация есть, и я». Она была очень довольна.

Однако не было даже запоздалых цветов. Произошло совсем иное,

очень печальное событие. В январе 1886 года ее постигло большое горе. Умер ее любимый четырехлетний малыш Алеша. Он скончался от крупы. Софья усмотрела в смерти ребенка возмездие судьбы за ее желание избавиться от долга материнства, когда она все перепробовала, чтобы у нее не родился двенадцатый ребенок. Закон отмщения воздал ей за грехи, за нежелание рожать. Рок отнял у Софьи любимца, забрал чудного, умного, красивого мальчика, к которому она так была привязана.

Она отпустила трех своих малышей на прогулку, одела их в теплые лисьи шубки, барашковые шапочки, в валенки и башлычки и послала присматривать за ними гувернантку — англичанку. Сама же с дочерью Машей отправилась на концерт Рубинштейна. Погода была скверная, зябкая, было морозно и ветрено. Алеша, конечно, продрог и заболел. Софья постоянно находилась с ребенком во время болезни, давала микстуру, грела припарки, угощала калачиком со смородиновым вареньем, пригласила педиатра, профессора Нила Филатова, который до этого уже лечил маленького пациента. Потом вызвала и профессора Беляева с зеркалами и прочим инструментом для горла, который порекомендовал «ставить ножки в горячую воду». Но малыш весь горел и звал папа. После смерти ребенка Лёвочка признался, что «умер лучший из трех малышей».

Софья передумала хоронить Алешу в Новодевичьем монастыре, куда поехала с Ильей, чтобы выбрать место для захоронения, стоившее 250 рублей серебром. Ей не понравились торг и вся обстановка, в ее душе был ад, жить не хотелось. Она решила похоронить сына в Покровском, в котором не была с тех «августовских стальных» мистических дней. Солнечный закат, родные места, лес, розовый снег, обрыв над речкой Химкой и сельское кладбище. Софья поняла, что младенец должен быть похоронен здесь, в ее «Швейцарии», которую она обожала с детства. Гробик был привезен на больших санях, на которых она еще совсем недавно ездила с Алешей в театр обезьянок, а теперь — провожала в вечность. Старый священник, няня, соседи сразу узнали Софью, дочь доброго Андрея Евстафьевича Берса. Мужики поклялись хранить могилу Алеши. А она попросила сестру Таню, чтобы ее похоронили здесь, рядом с сыном. Траур длился три месяца, после чего Софья позволила детям даже «пляснуть», тем самым перевернув скорбную страницу.

И снова в их доме воцарилась творческая художественная атмосфера, средоточием которой стал Иван Николаевич Крамской. У них в гостях не раз бывали знаменитые живописцы, первым из которых стал он, создавший гениальный портрет автора «Анны Карениной», а творец прославленного романа тоже писал в это время свой портрет художника — героя

Михайлова в этом романе. Таким образом, получился двойной портрет двух мастеров. С легкой руки Крамского в их московском доме вскоре объявился Николай Николаевич Ге, в жилах которого текла французская кровь. Он обворожил все благородное семейство. Николай Николаевич увлекался женщинами, но с безукоризненным чувством меры, всегда помня, что хорошо, а что дурно. Он по — отчески патронировал дочь Таню, постоянно вдохновляя ее к творчеству, убеждаясь в том, что при ее завидных способностях она, к сожалению, не имеет страсти к живописи. Таланту же страсть необходима. Он много говорил с Таней о даре Божьем, уверяя ее, что только искра небесного огня способна превратить человека в великого художника. А Таня больше любила жизнь, чем искусство, и потому первое победило в ней второе. Николай Николаевич очень ценил Лёвочку, желал отплатить за его внимание добром. И поэтому предложил написать портрет Тани. Муж возразил и попросил преподнести ему другой подарок — написать портрет жены. Софья вспомнила портрет мужа кисти Ге. От него просто глаз нельзя было оторвать. На холсте Лёвочка был словно живой, он сидел с опущенной головой и писал, устремив взор на листы бумаги. Этот его взгляд смущал ее. Ведь она хорошо знала, что вся сущность мужа — в его глазах. А теперь Ге с удовольствием принялся выполнять просьбу друга, взял кисть и сел за мольберт, чтобы писать портрет Софьи. Он любил разгадывать на полотне свои контраверзы, будь то в образах Иисуса и Пилата или в облике жены писателя. Лучшей модели, чем Софья, казалось, не существовало. Художник изобразил ее в бархатном платье, барыней, у которой в кармане 40 тысяч рублей. Но, посмотрев еще раз на портрет, решил переделать его. Ге забраковал портрет, увидев вытаращенные глаза модели и непропорционально вытянутую фигуру. Сходства с Софьей не было почти никакого. Все знакомые, глядя на этот портрет, спрашивали: «Кто эта женщина?» Свое фиаско художник объяснил тем, что в то время плохо знал свою натурщицу, а теперь, узнав, понял, что ее надо написать в образе матери. Поэтому он попросил ее позировать в халате с годовалой Сашей на руках. И снова провал. Образ Софьи явно не удавался Ге. В третий раз она стала позировать художнику сразу после смерти Алеши. Поэтому была вся в слезах и очень расстроенная. На сей раз портрет вышел очень картинным. На нем была изображена мать с годовалым ребенком. Получилось очень красиво. Дочка Саша была похожа на себя, но образ ее матери художнику вновь не удался. Все думали, что на портрете изображена какая-то родственница Софьи. Близко поставленные глаза, другое выражение лица, всё не ее и всё не то. Слава богу, что неудача не сказалась на добрых отношениях художника и модели. Софья по —

прежнему с большим удовольствием угощала дорогого гостя чем-нибудь вкусненьким и сладеньким, а когда на стол подавался простой картофель, Ге обижался и говорил ей: «Что это, маменька, какую гадость мне подали, дайте что —нибудь вкусненькое». Софья с радостью исправляла оплошность и приносила гостю варенье, пастилу или смокву.

Смерть Алеши еще раз убедила Софью: человек не знает, сколько в нем заложено сил. После ухода сына она не только продолжала жить, но и упорно собирала деньги за подписку и продажу сочинений мужа, чтобы расплатиться со своим кредитором Стаховичем. Однажды она пришла в банк, чтобы взять там деньги. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что на ее счете не доставало четырех тысяч рублей. Софья забеспокоилась и спросила Колечку Ге, сына художника, который заведовал ее печатными делами, куда подевались деньги. В этот миг она запомнила его «улыбочку» — ухмылку. Колечка признался ей, что машинально положил эти деньги в карман панталон и забыл о них. После странного и неожиданного обнаружения пропажи она наконец-то смогла расплатиться со своим благородным кредитором.

Между тем судьбе было угодно, чтобы Софья послужила привлекательной моделью и для других живописцев. Конечно, она хотела и сама рисовать, даже брала уроки у Ильи Прянишникова и Василия Сурикова на Мясницкой, но прежде все — таки являлась моделью для своего мужа. Сама Софья так и не стала творцом. А муж заказал ее портрет Валентину Серову. Конечно, ей было лестно позировать этому модному и талантливому художнику. Ее смущало только одно: трата времени на позирование. На этот каждодневный процесс уходило от трех до четырех часов. А подобных сеансов набралось девятнадцать. Софья же только и думала о том, сколько дел за день ей нужно успеть сделать. Например, съездить в банк, поправить корректуры, позаниматься с детьми и т. д. Однако сеансы продолжались, и она должна была постоянно находиться в заданной художником позе. Серов усадил свою модель в кресло, попросил ее облокотиться левой рукой на локотник, надеть черную накидку, отороченную мехом. Софья согласовала с ним возможность демонстрирования важного для нее аксессуара — черепахового лорнета на золотой цепочке, а также перстня, подаренного мужем за переписывание «Анны Карениной». Черные волосы она эффектно украсила красной розой. Портрет получился корректным, деловым, но не увлекающим, поскольку не увлекла художника сама модель. Софью тоже не всё устроило в этом портрете. Ей казалось, что она выглядит несколько старше своих 48 лет. Но Серов не реагировал даже на похвалы, что уж говорить о какой-либо

критике. Он постоянно что-то переделывал, но при этом писал очень быстро. Дочь Таня была в полном восторге и бесконечно хвалила портрет. А живописец все продолжал править его. С этим портретом возникло небольшое недоразумение. Софья отослала гонорар Серову в размере 600 рублей, его вместе с распиской должен был передать художнику артельщик Матвей Румянцев. Но Серов неделикатно, как показалось Софье, попросил 800 рублей вместо оговоренных 600. Он также высказал свои критические замечания по поводу рамы, которая ему не понравилась, портрет был просто «убит» ею.

Между тем в жизни Софьи события сменяли одно другое. Среди них были как печальные, так и радостные. Пришли плохие новости из Ялты: умирала ее мать, Любовь Александровна. Сын Сергей заканчивал университет и готовился к чиновничьей службе. Илья собирался жениться на почти бесприданнице Софье Философовой, что поощрял его отец. Таня и Маша однажды залезли в мраморную ванну одной из московских бань, торжественно заявив при этом, что таким образом они совершили символическое крещение, чтобы начать новую жизнь в согласии с отцовскими заветами. А сама Софья тем временем принялась разбирать многочисленные Лёвочкины бумаги, которые были в ужасном беспорядке. Она твердо решила отдать их на хранение в Румянцевский музей. Эта мысль созрела у Софьи давно, но не хватало времени привести ее в исполнение. Теперь же она, наконец, написала письмо об этом библиотекарю Николаю Федорову. Потом подала прошение Дашкову, и рукописи были привезены и приняты в музей. Это было важное дело, как и страхование московского дома и всех книг, в нем хранящихся.

Тем временем приближалось значительное событие. 23 сентября 1887 года была их серебряная свадьба, которую «молодожены» предпочли отпраздновать просто, без шика и без оркестра, как случалось в старые добрые времена. Они собрали всех детей, пригласили бывшего шафера, старшего брата Софьи Александра, который прибыл с подарком — серебряным кубком. Конечно же был лучший друг Лёвочки Дмитрий Дьяков, который поздравил их со «счастливым браком», но муж поправил его: «Могло бы быть лучше!» Софье было тяжело это слышать. Несмотря на свои вечные хлопоты и заботы, оказалось, что она так и не смогла удовлетворить требовательного мужа. И тут же у нее начались очень сильные желчные колики, она захворала, и наступила ее коварная невралгия, предвещавшая недоброе — новую беременность. Сестра Таня тоже забеременела, и они теперь смеялись друг над другом, что у них родятся две Соньки. А муж в это время попросил «пардона» и удалился в

Ясную Поляну.

Глава XXIII. Спальня

Только что отгремел их супружеский серебряный юбилей, и теперь Софье было о чем поразмышлять, подвести некие итоги: что получалось хорошо, а что не очень в их совместной жизни. Безусловно, она понимала, что ей выпал особый жребий быть женой гения. И это ко многому ее обязывало, заставляя соответствовать этому высокому сану. Образно говоря, ей приходилось вставать на котурны, чтобы хоть как-то дотягиваться до масштабов своего мужа. Она знала, что отныне и навсегда ее имя будет связано с именем великого Льва и что ее путь будет очень тернист. Лёвочка был преисполнен противоречий, был человеком непостоянным, менявшимся. Даже в течение одного дня он был то «утренним», когда в нем был очень суров критик, то «вечерним», когда его критик отдыхал. Короче говоря, Софье было крайне трудно подладиться под мужа. Когда она приносила ему кефир, он говорил, что хочет херес. Его противоречивость сказывалась на всем, в том числе и на интимных отношениях. Он все больше и больше вступал в борьбу с анковским пирогом, означавшим для него сверхблагополучие. Ему же хотелось страдать.

Лёвочка давно убедил ее, что поведение жены в его понимании подобно некой узкой дороге, с которой нельзя сворачивать ни направо, ни налево, особенно это касается сексуальных отношений. Жена не может быть потехой для мужчин, она не Магдалина. Теперь он стал еще категоричнее, утверждая, что потеха жены даже с мужем дурна. Уже с пятнадцати лет он мечтал о семейном счастье, представляя его в романтическом ореоле. Однако с годами его тон становился все ригористичнее.

Софья запомнила Лёвочкину фразу, как-то случайно оброненную им: «Все вопросы решаются только ночью». Действительно, думала она, сила брака заключается не только в деторождении, но и обладает большим метафизическим смыслом. С годами Софья убедилась, что все великое лучше видится на расстоянии. Вблизи совсем иное восприятие, уже без иллюзий и таинственности. Обыденность срывает пелену необычности, указывает на схожесть с обычным, привычным от вечности. Прожив четверть века бок о бок с мужем, она прекрасно разбиралась во всех переливах и вибрациях его чувств. Иногда получала нужные подсказки из его текстов, помогавшие легче пережить ссоры, размолвки, лопнувшие струны, как

говорил в таких случаях муж. Физическая близость позволяла склеить то, что со временем разбивалось. Софья знала, что именно она была нужна ему, а не прежние претендентки, скучные, холодные, способные лишь на то, чтобы угостить мужчину морализаторскими конфетами. Только она, сильная, красивая, эротичная, молодая, была достойна того, чтобы находиться с ним рядом и оставаться притягательной для него. Именно она стала земным воплощением идеала женской красоты, верной копией Сикстинской Мадонны Рафаэля, реализованной грезой его представлений о семейном счастье. Их любовь творила чудеса, превращая «фарфоровую куклу» в плодовитую самку, способную удовлетворить «троглодитский» аппетит мужа. В общем, здесь «бездна бездну призывала». Они творили свою любовь, в которой романтическое переплеталось с эротичным.

С тех пор как их жизнь покатила под гору, Софья все чаще и чаще замечала в поведении мужа фиглярство, выражавшееся в претензии на святость, потому что в реальной жизни, а не в проповедях его слово расходилось с делом. Проповедуя целомудрие в брачной жизни, он по — прежнему оставался гиперсексуальным самцом, не поддававшимся пуританским умонастроениям. Он по — прежнему был докой в «науке страсти нежной, которую воспел Нави». В их супружеской жизни бывало всякое, потому что подлинные страсти здесь просто бушевали, вызывая мысли о разводе, яростные крики и упреки, срамные и грубые слова.

Порой Софье не хотелось отвечать ударом на удар, и тогда словесные баталии заканчивались перемирием. Со временем она поняла простую истину, что сам процесс жизни интригует не меньше, чем итог, и потому она вновь и вновь удивленно и восторженно смотрела на мужа, который бывал разным: то смиренным, то гневливым, то радушным, то неприветливо хмурым, то барином до кончиков ногтей, то простым работником. Но, самое главное, он по — прежнему оставался в преизбытке своих сил, когда, например, отстаивал свои мысли или шутил над ней и детьми. Иными словами, «хвост был крючком», как сам он любил говорить о подобном своем состоянии. Он гулял, ездил верхом, писал, жил, как хотел, пользовался услугами дочерей Тани и Маши, семейным комфортом, покорностью жены. А еще, как казалось Софье, илестью людей, особенно Чертова.

Однажды муж попросил ее найти одно из писем Репина на большом листе. В огромной кипе разнообразной корреспонденции она увидела письмо Чертова, в котором он высказывал свои соболезнования по поводу нее, якобы ничего не понимавшей в умонастроениях своего мужа. В этой связи он хвалил свою жену Анну, которая сочувствовала ему во всем и

была идеальной единомышленницей. Что и говорить, Софью просто взорвало пакостное письмо новоиспеченного друга ее мужа. С этого дня она возненавидела Черткова, который никогда не поражал ее своей якобы несравненной красотой и аристократизмом. Она видела этого человека насквозь, наблюдала за тем, как бесстыдно он жил мыслями ее мужа. Он был как черная кошка, постоянно пробегавшая между ней и Лёвочкой. Она и Чертков стали соперниками. Софья была в ужасе оттого, как он обращался, например, с сочинениями мужа, словно они были его собственными. Она не желала быть благодетельницей ни для Черткова, ни для различных журналов, в которых он размещал произведения Лёвочки, но и не хотела при этом окончательно разругаться с Чертковым. Ведь оба они были привязаны к одному и тому же человеку, и он отвечал им взаимностью.

Конечно, возникал соблазн раз и навсегда расставить все точки над «і», но она сдерживала себя, продолжая мучиться мыслями, что муж и Чертков выживают ее из своей личной жизни. Появлялись всякие опасные мысли, например, убить себя или полюбить кого-нибудь, назло Лёвочке, и исчезнуть из его жизни. А муж, как ей казалось, воспринимал эту подковерную борьбу царственно и надменно, оставался над схваткой и только хитро посмеивался над суетой сует, словно не догадываясь, как Чертков подкапывал ту связь, которая существовала уже более четверти века. Для нее «единомышленник» мужа так и остался тупым, хитрым, лживым льстецом.

В домашней жизни «великий Лев» имел совсем иной масштаб, более «мелочный». А черти всегда водятся в мелочах. Однажды, совсем случайно, Софья узнала, что чувственные порывы очень будоражат воображение мужа и он чуть не попал в ловушку своей похотливой страсти. Однако случай, за которым, без сомнения, скрывался Бог, помог ему избавиться от этого греховного наваждения. Чувственные соблазны не раз посещали его, о чем он без утайки рассказывал в своих дневниках, а она их пролистывала. Лёвочка беспрестанно молился Богу, чтобы он уберег его от чувственных порывов.

Во время прогулок он часто встречал дородную, спелую кухарку Домну, которая притягивала его словно магнит. Он увлекся этой забавой, похожей на охоту. Сначала он стал посвистывать ей, затем провожать девку, разговаривать с ней о чем-то, а потом даже договорился о свидании. Бог молодости вселился в него, испытывая на прочность, надеясь на то, что соблазн сам собой его покинет. Когда он поспешил на свидание с ней, борясь с охватившим соблазном, его остановил голос сына, спасший отца

от греха. Он вернулся домой. Однако соблазны продолжились. Он понял, что ему надо покаяться перед кем-нибудь, рассказать о своих мучениях и о своем полном бессилии перед грехом. Обо всем этом он поведал другу, учителю детей В. И. Алексееву, которого Софья почему-то недолго любила. Муж одержал победу над своим пороком. Покаяние помогло.

Что ж, прав был Лёвочка, говоря, что ничто в этой жизни, включая все катаклизмы, не может сравниться с трагедией спальни. Слава богу, у них с мужем до трагизма пока не дошло, он так ни разу и не изменил ей, но проблемы, конечно, возникали. Спальня служила неким барометром их брачных отношений, не раз сменявших счастливый праздничный эротический бурлеск хаосом пучины.

Короче говоря, Лёвочкин портрет в исполнении Софьи выглядел вполне реалистичным. Она действительно, как никто, знала мужа, научившись заглядывать ему прямо в глаза. Софья запомнила один из его пассажей, который многое объяснил в их отношениях. Как-то Лёвочка поделился с ней своим странным открытием: рассказал ей об уборке своего кабинета. Он начал стирать пыль с мебели, со всех предметов и вдруг оказался рядом с диваном в полном недоумении: он не мог вспомнить — вытирал ли он его или нет? Муж понял, что все движения, проделываемые им, стали настолько привычными и машинальными, что их как бы и не было. Казалось, что и сама Софья превратилась в привычную незамечаемую вещь. Слушая Лёвочку, она подумала, что вся жизнь проскользнула словно песок сквозь пальцы, просыпалась в никуда, не оставив и следа. Но поразмыслив, тотчас же поправила себя: так, да не совсем так. Ведь после них будут жить их дети, потом внуки, правнуки... Значит, жизнь не напрасно прожита. После подобных мыслей ей было уже не так страшно жить. Она уже не корила себя за то, что зря вышла за него замуж и народила столько детей. Ей хотелось верить в то, что их связала сама судьба и любовь. Поэтому им не страшны кризисы, конфликты, бурные сцены, слезы и рыдания. В общем, победила «ласка — любовь». 31 марта 1888 года у Софьи родился очень слабенький малыш. Уже сказывались ее немалые годы и подорванное здоровье. А в это время из нижних комнат до нее доносились голоса молодежи, возбужденной приходом славного гостя Сергея Ивановича Танеева, не подозревавшего о том, что в это время происходило в доме. Он, конечно, нервничал, не понимал, куда подевалась хозяйка, спрашивал детей, где она. Таня рассказала, что мама съела много капусты, из-за которой у нее сильно заболел живот. Но Танеев так и не понял шутливых намеков дочери. Он просидел в ожидании весь день, много болтал и шутил с детьми, пока

Андрюша не объявил о том, что мама родила сына. Танеев был смущен и два года не приходил к ним в гости.

Последние роды Софьи были трудными. Она кричала целых два часа. Муж плакал, рыдал, чувствуя свою вину и возраст, ведь ему скоро исполнялось 60 лет, а ей было уже 43 года. Но Софья считала себя крепкой и здоровой, правда, немного нервной и утомленной предыдущими родами. Лёвочка сразу же принялся за свое: стал настаивать на том, чтобы она сама кормила ребенка, а дочь Таня просила взять в дом кормилицу. Мужниной точки зрения придерживался и доктор Покровский, и Софья была вынуждена покориться их уговорам, хотя очень страдала из-за болей, вызванных огромными трещинами на сосках. Молока у нее было очень мало, и ребенок голодал. Не поэтому ли у нее возникла особая умиленная любовь к этому малышу, которого она мечтала назвать Юрием. Но ее сыновья предложили свой вариант, очень остроумный. Они сложили первые буквы своих имен, и вышла комбинация «СИЛАМ», с которой было сложно что-то сделать. Потом решили сложить имена дочерей, и получилось «ТМА». Мальчишки визжали от радости, что победили своими силами «ТМУ». Поэтому настояли назвать брата Иваном. Имя пришлось всем по душе. Лёвочка впервые за все свое многолетнее отцовство взял младенца на руки, не дожидаясь шести недель, и сразу стал его жалеть и целовать. А Софья, видя эти нежности, думала о своем. Перед ней был все один и тот же «Бабу», продолжавший длинную цепочку прежних братьев и сестер, а вовсе не новый младенец.

Софья переживала, что из-за беременности не смогла присутствовать на венчании сына Ильи. Она радовалась, что Андрюша и Миша стали охотнее учиться, а Таня и Маша уже преподавали в школе для крестьянских детей, которых собралось аж 50 человек. Муж был в восторге от этой затеи. Ученики все делали сами: кололи дрова, топили печи, убирали школу. Андрей и Миша выросли, и муж теперь приучал их к охоте, внушая им простую мужскую истину, что охота — надежный способ предохранения от онанизма. Эти отцовские постулаты они брали на заметку, а другие, например, церковные, по — своему переосмыслили. Андрей все больше и больше тяготел к православию, а брат Миша усвоил иную мораль и был абсолютно равнодушен к вере. Маша сдала все экзамены на звание домашней учительницы, чем была очень горда. Софья всегда стремилась к тому, чтобы ее дети выросли образованными людьми, а не никудышными «митрофанами». А Лёвочка старался воспитывать их по — мужски, прививал им добрые убеждения, хотел видеть своих сыновей не такими, какими они стали, а лучше, добрее. Софья же считала, что помехой всему

хорошему в сыновьях был как раз их отец.

Сам же Лёвочка в это время активно проповедовал трезвость, вегетарианство, придумал даже согласие против пьянства, собирал подписи, вербовал народ, окружил себя кольцом последователей, среди которых были Буткевич, Озмидов, странный брат издателя Сытина, ненавистный Софье Фейнерман, который ничего лучшего не придумал, как наняться к яснополянскому мужику пастухом. Про себя она посмеивалась над всеми ими, подозревая, что они не догадывались о том, какие мысли сидят в голове их пастыря. Но еще больше Софья иронизировала над тем, что они были для Лёвочки всего лишь чудаковатыми типами, а не живыми конкретными людьми. Она серьезно расстраивалась только из-за печеночной боли мужа. Он действительно сильно захворал и обратился к профессору Захарьину, который определил у него катар желчного пузыря и предписал строгую диету, исключавшую потребление мяса и масла. Доктор рекомендовал также есть часто, но понемногу и непременно пить четыре раза в день горячую воду «Эмс Кренхен», тепло одеваться и не курить. Теперь Софья следила за тем, чтобы муж неукоснительно исполнял эти предписания. Она была убеждена, что только благодаря ее просьбам и тому, что она была рядом, муж следовал советам врача и постепенно поправлялся. Но случались, конечно, и совсем иные обеды, огромные, с шампанским и с поэтическими посланиями Фета, ее большого поклонника. Поэт засыпал ее стихами: «Если радует утро тебя» или «Благовонная ночь, благодатная ночь». Вся его лирика была проникнута любовью к Женщине и потому требовала разгадок. Ведь он бежал от прямых смыслов в своих тропах, только намекал на загадочную любовь как на несбывшуюся мечту. Это возвышенное чувство помогало Софье отрываться от повседневной суеты, в том числе и от издательских проблем. Дело в том, что ее помощник, Колечка Ге, очень подвел ее, отказавшись заниматься подпиской и продажей сочинений мужа. Иными словами, он перебежал к Лёвочке и Черткову. Теперь он ходил с ее мужем пешком из Москвы в Ясную Поляну. Поэтому Софья была вынуждена обратиться за помощью к своему знакомому, профессору Гроту, с просьбой подыскать замену Ге. Профессор предложил Осипа Герасимова, своего диссертанта, который поселился во флигеле и стал заниматься книжными делами, но работником оказался никудышным. В нем не было никакой энергии, лишь одна усталость, вялость, нежелание трудиться. Но он был хорошим исполнителем, вел дела ровно и впоследствии даже стал помощником министра народного просвещения.

Вот таким воздухом дышал автор пока еще не написанной

«Крейцеровой сонаты», сюжет которой подсказал ему актер В. Н. Андреев — Бурлак. Софья запомнила тот день, 20 июня 1887 года. Тогда актер случайно вспомнил о рассказе своего несчастного попутчика и соседа по купе, который, когда они вместе ехали в поезде, поведал ему грустную историю об измене жены. Спустя четыре месяца эта повесть уже была завершена Лёвочкой начерно. В ней он клеймил брак, представлявшийся ему исключительно как падение, а не служение Богу. По его мнению, даже браком невозможно было оправдать деторождение. А Софье так хотелось ему парировать: «О, моралист, не будь так строг». Но, кажется, этот критик — моралист был так глух, что не мог услышать иное мнение, противоречащее своему, означающему целомудренный союз между мужчиной и женщиной. Муж ссылался на жизнь американских сектантов, в которой он усмотрел идеальную модель брака. Так Лёвочка приближался к Богу, уходя от семьи, уверяя весь мир в том, что холостяк не должен жениться.

А как же тогда быть с его утверждением, что «все вопросы решаются только ночью»? Теперь он, кажется, не находил ни одного внятного опровержения этой максиме. У него также не было и серьезных метафизических обоснований своих новых антибрачных воззрений. Сейчас муж уже не признавал «магдалин» и смотрел на мир нерадостным взглядом скопца. В своих умозрительных рассуждениях он не позволял женщине — жене сворачивать ни вправо, ни влево. Особенно это касалось интимных отношений. По его мнению, жена не могла быть ни потехой, ни магдалиной, то есть никем. В этих мужниных призывах Софья слышала нечто комическое: предложение ходить не на ногах, а на руках. Как он не мог понять, что люди делятся не только по половому признаку, но и по возрастному. Она была убеждена, что не аскеза и не страх управляют людьми, а исключительно чувство прекрасного. Ведь Бог не сказал: «Счастливая супружеская пара», а произнес нечто другое, что «муж и жена плоть едина». Поэтому неверно считать, думала она, основой брака счастье. Счастье есть результат, а не условие брака. Именно поэтому Софья с таким упорством искала рецепт своего семейного счастья.

Муж тем временем публично, без стеснения и утайки, рассказывал всему миру о своих страстях, выворачивая себя наизнанку. Он сравнивал себя с кроликом, который притянут к боа, а сам он притянут к службе дьяволу. Держа своего грудного малыша, Софья размышляла о человеческом несовершенстве, а когда слышала призывы мужа к абсолютному целомудрию, не могла удержаться от смеха. Хорошо призывать к целомудрию, воздержанию, при этом не воздерживаясь

самому. Маленький Ванечка лишний раз напоминал об этом. Глядя на своего младенца, она еще больше убеждалась в том, как чиста и прекрасна любовь к маленьким детям. А что же муж? Он вел себя неровно, и из-за этого Софья не находила себе места, постоянно возмущалась тем дурным, что видела в его глазах, когда он смотрел на нее с вождением, а потом рыдал от страсти и целовал ей грудь. Ей было обидно, что она, живая, умная, привлекательная женщина, превращалась в вещь, невольно служа его соблазнам.

Читая дневники мужа, Софья не раз наталкивалась на его нелестные отзывы о женщине, которая для него всегда была самкой, добычей. К женщинам, уверял он, нужно относиться снисходительно, они не способны понять мужчин. Что ж получается: если бы не спальня и половая связь, то им и говорить было бы не о чем? А муж отмахивался, уверяя, что познавал женщину по своей жене, а потом уже и по дочерям. В общем, «Крейцера соната» занимала Лёвочку сильно и всецело, включая и женофобские его настроения.

Софья хорошо знала истинную цену всем фарисейским заверениям мужа. Он выдавал себя за целомудренного аскета в своих сочинениях, а в реальной супружеской жизни его обуревали страстные чувства, борьба с собственной гиперсексуальностью. Только она одна знала подлинную цену его показной святости, так похожей на ханжество. Софья была знакома с двумя Толстыми — одним мифологическим, а другим реальным, которого она наблюдала в спальне. Теперь первый Толстой путешествовал с Колечкой Ге и небрежно давал ей советы, например, «свесить Ивана», постоянно следить за его кормлением, прикармливать ребенка, если ему не будет хватать молока. Он непременно делал оговорки, что решать подобные вопросы надо исключительно ей, а никому другому. А Софье было не до его советов, она думала совсем о другом, чтобы он выслал ей карету, в которой она могла бы приехать на лето в Ясную Поляну и отдохнуть от забот. Хотя она представляла себе усадьбу в мрачных тонах: разгромленную бесконечными «темными» визитерами мужа (имеются в виду единомышленники Л. Н. Толстого. — **Н. Н.**), грязную от этих посещений. Софья просила, чтобы муж привел дом в порядок к ее приезду, придал ему соответствующий благообразный вид.

Тем временем она взялась за переписывание новой повести мужа и сразу окунулась в страшную пучину, как это уже однажды случилось с ней, когда он попросил ее прочесть свой дневник. Перелистав рукопись, Софья ужаснулась дикому разврату, описанному там. Тогда она снова потянулась к дневнику мужа, словно к запретному плоду, и поняла: ее прошлая рана по

— прежнему кровоточила. Она удивилась тому, какая крепкая нить связывала Лёвочкин дневник с «Крейцеровой сонатой».

Когда Софья уставала, ей на помощь в переписывании «Крейцеровой сонаты» приходила дочь Таня. Но муж хотел, чтобы эта повесть досталась только «прекрасным рукам» жены. Сам он в это время наслаждался звуками «Крейцеровой сонаты» в исполнении скрипача и детского учителя Лясотгы и сына Сергея, аккомпанирующего ему за роялем. Слушая музыку, Лёвочка приходил в экстаз, не раз восклицая: «Что хочет от меня эта музыка?!» Он был убежден, что музыка аморальна, потому что она «стенограмма чувств», под воздействием музыки можно сотворить что-то очень неладное. Муж наслаждался только «порогом любви», то есть целомудрием, неиспорченными чувственными соблазнами. Находясь в этом крайне пуританском состоянии, которое, как считал Лёвочка, доступно лишь «гадкому старику», он бодро взялся за перо, чтобы написать художественный манифест о половом воздержании, назвав его «Крейцеровой сонатой». Таким способом муж хотел приблизиться к Богу, а в реальности бежал от жены и семьи. Все их ссоры, размолвки возникали из-за желаний физической близости со стороны мужа. Ведь Софья была излюбленной подругой его ночей, которая безошибочно знала, что если он с ней особенно ласков, то нужно пойти навстречу его желаниям. А потом приходили рекомендации ее врачей, не допускавших возможность их супружеской близости из-за опасности новой беременности. Муж же настаивал на своем и не доверял врачам.

Софья узнала, что прочитав «Крейцерову сонату», Александрин Толстая заметила: «Как? Он хочет прекращения рода человеческого? Уж не завести ли случных конюшен?...» Софья могла бы подписаться под этими словами. Она до сих пор не могла понять, как можно, пережив столько влюбленностей, достигнув шестидесятилетнего рубежа, прилюдно отречься от плотской любви и физических удовольствий, проповедовать целомудрие, а в реальности наслаждаться плотскими радостями. Она содрогалась от мужниных утверждений, что из ста браков девяносто девять несчастные. Ей было больно, что в своей повести и послесловии к ней он клеймил все, даже самые нравственные браки. Но как же быть с Божьей заповедью: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю»? Может быть, муж уже не доверял Богу, посягая на его истины? Софья совсем запуталась в двух Толстых, оба из которых были ее мужем. Сейчас ей было не до этого, потому что она узнала о своей очередной беременности в 45 лет! Начались ужасные боли, Софья консультировалась у врачей, как ей избавиться от них и от беременности. Вердикт докторов был такой: ставить

пиявки на матку. Снова боль, выкидыш, облегчение.

Тем не менее супруги, несмотря на все разногласия, все — таки заключили спокойный негласный договор о том, чтобы доживать вместе жизнь как можно дружнее, спокойнее и лучше. Это и был их реальный постскриптум к совместной жизни.

Глава XXIV. «Une victime»^[2]

Софью раздражала «Крейцерова соната», наполненная намеками на ее личную жизнь. В ней все закипало, когда она читала о своем, приватном, интимном, вывернутом наизнанку для всеобщего обозрения. То, что описывал муж в своей повести о Позднышеве и его жене: ревность, экспрессивность супружеских чувств, характерные детали и подробности — были позаимствованы им из семейного закулисья: «Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, за ход в винте, все дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная! Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, хлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви — период злобы, более слабое проявление любви — короткий период злобы... Мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг друга и старающиеся не выдать этого. Я еще не знал тогда, что 99 супружеств живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе». В этом пассаже Софья узнавала себя: свою нервную привычку раскачивать ногой или в течение часа постукивать ногой об пол, что так раздражало мужа, или громко хлюпать губами, когда начинала есть. Хорош муж, ничего не скажешь. У нее ведь тоже накопилось немало претензий к нему, чего только стоит его беззубый рот с четырьмя оставшимися гнилыми зубами!

Но хаос забот, постоянно окружавший ее, не позволял фиксировать что-то подобное, заставляя думать совсем о другом, например, о том, как ей быть с изданием этой экстравагантной вещицы, подвергшейся большим гонениям. В феврале 1890 года был арестован тринадцатый том полного собрания сочинений мужа, где как раз и была напечатана злосчастная повесть. Как не поверить после этого в магию цифры «13»! Она нервничала и уж, конечно, не только раскачивала ногой. Предпочла действовать оперативно: обратилась к министру внутренних дел Дурново с просьбой снять запрет на публикацию. Не помогло. Тем не менее она не сдавалась, собралась в Петербург, чтобы лично предстать перед государем и упротить его смиростивиться и разрешить выпуск злополучного тома. 31 марта 1890

года она послала письмо на имя его императорского величества с просьбой о всемилостивейшем приеме. Предварительно Софья заехала в цензурный комитет, чтобы получше узнать о мотивах этого запрета. Повесть, как пояснил ей Феоктистов, была запрещена по высочайшему повелению. Софья надеялась выпросить «Крейцерову сонату» у царя. Она развела кипучую деятельность, заехала еще в театральный комитет для того, чтобы узнать, действительно ли пьесе «Плоды просвещения» будут играть в императорском театре. Во время ее разговора с директором театра Всевожским возникли денежные споры. Она горячилась, упрекала за то, что ее мужа он ставит на одну ступень с водевильными авторами. Наконец, ей было предоставлено право на получение 10 процентов с валовых сборов в императорских театрах. Эти деньги она не стала отдавать благотворительным заведениям императрицы Марии, как ей советовал поступить сын Сережа. Не посмела, потому что знала, что ее девятерым детям они будут гораздо нужнее.

Ожидая приема у государя, Софья времени зря не теряла: побывала на двух выставках, передвижной и академической, трижды встречалась с Александрин Толстой, побывала у Стаховичей, у Менгден, Ауэрбах, ездила с сестрой Таней за покупками и сшила себе черное элегантное платье, к которому прилагались вуаль и кружевная шляпа. В новом строгом туалете она отправилась в Аничков дворец. Ее сердце билось неровно, она даже думала о том, что сейчас умрет. Состояние было ужасным. Она незаметно развязала корсет, растерла грудь и стала думать о детях.

Государь встретил графиню Толстую у самой двери, подал ей руку, она поклонилась в ответ, сделала книксен, а потом стала говорить об аресте тринадцатого тома, о «Крейцеровой сонате». Он сказал, что произведение написано так, что его вряд ли можно дать на прочтение детям, и что она, как мать, не может не знать этого. Софья ответила, что форма повествования действительно довольно провокационна, но главная мысль автора заключалась в том, что идеал всегда недостижим, если это полное целомудрие. В таком случае люди будут безупречно чисты и в брачной жизни. А потом добавила, что публикация повести поощрит Льва Николаевича к новым художественным работам. На это государь ответил: «В полном собрании ее (повесть. — Я. Я.) можно пропустить, ведь не всякий в состоянии его купить». Он говорил с ней робко, приятно и певучим голосом. Софье показалось, что у него ласковые и очень добрые глаза, а улыбка конфузливая и тоже добрая. Еще он расспросил ее о детях и о том, как они относятся к учению отца. «Уважительно», — ответила Софья.

Она была счастлива, вернувшись в Ясную Поляну. Но муж был недоволен ее похождениями и свиданием с государем, считая, что теперь они приняли на себя какие-то неисполнимые обязательства. Она же смотрела на свой визит как на исполненный долг. Теперь муж прятал от нее свой дневник, который она так старательно переписывала. Отныне переписывание чего-либо он доверял исключительно дочерям — Тане и Маше, таким образом, как будто выживал жену из своей жизни. Софья пребывала в отчаянии, потому что так долго идеализировала его, смотрела на него восхищенным взором снизу вверх. Оказалось, что всё так прозаично и тривиально, их ничего не связывало, кроме физического влечения. В нем только одни чувственные порывы. Она с головой уходила в заботы о детях, что спасало ее от одиночества. Она учила тринадцатилетнего Андрюшу музыке, подключала и Мишу, особенно когда учила их обоих Закону Божьему. Теперь вечерами она непременно молилась об успехе в практических делах: распродаже дров, тяжбе со священником из-за раздела имения Овсянниково, проверке счета в банке, покупках.

С годами Софья стала чувствовать себя одиноко в своей семье, которая все больше разъединялась, жила врозь. Сын Сережа теперь чаще бывал в Никольском, Илья с семьей в Гриневке, Лёля с Таней в Москве, а она с малышами здесь, в Ясной Поляне. Она постоянно возилась с Ванечкой, а когда ей было особенно грустно, то вспоминала покойного князя Урусова. Ей было жаль, что она лишилась таких чистых, трепетных, утонченных, дружеских отношений, которые к тому же были без тени укора и делали ее такой счастливой.

Софья запоем переписывала дневники мужа, каждый раз ревнуя его к бывшим возлюбленным. Да что там возлюбленные, если она ревновала к нему даже дочерей, Таню или Машу, к которым муж благоволил и доверял им переписывание своих дневников. Она порой задумывалась: зачем продолжаю держать при себе Машу? Пусть бы выходила замуж за Пашу Бирюкова, и тогда она, Софья, сама бы заняла место при Лёвочке, переписывала и приводила бы все в порядок — и переписку, и дневниковые записи. В заботах, постоянно наваливавшихся на нее, она как будто теряла равновесие и иногда желала только одного: лечь на рельсы.

А Лёвочка в это время мучился из-за невыносимых болей в желчном пузыре, покрывался холодным потом, стонал, катался по полу, таская за собой тяжелый стул. По субботам он отправлялся в баню, представлявшую собой самый простой, крытый соломой сруб на берегу Большого пруда. Пол бани был застлан чистой соломой, источавшей аромат ржаного хлеба.

На раскаленный пол он плескал ведрами воду, которая находилась тут же в чугунах и бочках. Вода шипела, пар окутывал все пространство бани, муж потел, мылся, снова потел, а кто-нибудь из приглашенных смельчаков, изнемогая от жары, выскакивал на мороз, купался в снегу и снова парился. Баня служила своеобразной лечебницей, снимавшей любую хворь.

Лев Николаевич вел здоровый образ жизни и был не по годам довольно свеж. Впрочем, и Софья по — прежнему хорошо выглядела. Время не тронуло ее легкого румянца, так украшавшего чуть смугловатое лицо. Блеск в глазах был по — прежнему обворожительным, а небольшой прищур ее огромных карих глаз придавал лицу особую пикантность. Она не носила ни очков, ни пенсне, чтобы не испортить своего весьма притягательного образа. В общем, Софья была на редкость моложавой, без единой морщинки на лице и весьма авантажной. Правда, несколько полноватой: сказывались ее многочисленные беременности. Но это не мешало ей производить на мужчин весьма приятное впечатление, в чем она еще раз убедилась во время своей успешной аудиенции у государя. Конечно, думала она, было бы совсем неплохо сбросить лишние килограммы. Не поэтому ли она почти не ела, а только чуть — чуть «клевала»? Ее выручала легкая стремительная походка. В общем, Софья явно знала себе цену, возможно, этим и отпугивая всех своих потенциальных поклонников. Кажется, один только Фет оказался не из пугливых, воспевал ее до конца своей жизни. Однажды уже под вечер, стоя на платформе в ожидании поезда, он резко повернулся в сторону Ясной Поляны и прокричал: «В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать!..» — но не смог продолжить и зарыдал. Она же отвечала ему своей возвышенной дружбой. А Лёвочка не понимал их отношений и ревновал ее.

Однажды Софья решила обо всем рассказать в своей повести «Чья вина?», в которой было много прозрачных намеков, в том числе и на мужа. Ей нравилось вскружить чью-нибудь поэтичную голову, чтобы муж заревновал. Она частенько стала видеть грешные сны, в которых отражались ее тайные желания. Теперь Софья действительно осознала справедливость Лёвочкиных слов о том, что всякая жизнь мутна и грязна подобно реке, но все-таки в ней есть много и чистых ключей. Не поэтому ли вода в такой реке может быть очень прозрачной? Софья постоянно жила надеждами, по утрам, смотря на мужа, она чаще видела его обновленным, пребывавшим в свежем, «утреннем» душевном состоянии, так благотворно сказывавшемся и на ней. Она восхищалась его стойкостью, не позволявшей поддаваться фимиаму, идущему от его многочисленных почитателей. Он

выдерживал этот настой очень достойно, не задыхаясь. В такие минуты прозрения Софья хорошо понимала свою совсем непростую миссию — быть женой гениального человека. И с еще большей энергией бралась за переписывание рукописей мужа, охотно распределяя их между собой и дочерьми, одновременно задумываясь над тем, почему их красавица Таня до сих пор не замужем. Софья искала причину в себе, объясняя это тем, что сама ни к кому из многочисленных претендентов на руку дочери симпатии не испытывала. Она была убеждена, что если мать питает какие-то теплые чувства к жениху дочери, то брак будет непременно счастливым. Своим добрым расположением к женихам дочерей она не могла похвастаться. Так, например, Павел Бирюков, один из ухажеров Маши, вызывал в ней недобрые чувства. А может, ей стоит сменить гнев на милость и позволить дочери выйти замуж? На эти вопросы у нее не было однозначных ответов, как и на вопрос: доколе Таня будет продолжать кокетничать с молодыми людьми, то с Мишей Стаховичем, то с Мишей Олсуфьевым? Сколько можно? Пора бы остановиться на ком-нибудь из них. Правда, Стахович очень настораживал Софью, о чем она не раз говорила Тане. Ей не нравились его расточительность, широкие жесты, разбрасывание денег направо и налево, даже лакею он мог спокойно отдать золотой. Ей так хотелось, чтобы сама дочь перестала быть *grande coquette*, а побыстрее стала счастливой женой и матерью. Софья была уверена в том, что ее старшая дочь достойна только самого лучшего мужа, ведь Таня так умна и хороша собой, к тому же так дипломатична, что могла успокоить сразу всех: и мама, и папа. В семье с ней считались все, даже Лёвочка. Она всегда старалась разобраться в непростых родительских отношениях, чаще всего у нее это хорошо получалось.

Теперь Софья полюбила по утрам высаживать деревца у Нижнего пруда, которые выкапывала то в Чепыже, то в Елочках. Но однажды она пришла в ужас от увиденного: от ее тщательной работы не осталось и следа. Все деревца были вытоптаны стадом деревенских коров. Было так жаль напрасно затраченных усилий. Софья строго — настрого приказала дворнику Василию лучше следить за порядком у дома, гнать деревенских коров вон из усадьбы. Что ж, она пожинала плоды благодетельного мужа, позволявшего все делать мужикам и бабам в собственном имении. Как же он избаловал народ! — не раз изумлялась Софья.

Она часто грустила, ей явно кого-то не хватало. Конечно же милейшего Леонида Дмитриевича Урусова. Воспоминания о нем спасали от неуютного одиночества. Как все-таки избаловал ее этот утонченный князь своим участием и преклонением! Какой контраст с холодностью и

безучастностью строгого мужа. Недавно в Ясной Поляне побывала вдова Урусова, приехавшая к ним вместе с двумя своими дочерьми. Как она растерзала душу Софьи своими рассказами о покойном муже. На нее нахлынул поток воспоминаний, теперь она видела князя словно живого, сидевшего здесь, с ними за столом и просившего, чтобы она полюбила его «бэдную» жену. Урусов проговаривал все это с характерным, только ему одному присущим акцентом, так нравившимся ей. Парадоксально, но она действительно испытывала нежные чувства к его бедной жене, а особенно к его дочери Мэри, похожей на своего отца и к тому же прекрасной музыкантше, игравшей так, что сердце Софьи разрывалось на части. А вдова, глядя на нее, призналась: «Jamais il n'aurait ose vous pour se l'avouer, et il aimait trop le comte pour se l'avouer meme a soi-meme» («Но он никогда не посмел бы признаться в своей любви, и он слишком любил графа, чтобы признаться в ней самому себе». — **Н. Н.**). Так она поведала Софье о любви покойного князя к ней, которую он любил гораздо больше, чем Лёвочку. Вдова была благодарна Софье за то, что та одарила ее мужа радостью, дружбой, участием и заботой. Действительно, у нее с князем были особые, очень возвышенные отношения.

Что еще она могла запомнить из своей долгой семейной жизни? Тотчас же на ум приходили постоянные тревоги на счет переваренных или, напротив, недоваренных кушаний и угощений, воспринимавшихся ею как-то особенно преувеличенно и ответственно, а если что-то случилось в жизни светлое и прекрасное, то почему-то проскальзывало незамеченным мимо нее. Так прошли, точнее пробежали, ее многие годы в замужестве. Однообразно протекали дни за днями, без энергии и вдохновения, все больше по инерции. Вспоминая и осмысляя прожитое, Софья с горечью отмечала, что была создана вовсе не для затворничества, а совсем для другого, тогда куда ярче могли бы расцвести ее таланты. Только воспоминания о князе хоть как-то успокаивали затаившуюся боль сердца. И хотя бы на миг она переставала ощущать себя жужжащей в паутине мухой, случайно попавшей туда, где паук высасывал ее кровь.

Романтические чувства окрыляли Софью. Однако романтика быстро выветрилась под натиском повседневности. Теперь снова и снова она рассказывала многочисленным гостям, среди которых были Самарин, Бестужев, Давыдов, всех не перечесать, о своем визите к государю. Ей даже казалось, что из-за этого они и приезжали в Ясную Поляну. Она увлеченно, почти заученно, делилась впечатлениями о венценосном приеме. А в глубине души ей было жаль этих людей, которые даже не догадывались об истинной причине ее посещения высочайшей персоны. На самом деле она

жаждала сатисфакции, которая позволила бы ей реабилитировать себя. Она прекрасно понимала, что публикация «Крейцеровой сонаты» бросает тень на жену автора. Теперь ее многие жалели. Даже сам государь не сдержался и сказал: «Мне жаль его бедную жену». Сейчас Софья для всех, как метко подметил дядя Костя, *une victime* (жертва. — Н. Н.), которой она больше не хотела быть. Поэтому Софья пожелала всем, а особенно своему мужу, доказать, кто она такая на самом деле. Ведь он всегда стремился непременно унижить ее. Отправляясь в Петербург, она уже заранее предвидела свой успех. И предчувствия не обманули ее. Она произвела фурор, обворожив самого государя своим обаянием, тактом и умом. Она смогла добиться, казалось бы, невозможного: разрешения на публикацию запрещенной скандальной повести мужа. К тому же, как ей поведала фрейлина Александрин Толстая, царь нашел Софью искренней, простой, симпатичной. Он не подозревал, что она была еще так молода и прекрасна. Софья торжествовала! Она сумела упросить самого царя (!) и сделала это легко, изящно, вдохновенно. Это не было пустым хвастовством. Уже в ближайшие дни должен был выйти тринадцатый том полного собрания сочинений с «Крейцеровой сонатой», из-за которой и возник весь сыр — бор. Софья была намерена послать этот том государю, вложив туда фотографии своей большой семьи, о которой он столько ее расспрашивал. А Лёвочка как-то искоса поглядывал на жену, ему явно были неприятны ее заискивания перед государем, вся эта эйфория от успеха. Он даже чуть не наговорил ей гадостей, но вовремя сдержался.

Софья уже давно поняла, что покой ей может только присниться, а наяву — постоянные «дела да случаи». Почти два года, с 1890-го по 1892-й, продолжался раздел имущества. Был еще Лёвочкин отказ от своих литературных прав, что было гораздо серьезнее. Она видела, как ее муж впадал в тоску, ему было тяжело от окружавшей его праздности, музыки, от тщеславных разговоров, от «искривленных мозгов» людей, с которыми он находился бок о бок. Софья, конечно, понимала, что она своими рассказами о том, что Москва ее встретила точно царицу какую, с объятиями, поцелуями, подлила масла в огонь. Он приходил в уныние от подобных разговоров, как и от праздности всего своего семейства, и считал, что необходимо в самое ближайшее время избавиться от имущества и огромных доходов, получаемых от продажи его сочинений. Вскоре подвернулся удобный случай. Как-то зимой яснополянский управляющий поймал мужиков, спиливших тридцать берез из посадки. Мужики, приходившие к Софье каяться, просили ее о помиловании, но она сказала, что ничего не сможет сделать для них. После этого у нее состоялся

разговор с мужем на повышенных тонах. Он предложил отдать всю землю мужикам, а право на издание его сочинений передать в общую собственность. Для Софьи ведение огромного усадебного хозяйства было настоящим крестом, тем не менее она не считала нужным от него отказываться. После инцидента с кражей деревьев она поняла, что может потерять авторитет у яснополянских крестьян. Понаписал для Софьи черновик обращения в редакции газет: «Милостивый Государь! Вследствие часто получаемых мною запросов о разрешении издавать, переводить и ставить на сцене мои сочинения, прошу Вас поместить в издаваемой Вами газете следующее мое заявление:

Представляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей, по — русски и в переводах, а равно и ставить на сценах все те из моих сочинений, которые были написаны мною с 1881 года и напечатаны в XII томе моих полных сочиненных изданиях 1886 года, и в XIII томе, изданном в нынешнем 1891 году, равно и все мои неизданные в России и могущие вновь появиться после нынешнего дня сочинения». После этих радикальных заявлений мужа Софья, вспоминая свой визит к государю, думала о нем как о пирровой победе, которая стоила ей стольких, как оказалось, напрасных трудов. Ради чего она все это делала?

Муж тем временем просил ее хорошенько все обдумать вместе «с Богом» и все-таки отправить в редакцию письмо об отказе его от авторских прав, не исключая даже подаренного ей когда-то «Ивана Ильича». Софья была вынуждена согласиться, но в душе осталась непреклонной, по — прежнему считая, что с его стороны «несправедливо обездоливать многочисленную и так не богатую семью». Между тем ей снова предстояла беготня еще и по другим делам, связанным с разделом имущества, которые осложнились из-за отказа Маши взять свою долю. Софья была в ужасе от того, что творила ее дочь, не понимавшая, что такое остаться без гроша после такой обеспеченной жизни. Теперь ей надо было оформить свое попечительство, для чего необходимо было подписать «пропасть бумаг». Маша передала ей привезенную из Тулы кипу документов от нотариуса, и Софья была вынуждена сидеть и пыhtеть над ней для того, чтобы обеспечить будущее дочери. Это были скучные и тяжелые заботы. А Лёвочка продолжал жить как жил.

Глава XXV. Заколдованный круг

Софья постоянно пребывала словно в *cercle vicieux* (заколдованный круг. — Я Я.). Не успела она закончить дела с разделом имущества, как ее уже поджидали новые заботы. Теперь надо было расплатиться за купленную для Илюши Гриневку. Софья срочно выписала бумаги из Петербурга для выкупа усадьбы, а деньги выручила от продажи березовой посадки, получив за нее 6500 рублей. Сын очень торопил мама, желая поскорее обосноваться в своем имении на законных правах. После этого она написала завещание и положила 55 тысяч рублей на имя незадачливой дочери Маши, чтобы та смогла ими воспользоваться, когда выйдет замуж. Возникла проблема с московским домом. Теперь, согласно завещанию, он принадлежал сыну Льву. В этой связи возникал вопрос: где будет обитать она со своими малышами? Софья вышла из этого положения, выкупив у сына дом за 65 тысяч рублей. Наконец-то, без всяких нервотрепок, она могла заняться распродажей книг. Софья подсчитала, сколько их хранилось на складе. Оказалось, что не так-то и много. Поэтому она собралась издавать новое собрание сочинений мужа, заказала бумагу для него и стала торговаться с продавцами.

Между тем светская Москва встретила ее как победительницу, как царицу: для нее были открыты все двери, всюду ее ждали в гости, все лично желали услышать от нее о знаменитой встрече с государем. В общем, продолжилась ее прежняя жизнь с анковским пирогом, и порой даже казалось, что ничто не может нарушить раз и навсегда заведенного порядка с непременно сбором домочадцев за столом под звон часов, с обязательным музицированием и радушным приемом гостей. Все это время Софья оставалась деятельной, обивала ширмы и мебель в детской, наводила чистоту и порядок во всем доме. Все это она делала в отсутствие мужа, когда ее вдруг переполняла невероятная энергия жизни, появлялась потребность в физической работе. А вечерами Софья обычно просматривала корректуры, правила их, писала письма, переводила для Лёвочки с английского языка предисловие к книге о вегетарианстве, пила чай вдвоем с Таней. В два часа ночи отправлялась спать. Жила благополучно, но без радости.

Тем временем в России грянул голод, и муж теперь целиком был занят устройством столовых для голодающих. Поначалу Софья несочувственно относилась к голодающим, усмотрев в этом большую угрозу для семьи.

Лёвочка же, напротив, ринулся в самую гущу событий, с головой ушел, как он говорил, в «это гордое дело» помощи народу. Конечно, сердце ее сжималось от страшных рассказов о голоде, внутри все переворачивалось, хотелось как-то забыться, закрыть глаза и не думать об этом. Тем более что в Москве голод был незаметен. Повсюду все та же роскошь, благополучие, рысаки, магазины, заваленные разным товаром. Однако под воздействием Лёвочкиных рассказов о голоде Софье становилось как-то не по себе от того, что ей тепло и сытно. Конечно, если бы не дети, она бы сама пошла на службу голодающим, лишь бы не мучиться угрызениями совести. Ей больше не хотелось жить словно с закрыты — ми глазами, делая вид, что ничего не происходит, ей было неловко видеть рядом с собой благополучных и самодовольных людей. Софья хотела внести свою лепту в благое дело. Но как? Этого она не знала. У нее появилось ощущение полного бессилия. Вот и муж порой говорил ей неличеприятные вещи, намекая на то, чтобы она приняла участие в помощи голодающим. Она стала ждать какого-нибудь случая, чтобы все разрешилось само собой. Софья думала заняться благотворительностью, не выезжая из Москвы.

Друг ее мужа, Иван Иванович Раевский, предложил кормить голодающих в столовых. Он говорил, что испокон веку на Руси устраивались столовые для голодающих, называвшиеся «сиротскими призрењями». Лёвочка отправился туда, куда указал Раевский, взяв у жены денег для закупки свеклы и картофеля, намереваясь развезти их по деревням до наступления морозов. С отцом отправились и дочери, Таня и Маша, которые обследовали несколько уездов, в том числе Епифанский, где обнаружили страшную нищету и повальное пьянство. Голод был ужасным. Лёвочка жил у Раевского, ежедневно занимаясь устройством столовых по деревням, расплачивался за покупку картофеля. Днем он занимался столовыми, а ночью — интеллектуальным трудом. В это время он писал глубоко выстраданную статью о голоде, «Страшный вопрос». Параллельно он вел переговоры с редактором журнала «Вопросы философии и психологии» Н. Я. Гротом об издании статьи в одном из номеров.

Софья считала, что муж, поглощенный этими делами, совсем забыл о семье. А тем временем сыновья Миша и Андрей скверно учились в гимназии, они теперь не желали играть на фортепиано, а хотели играть на скрипке. Два других Михаила, Стахович и Олсуфьев, с завидным упорством продолжали ухаживать за Таней. Софье казалось, что дочь предпочитала все-таки флегматичного, безжизненного и неподвижного Олсуфьева. Она приходила в отчаяние из-за равнодушия мужа к своим двум сыновьям — подросткам, из-за его феноменального отцовского

эгоизма, проявляемого по отношению к дочерям и мешавшего их замужеству. Муж с нескрываемой неприязнью относился ко всем дочерним амурам, например, к увлечению Маши Петром Раевским. Он буквально возненавидел славного воспитанника Московской военной гимназии, «статного красавца» Евгения Попова, которому приглянулась Таня. Когда Маша решила выйти замуж за Павла Бирюкова, отец быстро отправил ее ухаживать за тифозными больными, где дочь могла заразиться тифом сама, а потом заразить и всех домашних. Софья была в ужасе от того, что дочь купила корыто, в котором сама стирала, а еще и сама таскала дрова. Словом, губила свое хилое здоровье. Материнской отрадой в это время был только Ванечка, очень умненький, смысленный малыш, целовавший всех близких и даже Кузьку, грязного сына кухарки. Ей было жаль, что она не может играть с Ванечкой, как это умел Лёвочка, в их любимую детскую игру — носить ребенка по всем комнатам в закрытой корзине, чтобы тот отгадывал, в какой из комнат находится. Ванечке хотелось непременно дождаться папа, чтобы с ним вдоволь наиграться.

Софья не могла долго оставаться в стороне от общей беды и решила подключиться к процессу борьбы с голодом, о котором все теперь только и говорили, а Владимир Соловьев в этой связи даже решил прочесть очень либеральную лекцию. Старинные друзья Софьи, Фет и Страхов, стали подбивать ее написать воззвание, позволившее бы подтолкнуть массу людей к реальным действиям, направленным на спасение голодающих, — к пожертвованиям. Она много размышляла над их предложением и решила попробовать набросать черновик такого воззвания. К тому же на нее еще очень сильно подействовала смерть их закадычного друга Дмитрия Дьякова, которого Софья не так давно навещала. Он лежал с вздутым животом и постоянно говорил, говорил о голоде, попутно объясняя ей, как печь хлеб с подсолнечным жмыхом. Незадолго до этого Дьяков случайно ударился о ступень вагона, после чего у него образовалась рана, которую он просто заклеил английским пластырем, не уделив ей должного внимания. Началось воспаление, приведшее к заражению крови, которое отягощалось сахарным диабетом. Софья была на похоронах друга семьи, но ужас, испытываемый Дьяковым перед голодом, запомнила надолго, он сильно запал ей в душу.

1 ноября она села за статью. Мысли о голоде, особенно о голодных детях, не покидали ее, а потому мгновенно вылились на бумагу. Текст был написан на одном дыхании, и она показала его Страхову, чтобы тот критически взглянул на него и внес кое — какие поправки. Николаю Николаевичу обращение понравилось, оно показалось ему очень

искренним и сердечным и 3 ноября уже было опубликовано в «Русских ведомостях». Горячий призыв Софьи был услышан и поддержан неравнодушными читателями, которые тотчас же поспешили на помощь голодающим. Потом это воззвание было перепечатано не только во всех российских газетах, но и за границей. «Вся семья моя, — писала Софья, — разъехалась служить делу помощи бедствующему народу. Муж мой, граф Л. Н. Толстой, с двумя дочерьми, находится в настоящее время в Данковском уезде с целью устроить наибольшее количество бесплатных столовых или «сиротских призрений», как трогательно прозвал их народ. Два старших сына, служа при Красном Кресте, деятельно заняты помощью народу в Чернском уезде, а третий сын уехал в Самарскую губернию открывать, по мере возможности, столовые.

Принужденная оставаться в Москве с четырьмя малолетними детьми, я могу содействовать деятельности семьи моей лишь материальными средствами. Но их нужно так много! Отдельные лица в такой большой нужде бессильны. А между тем каждый день, который проводишь в теплом доме, и каждый кусок, который съедаешь, служат невольным упреком, что в эту минуту кто-нибудь умирает с голоду. Мы все, живущие здесь в роскоши и не могущие даже выносить вида малейшего страдания собственных детей наших, неужели мы спокойно вынесли бы ужасающий вид притупленных или измученных матерей, смотрящих на умирающих от голода и застывших от холода детей, на стариков без всякой пищи? Но все это видела теперь моя семья. Вот что, между прочим, пишет мне дочь моя из данковского уезда об устройстве местными помещиками на пожертвованные ими средства столовых:

«Я была в двух. В одной, которая помещается в крошечной курной избе, вдова готовит на 25 человек. Когда я вошла, то за столом сидело пропасть детей и, чинно держа хлеб подложкой, хлебали щи. Им дают щи, похлебку и иногда холодный свекольник. Тут же стояло несколько старух, которые дожидались своей очереди. Я с одной заговорила, и как только она стала рассказывать про свою жизнь, то заплакала, и все старухи заплакали. Они, бедные, только и живы этой столовой, — дома у них ничего нет, и до обеда они голодают. Дают им есть два раза в день, и это обходится, вместе с топливом, — от 95 копеек, до 1 рубля 30 копеек в месяц на человека».

Следовательно, за 13 рублей можно спасти от голода до нового хлеба человека. Но их много и средств помощи нужно бесконечно много. Но не будем останавливаться перед этим. Если каждый из нас прокормит одного, двух, десять, сто человек, — сколько, кто в силах, — уже совсем будет спокойнее...» В конце обращения Софья указала адреса мужа, своих трех

сыновей и свой.

Реакция на это обращение была мгновенной и впечатляющей. Сразу же на ее имя поступило более 400 рублей. Сколько спасенных жизней! А к вечеру эта сумма достигла уже полутора тысячи рублей. За время проведения этой акции Софья получила от пожертвователей более 200 тысяч рублей. Видя этот поток желающих помочь, она подумала о том, что скепсис Лёвочки на счет ее филантропической деятельности был напрасным. Теперь со свойственной ей энергией она записывала в свои книги имена дарителей, фиксировала те суммы, которые они ей передавали или присылали по почте, принимала людей, желавших сказать ей доброе слово и поблагодарить за дело, которое она на себя взвалила. К ней приходили и небогатые люди, приносившие незначительные суммы. Перед тем как переступить порог ее дома, они крестились и подавали на благое дело кто сколько мог, даже серебряные рубли. Старики осеяли ее крестами, целовали в лоб, прикасались губами к ее рукам, прося милостивую графиню принять их посильную помощь, рассказывали, как плакали над ее обращением. Другие приезжали на рысаках, богато одетые, сытые, и передавали в конвертах большие суммы. Барыни привозили узлы с одеждой. Из-за границы поступали большие и малые пожертвования, например, ее посетили янки из Филадельфии и передали чек на семь тысяч рублей, собранных в Америке для голодающих в России. Они сказали ей, что для них высшим счастьем была возможность пожать руку графу Толстому. Дети собирали по копейкам, чтобы отдать свои сбережения Софье. Люди постоянно благодарили ее и семью за великий подвиг, за бескорыстное служение народу. Приходили пожертвования со всех уголков России: от крестьян из Курской губернии, рыбаков — старообрядцев из Архангельска, землемеров из Киева, пенсионеров из Бессарабии. Даже министр внутренних дел Дурново хотел принять участие в акции, но при условии, что Софья лично его об этом попросит. Однажды она получила бриллиантовое кольцо от анонимного дарителя и, недолго думая, продала его за полторы тысячи рублей, которые пополнили фонд для голодающих. Туда же пошел и гонорар от спектаклей, полученный ею без всяких формальностей, что в иных условиях было бы невозможно. Софья полностью отдавалась благотворительной деятельности. Порой она получала по почте в день до ста конвертов с деньгами и отвечала на все письма. Все делала одна, только иногда ей помогала Вера Северцева. За десять дней Софья собрала девять тысяч рублей, купила хлеба на три тысячи, а еще сто пудов гороха. Было много даров, только одного чая собралось больше двухсот пачек. Она подключила к этому важному делу

многих, откликнувшихся на ее предложение об участии. Люди стали пересылать кто десять, кто двадцать фунтов сахара, а Савва Морозов передал 1500 аршин бумажной материи. На втором этаже их московского дома, в зале, она организовала что-то вроде ателье, в котором вместе с экономкой Дуняшей, няней и англичанкой — гувернанткой целыми днями кроила и шила рубашки и простыни для тифозных больных Самарской губернии. Однажды ей передали извещение о посылке из Петербурга от купца Усова, в которой оказалось двадцать пудов вермишели, что было лакомством для голодающих. Муж был очень доволен, хвалил Софью за помощь и, в свою очередь, писал ей о своих и дочерних успехах в деле помощи голодающим. Лёвочка с дочерьми в деревнях открывали столовые, устраивали пекарни, пекли хлеб из разных суррогатов. Самым лучшим был признан хлеб, испеченный на основе картофельного жмыха. Он обходился в 78 копеек за пуд. Пекли хлеб и с льняным жмыхом, стоившим по две копейки за пуд.

Тем временем из жизни уходили близкие семье люди. Следом за Дьяковым этот мир покинул Иван Иванович Раевский, хозяин Бегичевки. На Плющихе умирал Фет, и Софья не раз проводывала его. Умирал он мучительно, дышал кислородом из какого-то мешка. Но дух его по — прежнему оставался бодрым. Фет вспоминал «Смерть Ивана Ильича», как здоровый мужик сидел с умирающим барином, держал ему ноги, и тому было легче... Кто такую вещь написал, тот не просто человек, а громадина, говорил он ей. Перечитывал «Войну и мир», уже не осуждая умирающего князя Андрея за то, что он так сурово отнесся к Наташе. Как верно! Когда человек умирает, то и любовь его умирает.

Однажды у постели умирающего Фета Софья застала сконфуженного сотрудника «Московских ведомостей», в которых была затеяна очень некрасивая история по обвинению Льва Толстого в «революционном заговоре». Это стало толчком к началу травли мужа со стороны правительства и Синода. Победоносцев сообщил государю, что Толстой написал «безумную» статью с политической подкладкой, чтобы мутить народу головы своими фантазиями. Софья была в ужасе, узнав, что в «Московских ведомостях» представили мужа революционером, якобы призывавшим народ к свержению существующего строя. Пошли разговоры о необходимости изолировать Лёвочку, заключив его в Суздальский монастырь или сослав в Сибирь. Начались аресты единомышленников Толстого, «антихристовых людей». Софья собралась написать гневное письмо министру внутренних дел о злонамеренных и лживых проделках редакции газеты. Эта история стоила ей многих бессонных ночей. Между

тем уже поступил приказ из Главного управления по делам печати о запрете статей мужа. Софья поняла, что нужна статья о работе на голоде, написанная эмоционально, с большим чувством, как Лёвочка умел прежде, но только без тенденциозного задора, и что опубликовать эту статью под именем Татьяны Толстой. Деятельность мужа теперь была под контролем, в Бегичевку прибыл исправник с проверкой, приехали два священника, командированные архиереем.

В Петербурге не на шутку взволновалась Александрин Толстая. Узнав об опасности, которой мог подвергнуться Лев Николаевич, она употребила все свое влияние при дворе, чтобы отвести от него беду. Она попросила аудиенции у государя, но он сам пришел к ней. Александра Андреевна рассказала ему о подготовленном в правительстве решении заточить самого гениального человека России в монастырь или выслать его за границу. Поняв, в чем дело, государь распорядился оставить Толстого в покое.

Софья тоже не сидела сложа руки. Узнав о невиданной популярности номеров «Московских ведомостей», где порочили имя ее мужа (за один номер предлагали до 25 рублей), она обратилась к великому князю Сергею Александровичу с просьбой, чтобы в той же газете появилось опровержение. Князь ответил, что будет лучше, если это сделает сам Лев Николаевич. Муж просил Софью не волноваться из-за глупых и пустых толков в «Московских ведомостях». Тем не менее он все-таки написал опровержение, просил только об одном, чтобы она ничего не исправляла и не приписывала от себя. А сам в это время продолжал открывать десятки столовых разных типов, в том числе детских, а через ранее открытые уже прошло более пятидесяти тысяч человек. Лёвочка давал крестьянам работу, они плели лапти, шили одежду из холста, заготавливали сено. Сам муж раздавал дрова, лен, лыко для работы, семена и картофель для посадок. Американцы на его призыв о помощи прислали два вагона муки.

Осенью 1892 года Лёвочка передал все полномочия Бирюкову. Тучи, сгустившиеся было над головой мужа, рассеялись. Общая работа на голоде сблизила его и жену, а еще больше их сблизил маленький Ванечка, от которого оба они не могли оторвать глаз. Он был так похож на папа и мог бы продолжить в будущем его дело.

Глава XXVI. Консерваторская дама

Наконец, тяжелое испытание, выпавшее на долю их семьи и изрядно подорвавшее здоровье дочерей, особенно Танино, завершилось. Не случайно она как-то призналась, сколь трудно быть дочерью знаменитого отца. А как не просто, подумала Софья, быть женой такого гениального человека! В этой связи ей припомнился любопытный рассказ их юной соседки Олсуфьевой, поведавшей о том, как однажды вечером молодая компания собралась пройти по следам Льва Николаевича, хорошо заметным за оградой их сада. Однако глубокие ямы, оставленные в рыхлом снегу от толстовских валенок, были на таком большом расстоянии друг от друга, что молодым людям было не под силу идти по стопам писателя. А каково было ей шагать уже столько лет по мужниным следам! Но она, кажется, достойно это делала больше тридцати лет.

Теперь Софья снова привыкала к мирным и таким приятным семейным заботам, оставленным ею из-за работы на голоде. Как любил в таких случаях говорить ее муж, все хорошо, что хорошо кончается. Она стала зорко присматриваться к жизни своих сыновей — подростков Андрюши и Миши, которая все больше походила на «барчуковую». Они привычно, не спеша вставали, потом также неспешно выпивали свой кофе, съедали по булочке с маслом, а потом бежали на занятия в гимназию. А младшая дочь Саша росла ужасной забиякой, слухи о ее драчливости гуляли по всей Москве. Эту маленькую забияку не на шутку опасались гувернеры, предпочитая не наниматься на работу к Толстым и обходя их дом стороной. Саша все свое время проводила во дворе в обществе соседских мальчишек и собак. Софья не раз срывалась на дочь, порой даже таскала ее за волосы за то, что та, заигравшись, падала в лужу и пачкала свое новое бумазейное платье. Из-за этого Саша убежала излома, где-то блуждала, но, к счастью, вернулась. В общем, младшая дочь требовала к себе повышенного внимания. Она была переполнена всякими нелепыми легендами, считая, что она «приемная» дочь в этой семье. Софья недолюбливала Сашу, которая вечно скучала на занятиях, постоянно смотрела в окно на мальчишеские затеи. Не дочь, а сорви — голова!

Взрослые сыновья тоже разочаровывали мама все чаще и чаще. Она нередко нервничала из-за отсутствия в них чувства меры и долга, а еще из-за неуравновешенности характеров. В этом Софья усматривала большую их схожесть с отцом, который, правда, преодолевал в себе этот недостаток.

Сергей, как ей казалось, вел аморальную жизнь, даже не задумываясь о женитьбе, хотя ему было уже тридцать лет. Возможно, неудачный семейный опыт брата Ильи подсказывал ему, что не следует спешить с таким важным делом. А Илья действительно «не так» женился, да к тому же беспечно сорил деньгами. Лёля огорчил Софью своим «расстройством» нервов, для лечения которых требовалось применение электричества. Дочери Таня и Маша, увлеченные идеями отца, словно забыли о том, что им пора уже выходить замуж. Лёвочка тоже раздражал свою жену упрямым вегетарианством, но еще больше ее возмущала его неразумная проповедь любви, открывавшая двери дома все шире для всякого «темного» сброда. Вообще Софью теперь стало многое раздражать в Лёвочкином поведении, начиная с отказа от любимой туалетной воды и заканчивая нерегулярным мытьем в бане.

Единственной ее отдушиной был, конечно, любимый Ванечка, который, к большому сожалению, так часто прихварывал, что Софье все время казалось, что ее малыш не жилец на этом свете. По утрам он постоянно кашлял, а днем мог часами лежать с ней на диване, предаваясь всевозможным отвлеченным умствованиям, на которые был так горазд. Ваня любил повторять: «не успеешь оглянуться, как забредешь в страшные дебри» или «Ясная Поляна — не моя, а всехняя». В такие минуты Софья и сама впадала в ипохондрию, начинала беспрестанно думать о том, что и она скоро умрет, вон как похудела, к тому же стала чувствовать какой-то камень в груди, навалившийся на нее так, что невозможно было даже дышать, и тоска овладевала ею полностью. Что и говорить, много времени уходило на повседневные заботы, а сил при этом становилось все меньше и меньше. Временами она чувствовала в себе какое-то физическое «потухание», а в муже видела порой избыток чувственной силы, и иногда ей казалось, что в нем только это и осталось. Ни нежности, ни сочувствия к ее трудам в нем не было.

Тем не менее Софья находила в себе силы, чтобы сделать хоть что-то приятное своим малышам, а больше всех своему любимцу, шестилетнему Ванечке. Самым дорогим подарком для него были детские балы, на которых он покорял всех, великолепно танцуя мазурку. Казалось, он не двигался, а летал по паркету. Невозможно было глаз оторвать, когда он так ловко и легко прихлопывал в такт каблучками или изящно исполнял антраша, красиво скрещивая ножки или грациозно ударяя ножкой о ножку. На всех балах Ванечка всегда оказывался лучшим из лучших. Неслучайно ему предоставляли почетное право открывать представления. Глядя на своего маленького артиста, Софья не могла нарадоваться изяществу его

движений, но эта радость была особой, со слезами на глазах, сердце непрерывно подсказывало ей, что ее сын не жилец. Дочь Таня всегда помогала матери в организации их домашних детских балов, делая это с большим удовольствием, талантливо, весело и изобретательно. Готовясь к достойной встрече гостей, Софья приглашала в их московский дом самого знаменитого парикмахера Теодора, который словно маг — волшебник преобразовывал детей, превращая их в сказочных героев. Завитый им Ванечка с роскошными локонами больше походил на ангельское создание, столь хрупок и трепетен он был. Заодно Теодор делал модные прически Саше — «сорви — голове», Мише и Андрюше.

Дети преображались, особенно Саша, одетая в бальное платье, специально сшитое по этому случаю. А мужу было больно смотреть на своих завитых детей и больше всего на разнаряженную младшую дочь.

Софья испытывала настоящие танталовы муки. Она, словно Сизиф, каждый раз поднимала вверх огромный камень, который вскоре снова скатывался вниз, и ей приходилось все начинать сначала, опять поднимать его на гору. Казалось, она все предусмотрела, отвезла рукописи мужа в Румянцевскую библиотеку, сдала их в надежные руки, а теперь вдруг нечаянно узнала о том, что Лёвочкины манускрипты прибрал к своим грязным рукам ненавистный ей Чертков, который перевез их в свое «безопасное место», в Петербург, к полковнику Трепову. Как посмел он сделать это?! Однако все ее вопросы оставались риторическими, муж не давал на них каких-либо вразумительных ответов. Казалось, свою семейную жизнь он уже отжил, поставив на ней окончательную точку. Еще как-то теплилась его любовь к Маше и Тане и, конечно, к Ванечке, тем не менее от семьи он стремительно отдалялся.

Однажды совершенно случайно она увидела фотографию, на которой Лёвочка был изображен со своими новыми и лучшими друзьями — Чертковым, Бирюковым, Горбуновым — Посадовым, и, конечно, пришла в ярость. Софья не смогла сдержать своих эмоций, свою ненависть к тем, кто теперь окружал ее мужа, который, как она полагала, законно принадлежал только ей одной и больше никому. Находясь в крайне истерическом, неуправляемом состоянии, она порвала эту фотографию, но на этом не остановилась. Она потребовала у мужа негатив, и, получив его, тотчас же уничтожила. Только после этого Софья смогла успокоиться. Но рецидивы истерии стали учащаться. В такие моменты она полностью теряла над собой контроль, заставляя страдать всех, и мужа, и детей. А вскоре дошло до апогея, разразилась страшная гроза, Софья метала молнии, ища виновников, и нашла их.

Она хорошо запомнила тот день, когда у них в Ясной Поляне появилась Любовь Гуревич. Двадцатишестилетняя редактор и издательница одного из самых дорогих петербургских журналов «Северный вестник» просила Лёвочку участвовать в этом издании, и он стал подробно расспрашивать ее о том, что побудило ее взяться за такое непростое дело и откуда она берет на него средства. Муж согласился печататься в «Северном вестнике», чем вызвал у жены сильное раздражение. Гуревич сразу же не понравилась Софье. Она прибыла в Ясную Поляну 28 августа 1892 года, в день рождения Лёвочки, когда ему исполнялось 64 года. Собралось много народу, приехал губернатор Зиновьев из Тулы со своими дочерьми. Все гости наслаждались пением Фигнера и его жены, которые исполняли любимый репертуар именинника — цыганские песни и русские романсы. Вскоре Гуревич уехала, но деловые отношения между ней и мужем не прекратились. Он не раз публиковал что-то из своих сочинений в ее журнале. Софья не была в восторге от подобного сотрудничества, но молчала и терпела. И вот однажды чаша ее терпения переполнилась. Она узнала, что Лёвочка передал в журнал свой рассказ «Хозяин и работник».

Как-то Софья, чувствовавшая себя нездоровой, измученной болезнями Ванечки и Лёвы — сына, принялась за переписывание корректуры этого рассказа. Мужу казалось, что рассказ очень слаб, и он стыдился печатать его в «Северном вестнике». Софья пришла в ярость, узнав, что «Хозяин и работник» все-таки будет опубликован у Гуревич, да еще даром, без гонорара. С ней случился безумный припадок ревности. Она стала требовать от Гуревич гонорара, чтобы потом отдать его в Литературный фонд, расспрашивала Н. Н. Страхова, сколько стоит печатный лист, и т. д. Софья была возмущена тем, что рассказ не войдет в затеянное ею издание сочинений мужа, а будет содействовать успеху какого-то чужого журнала, подписка на который обходилась читателю аж в 13 рублей. К тому же вся эта неприятная история совпала с ее «женскими делами».

Сначала Софья крайне осторожно, кротко просила мужа, чтобы он позволил ей напечатать свой рассказ, так полюбившийся ей «тонкостью оттенков и гибкостью оборотов», в ее издании. Он посчитал подобный шаг полным «безумием», таким образом, не позволив жене получать дополнительные деньги за публикацию «Хозяина и работника». Он также почему-то не разрешил и «Посреднику» опубликовать этот рассказ. Софья запуталась в скрытых смыслах мужа и как нарочно вспомнила слова профессора Стороженко о том, что издательница Гуревич ловко обворожила Льва Николаевича, поэтому тот столь охотно отдавал ей свои статьи, а за один год отдал сразу два своих сочинения. В Софье не утихала

ревность к этой малопривлекательной девице, годившейся ей в дочери, которая теперь преспокойно отдыхала в Париже. Все-таки она продолжала настаивать на своем, решительно требуя от Лёвочки разрешения на публикацию его рассказа в своем издании. Снова и снова приставала к мужу, грозясь покончить жизнь самоубийством. На это он говорил ей, что сам уйдет из дома. Такого она никак не могла допустить. Поэтому, опередив мужа, Софья ушла раньше него. Точнее, убежала в чем была, в легком халате, туфлях на босу ногу, непричесанная, без головного убора. Не ощущая сильного мороза, задыхаясь, она неслась по Хамовническому переулку, рыдала и иступленно кричала: «Заберите меня в участок!» Муж бежал за ней по пятам, в одних панталонах и рубашке, вскоре догнал и привел домой. Кажется, ее побег не произвел на него должного впечатления, потому что он по-прежнему настаивал на своем решении издать «Хозяина и работника» в «Северном вестнике». Тогда она бросила корректуры и снова выскочила из дома, побежала к Новодевичьему монастырю, повторяя путь героя этого злосчастного рассказа. Софья непременно хотела замерзнуть. На этот раз ее догнала дочь Маша и уговорила вернуться домой. Однако Софья не успокоилась, так как еще не добилась своего. Через два дня, когда весь дом спал, она предприняла еще одну безумную попытку уйти. На этот раз она бежала к Курскому вокзалу, чтобы броситься под поезд, как Анна Каренина. Ее успел остановить Сережа, а милый Ванечка, увидев бедную маму, стал ее успокаивать, приговаривая, зачем папа мучает ее из-за какой-то противной Гуревич.

В результате всего этого безумия Софья все-таки заболела. Теперь около нее постоянно сидела золовка Маша, а муж рыдал, на коленях просил прощения и целовал. Вскоре был созван консилиум врачей, чтобы они обсудили состояние пациентки, уточнили диагноз и предложили курс лечения. Все три специалиста — невропатолог, гинеколог и терапевт — были убеждены, что нервные припадки жены были вызваны ее критическим возрастом. Софье было уже за пятьдесят. Смена настроений, постоянная истерия были спровоцированы климактерическим состоянием, вызывавшим приступы ревности, о которых муж не раз писал в своем дневнике.

Но Софья прекрасно знала, в чем именно была причина ее бурной реакции. Ведь только она должна вдохновлять Лёвочку, одаривая его силой. Она не забыла, чем был вызван его творческий азарт, проявившийся в рассказе «Хозяин и работник». Конечно, тем любовным настроением, которым она наградила его перед поездкой в Москву. Именно после этой, как он говорил, их «дурной» ночи, он придумал такой очень живой рассказ.

Их супружеские отношения по — прежнему были неровными: то бурно — страстными, то нежно — сентиментальными, но все так же необходимыми для обоих. А Софье так хотелось порой, чтобы они приучились жить иначе, больше по — дружески. Но пока у них ничего не получалось. Поэтому у нее руки не поднимались что-либо делать после неразумных поступков мужа, подобных истории с «интригой» Гуревич. Слава богу, что все обошлось в конечном счете любовно и этот «чудный» рассказ был опубликован не только в «Северном вестнике», но и в «Посреднике», а самое главное, в составленном ею собрании сочинений.

Наконец, Софья избавилась от этого груза. Теперь она чувствовала себя победительницей, но не могла забыть, какой дорогой ценой ей это досталось, с каким трудом она вырвала у мужа обещание, что он больше не будет печататься в «Северном вестнике». Теперь она вновь погрузилась в свои привычные домашние хлопоты, такие суетливые и шальные. День за днем проходил в утомительном уходе за детьми, за проверкой их уроков, сидением с прихворавшим ребенком, в ведении хозяйства, постоянном отслеживании доходов и расходов. У нее не было ни минуты покоя, чтобы выспаться, прогуляться, хоть как-то опомниться от «трудов праведных». А муж в это время вегетарианствовал, проповедовал добро и любовь, ездил на прогулки, верхом или на велосипеде. Иными словами, жил для себя, а не для семьи, при этом пользовался помощью Тани и Маши, наслаждался домашним комфортом и славой. Однако недоразумения, случавшиеся с ними довольно часто, конечно, не могли сравниться с той бедой, которая подстерегала впереди.

Вдруг всеми любимый Ванечка стал готовиться к уходу в мир иной. Он просил мама, чтобы та растолковала ему молитву «Отче наш», расспрашивал о том, во сколько лет нужно умереть, чтобы стать ангелом. Узнав, что нужно прожить только до семи лет, он стал спешить покончить с делами земными, раздаривая свои вещи братьям, сестрам, многочисленной прислуге, прикрепляя к ним трогательные записочки: «На память от Вани». Софья не могла без боли в сердце смотреть на эти предсмертные приготовления сына. Беда не заставила себя долго ждать: ребенок внезапно слег. Он заболел страшной скарлатиной, весь «горел», у него была очень высокая температура. Профессор Филатов, прибывший с большим запозданием, сказал как отрезал: «Состояние безнадежное». 23 февраля 1895 года в 23 часа Ванечки не стало.

Лёвочка сравнил ангельскую жизнь и раннюю смерть ребенка с ласточкой, слишком рано прилетающей для встречи с весной и потому неизбежно замерзающей. Ванечка, чуть — чуть не доживший до семи лет,

был очень умненьким, хрупким и нежным мальчуганом, о котором все говорили как о чуде, ради которого следовало приезжать в Ясную Поляну. Он мог бы стать гением не меньше своего отца. Эти слова уже не волновали бедную маму. Сейчас ее мучило только одно: зачем она еще жива? Муж, как мог, успокаивал Софью, говорил, что Ванечка не умер, он жив, раз они его любят и помнят. А она, видя перед собой маленький гробик, утопающий в гиацинтах, не верила словам мужа и продолжала биться головой о стену, рвать волосы, стонать и молиться. Десятилетняя дочь Саша не на шутку испугалась, внезапно услышав среди мертвой тишины, воцарившейся в их доме, оглушительный собачий вой, который на самом деле оказался рыданием матери.

Из жуткого состояния Софью вывел отец Валентин, духовник золовки Маши, который попросил ее не удаляться от Бога, увеличивать свою любовь ко всему живому. Она старалась, как могла, исполнить эту просьбу, что было очень трудно: со смертью Ванечки в ней что-то надломилось и погасло. Она стала привыкать к иной жизни — без него. Теперь Софья помирилась и сблизилась с мужем, который постоянно восхищался ее душевной красотой. В это время он написал что-то вроде завещательной записки, в которой доверял ей и Черткову со Страховым распоряжаться своим рукописным наследием, даже не упомянув ни одного из сыновей и любимых дочерей. Поначалу он написал имена Тани и Маши, но после почему-то передумал и вычеркнул их. Сыновей же не включил из-за того, что они мало знали его мысли. Жене казалось, что Лёвочка как будто уже не жил в их доме, вместо него была лишь его тень. Он очень похудел, постарел, перестал бодриться. Страшное горе стало для обоих проверкой на прочность. Муж, стараясь утешить Софью, брал ее всюду с собой и даже придумал поездку в Баварию, чтобы отдохнуть у прекрасных озер близ Мюнхена. Когда-то давно он бывал в Германии, проехал эту страну вдоль и поперек и полюбил ее тишину и покой. Она же, ни разу не выезжавшая за границу, с большим удовольствием слушала мужа, думая о том, как хорошо было бы оказаться там с детьми. Но вскоре стало известно, что эта мечта вряд ли станет реальностью. Сведущие люди сообщили им, что если они поедут в Германию, то в Россию их обратно не пустят.

Спасение для Софьи пришло совсем с неожиданной стороны. От музыки, к которой ее когда-то приистрастил Лёвочка. Свое возрождение она нашла в ее объятиях, порой душивших ее, словно она оказалась в новой ловушке. Теперь Софья частенько садилась за рояль и самозабвенно музицировала, теряя счет времени. Музыка становилась для нее лекарством, почти наркотиком. Теперь она еще больше полюбила оперу,

интересовалась концертным репертуаром, исполнительским составом. Многие музыканты узнавали ее не как жену известного писателя, а как завсегдатая филармонических концертов, как «консерваторскую даму», жившую исключительно музыкальными интересами.

Однажды после концерта Софья разговорилась со своим давним знакомым Сергеем Ивановичем Танеевым, который был не только виртуозным пианистом, но и композитором — новатором, сочинявшим «ученую» музыку. Во время приятной беседы она случайно узнала, что ему негде отдыхать нынешним летом, потому что его любимое Селище, принадлежавшее орловским знакомым, было занято. Софья предложила пианисту отдохнуть в Ясной Поляне, в их пустовавшем флигеле. 39-летний композитор с радостью принял приглашение, и они сразу договорились о цене, совершенно символической, в 130 рублей за наем двухэтажного флигеля. Деньги, конечно, были просто смешными, но выгода Софьи заключалась вовсе не в них, а совсем в ином. Теперь она могла ежедневно наслаждаться его волшебной игрой на рояле. Танеев всегда пользовался только своим инструментом, отправляя его по железной дороге вслед за собой.

Муж встретил это известие доброжелательно, хотя и с некоторой настороженностью, озадаченно воскликнув: «Хорошенькая новость!» После «Крейцеровой сонаты» он стал называть музыку аморальной, считал ее чем-то вроде нечистой силы, от которой, бранясь, убегал с концертов и из театров. Так, слушая оперу Вагнера «Зигфрид», он не высел даже до конца первого акта. Глядя на жену, с таким наивным обожанием воспринимавшую своего нового кумира Танеева, на живую розу, прикрепленную к ее корсажу, он с грустью думал об ее «старческом *flirtation*». Толстой давно знал, что музыка есть *pflichtloses Jenuss* (наслаждение, чуждое долгу. — **Н. Н.**). Софья же в упреках и насмешках мужа слышала только нотки уязвленного самолюбия деспота и старалась их не замечать. Теперь она уже не чувствовала себя «голой осинкой» без единого листочка, которая вот — вот надломится и упадет. И все это благодаря Танееву, его музыке. Она тихо — тихо подходила к флигелю, из окон которого доносились чарующие звуки рояля. Такой веселый, добрый, необыкновенно приятный человек и его музыка, которая «одуряла» Софью. Вся ее теперешняя жизнь сосредоточилась только на музыке, благодаря которой она продолжала жить. В ней одной нашла она смысл существования без Ванечки. А муж, хоть и считал ее влечение «диким помешательством», вел себя «ласково и терпеливо», оставаясь «духовной охраной» Софьи.

Теперь и у нее, наконец, появился замечательный собеседник, вернее, слушатель, которому она могла рассказать чуть ли не всю свою жизнь: как Лёвочка сделал ей предложение, как объяснялся в любви, написав мелком одни начальные буквы, и она все прочитала. Как в нее был влюблен, конечно, платонически, поэт Фет, восхищавшийся ею и посвящавший ей стихи. Софья доверяла Танееву секреты своих доходов и расходов, рассказывала о краже мужниных брюк, о привычке супруга донашивать одежду своих сыновей, о том, как не раз слышала голос любимого Ванечки, как сажала семена яблонь в горшки с землей, чтобы выросли яблони, напоминавшие об их с Лёвочкой любви. Софья не умолкала, когда они прогуливались на «Груммонд» или на Козловку. У нее с Танеевым появились свои любимые места, например, у вышки в Нижнем парке. Сергей Иванович обучал Софью и детей итальянскому языку и эсперанто. Они не раз ездили в Тулу, катались там на лодке по Упе, гуляли в городском саду, а вернувшись в Ясную Поляну, пили кофе на террасе, и он слушал рассказ о том, как была написана «Анна Каренина». Софья расспрашивала гостя о его музыкальной карьере. Потом Лёвочка и Танеев садились играть в шахматы, заранее договорившись о том, что если партию проиграет Лев Николаевич, то прочтет что-нибудь из своих романов, а если потерпит фиаско Сергей Иванович, то непременно что-то исполнит из своих сочинений. Танеев не раз интересовался мнением Лёвочки о той или иной сочиненной им вещи, и тот честно признавался, что не услышал в пьесе ни мелодии, ни ритма, ни последовательности.

Чем больше очаровывалась Софья талантом Танеева, тем суровее становился муж. Он видел в композиторе прежде всего самодовольство, а также нравственную и эстетическую тупость. Но особенно ему было неприятно то, что в их доме Танеев был на положении *coq du village* (баловня. — Я. Я). Муж был унижен и возмущен тем, что совершенно чужой человек руководит их жизнью. Обо всем этом Лёвочка написал Софье в письме, когда находился у Олсуфьевых в Никольском. Он слезно просил ее, чтобы она вышла, наконец, из «сомнамбулизма», оглянулась вокруг и прекратила свои нелепые «игры». А она действительно ни разу не задумалась о том, что ее кумир проходил мимо всех женщин, словно мимо стульев, с полным равнодушием. Он обожал только своего преданного ученика Юшу Померанцева. А Софья продолжала каждый раз надевать новое платье, когда должна была встретить Сергея Ивановича.

Муж даже в снах не мог забыть о своем оскорблении. Сближение жены с Танеевым было для него неприятным, мучительным, отравляющим жизнь. Он долго искал и, наконец, нашел четыре выхода из этого тяжелого

положения. Первый, и самый лучший, заключался в том, чтобы прекратить совсем и сразу всякие отношения с Танеевым. Только так можно избавиться от всего этого кошмара. Второй выход он видел в отъезде за границу, а значит, в расставании с ней навсегда. Третий предполагал их общий отъезд за границу вдвоем и разрыв отношений с Танеевым. И, наконец, четвертый был не выходом, а, скорее, страшным выбором — жить, как прежде.

В этом Лёвочкином меморандуме Софья усмотрела только одно желание — представить ее в глазах потомков «потаскухой». Поэтому, недолго раздумывая, она отправилась вслед за Танеевым в Петербург, чтобы там, не таясь, наслаждаться музыкой. Она не могла до конца разобраться в своих экзальтированных чувствах к Сергею Ивановичу. Они были вне логики и разума. Их частые встречи, такие веселые и беззаботные, окутывали ее облаком радости, позволяли забывать обо всем суетном, обыденном и привычном. Самое главное заключалось в том, что Софья не находила в своей привязанности к Танееву чего-либо такого, что могло бы бросить тень на ее репутацию вполне добропорядочной замужней дамы и матери многочисленных детей. Ее чувства к Сергею Ивановичу были самыми возвышенными.

На таком непростом, драматическом фоне совершенно незаметными стали события, которые в другие времена могли претендовать на куда более значимые. Софье теперь было не до женитьб и замужеств своих детей. Летом 1897 года ее старший сын Сергей обвенчался с Машей Рачинской, дочерью директора Петровской сельскохозяйственной академии. Софья, конечно, обрадовалась, узнав, что наконец-то завершился беспечный холостяцкий период жизни Сережи. Но молодые, как ей казалось, жили плохо, кое-как и ужасно скучно. Не успела она порадоваться за сына, как следом за этим узнала о замужестве Маши. Софья ликовала, чутье помогло ей сберечь для недалёковидной дочери 50 тысяч рублей, от которых та беззаботно отказалась. А теперь благодаря мама ей будет на что кормить своего мужа — «нахлебника» и «бездельника». 2 июня 1897 года Маша обвенчалась с князем Николаем Леонидовичем Оболенским, приходившимся ей кузеном. Кроме титула он ничего не имел. Оболенский был моложе жены на два года. Получилось так, что Софья сама невольно свела дочь с дальним родственником, предложив как-то его матери Лизе Оболенской, Лёвочкиной племяннице, пожить с сыном у них в доме. Маша потеряла голову, страстно влюбившись в привлекательного и избалованного кузена. На бурные запреты мама дочь не реагировала. А папа постоянно повторял бедной Маше только одно: «Думать надо, больше

думать надо». Несмотря ни на что, дочь вышла замуж и сразу столкнулась с большими трудностями, связанными с ее прежним отказом от наследства и от венчания. Отцу было жаль Машу, как «бывает жаль высоких кровей лошадь, на которой возят воду».

Но Софья больше волновалась за свою старшую дочь Таню, долгое время состоявшую с красавцем — толстовцем Евгением Поповым в *amitie amoureuse* (нежной дружбе. — **Н. Н.**). А вскоре выяснилось, что один из ее *passio*, Михаил Сухотин, стал вдовцом, будучи уже отцом шестерых детей. Софья нервничала, рвала и метала, считала «противного» Сухотина подлым человеком, способным только пританцовывать перед молодыми барышнями. Она его не выносила, наверняка зная, что дочь по уши в него влюбилась. Лёвочка, ошеломленный этим известием, также был не в восторге.

Тем временем обстановка в их доме все больше и больше накалялась. Частые посещения Танеева заставляли Толстого еще ниже согнуться под тяжестью стольких событий: смерть Ванечки, неудачное замужество Маши, неприятная связь Тани с Сухотиным. Он собрался уйти от Софьи, считая, что подобная жизнь для него слишком унижительна и омерзительна. Нельзя, думал он, потворствовать капризам «сумасшедшей жены».

1 февраля 1897 года, измученный страданиями, написал Софье письмо, в котором сообщал о своем ужасном состоянии, побуждавшем покинуть дом. Он передумал сразу отдать письмо жене, а решил спрятать его в одном из кресел под сиденьем, рядом с рукописью «Дьявола». Одновременно он написал и записку, случайно положил ее в книгу, которую отдал переплетчику. Поэтому Софья узнала об этой записке, где речь шла о ее отношениях с Танеевым, из-за которых Лёвочка хотел лишиться себя жизни, думая, что она полюбила другого. Она разорвала записку на мелкие кусочки. Когда же обнаружила первое письмо, запечатанное в синий конверт, и захотела вскрыть его, муж вырвал конверт из ее рук. Лёвочка неистовствовал, требовал, чтобы она немедленно прекратила постыдные встречи с Танеевым, умолял ее поехать за границу вместе или отпустить его одного. Он просил ее о любви, умиляя своей «старческой добротой», и отторгал, пугая своей ужасной «наболелой ревностью». Слушая мужа, Софья понимала, что судьба уготовила им немало бурь.

Она была настолько увлечена музыкой, что о многом, происходившем в их доме, узнавала случайно. Например, для нее стало полной неожиданностью решение мужа отказаться от денег за Нобелевскую премию в пользу ненавистных ей духоборов, которым он в это время

помогал, собирая для них немалые деньги, пожертвовав им колоссальный гонорар, полученный от издания «Воскресения». Софья болезненно воспринимала не только потерю для семьи огромной суммы, но и утрату куда меньших денег, например, тысячи рублей, подаренных Лёвочке купцом Морозовым и тут же переведенных мужем духовоборам. Позже муж написал письмо в шведские газеты о своем отказе от премии, а ведь Софья уже мысленно готовилась к поездке в Стокгольм, чтобы сопровождать Лёвочку. Она не сомневалась в его победе. От этих грустных мыслей ее отвлек огромный чирей, внезапно появившийся на щеке мужа. Софья не на шутку перепугалась, подумала, что это рак. А муж снова просил ее выделить ему сумму для благотворительных целей из гонораров, получаемых за театральные спектакли. Софья протестовала, требовала передачи ей всех прав на сочинения мужа, он отказался, и она многое ему сгоряча наговорила, так что он всю ночь не спал, планируя что-нибудь написать об измене жены.

Софья была уверена, что решение всех своих проблем ему надо искать в спальне. В свои 69 лет Лёвочка был на редкость страстным, испытывал к ней, 53-летней женщине, очень сильное влечение. Она была в ужасе от глав романа «Воскресение», как-то прочитанных мужем вслух. Софья мучилась, не понимая, как мог семидесятилетний старик с таким «особенным вкусом» смаковать, как «гастроном вкусную еду», описывая такие сцены, как прелюбодеяние горничной с офицером. Она хорошо знала, что в этом пассаже муж описал свою связь с горничной Гашей. Софья не раз встречала эту женщину, испытывая к ней глубокое отвращение. Все эти прожитые ими совместно «длинные» супружеские годы Лёвочка постоянно желал ее, а она с годами все меньше и меньше нуждалась в физической близости, мечтая о духовном и возвышенном. А муж в это время метал стрелы в ее сторону, яростно разоблачая ее якобы развратную жизнь, с животными грубыми интересами — нарядами, «сладким жраньем», игрой, швырянием под ноги чужих, то есть его, трудов. Но ведь он сам отдалился от нее, сблизившись со своими «темными» друзьями, боготворил «отвратительного» Черткова, высланного теперь, слава богу, за границу. Теперь Лёвочка собрался ехать в Петербург, чтобы попрощаться с Чертковым, и Софья конечно же поехала вместе с мужем. А потом снова вернулась к своей московской привычной жизни, окруженная портными, купцами, типографистами. Ее ждал Танеев. Он приходил регулярно по утрам, чтобы заниматься музыкой в беседке, в тиши их хамовнической усадьбы. Для Софьи сейчас все было сосредоточено на дорогом образе Сергея Ивановича. Остальное, включая болезненную

ревность мужа, тяжелые с ним разговоры, выяснения отношений, не имело значения.

А старшая дочь в это время тонко подмечала, как за эти годы все изменилось в родительском доме, когда-то таком дружном. Все чаще ощущался запах вина, который доносился из комнаты Миши, слышалось подозрительное перешептывание двух братьев Андрея и Миши о чем-то «нехорошем».

Таня по уши влюбилась в Михаила Сергеевича Сухотина, легкомысленного пятидесятилетнего вдовца. В яснополянском доме она «доживала» свою девичью жизнь «напоследках», стремясь к новой жизни и желая материнства. Для Софьи замужество любимой дочери стало «роковым» событием. В доме все было «натянuto, уныло, что-то напухло и невыносимо наболело». Софья благословила дочь образком. Венчание прошло в их приходской церкви Знамения в Зубове. Таня шла к венцу в скромном сереньком платье, не пожелав надевать пышный свадебный наряд, украшавшийся померанцевыми цветами, вуалем и прочими аксессуарами. С уходом Тани исчезли последнее утешение и любовь. После замужества дочери Лёвочка сказал, что стал опускаться все ниже и ниже свое мнение о женщине. А дочь была счастлива, убеждала родителей, что «отдала себя в хорошие руки». Теперь ее стул, на котором она сидела рядом с папа, опустел, и на него долго никто не решался садиться.

В этот 1899 год состоялись сразу две свадьбы. Одна дочерняя, а другая — сыновья: Андрей женился на Ольге Константиновне Дитерихс. Но Софья восприняла это событие не столь эмоционально и взволнованно. Она все больше жила консерваторскими интересами. А семейными делами занималась больше по инерции. Кажется, прав был Лёвочка, как-то сказав ей, что все романы кончаются тем, что герои женятся. Но описывать жизнь людей так, чтобы обрывать на женитьбе, это все равно что, описывая путешествия человека, оборвать описание на том месте, где путешественник попал к разбойникам. Ей и Танееву, думала Софья, женитьба не грозит. Поэтому и роман их не должен был чем-то заканчиваться.

Однажды она совершенно случайно услышала от простодушного доктора Маковицкого, что Лёвочка хочет передать статью Карпентера со своим предисловием ненавистной ей Любви Гуревич для публикации в «Северном вестнике». Софья подумала, что ослышалась, ведь Лёвочка поклялся ей больше ни за что не иметь дела с этим изданием. Ее возмущению не было конца. Она захотела лишить себя жизни, потом решила поехать в Петербург, чтобы вырвать у «мерзкой интриганки» эту

статью. Но в конце концов Софья отправилась в Троице-Сергиев монастырь, где в гостиничном номере ее разыскала дочь Таня. А перед этим, у лавры, цыганка предлагала ей погадать, а потом сказала Софье, что ее любит блондин, но только не смеет признаться в этом, потому что она «дама именитая, ее положение высокое, развитая, образованная, а он не твоей линии». За рубль и шесть гривен цыганка предлагала сделать «приворот». Софье «хотелось взять приворот», чтобы навсегда приворожить своего кумира, но вдруг ей стало страшно...

Она вернулась в Москву, домой, где ее со слезами на глазах встретил бедный муж. Они бросились друг к другу в объятия, и она поняла, что злосчастная статья не будет напечатана в «Северном вестнике». Софья пообещала Лёвочке больше не видеться с Танеевым и заботиться только об одном муже. На этом роман с музыкантом был исчерпан.

Глава XXVII. Сиделка

После Таниного замужества их дом осиротел. Теперь Лёвочка был уверен, что «все женщины угорели и мечутся, как кошки по крышам». Это стало открытием для него, и в душе он надеялся на то, что обе дочери выстоят, не поддадутся мужским чарам и соблазнам. Но, увы, Таня и Маша не стали самоотверженными девственницами ради отца. Теперь он желал только одного, чтобы дочери навсегда забыли о «беганье по крышам и о мяуканье». Софья тоже долго не могла успокоиться после Таниного венчания. Когда она вернулась домой, ей показалось, что вокруг пустота, мрак, точно она попала сюда с похорон.

Однако человек предполагает, а судьба располагает, и вскоре ее тяжелое состояние сменилось суетой повседневности. Жизнь брала свое. Дом вновь наполнился гостями и посетителями. С утра до вечера Софья крутилась, словно белка в колесе, у нее не было ни одной свободной минуты. Она даже едва успела отправить поздравительную телеграмму мужу в день годовщины их свадьбы. Теперь Софья целиком посвятила себя благотворительной деятельности, став попечительницей приюта для беспризорных детей, рьяно взялась за дело и сразу внесла две тысячи рублей из денег своего покойного Ванечки. Она купила для приюта корову, навязала детям уйму шапок, привезла им много игрушек, фруктов, сладостей. После этих даров они встречали ее радостными возгласами: «Графиня приехала!» Софья так любила детей, что попечительство для нее стало важным и приятным занятием, которому она отдавалась сполна и с большим удовольствием. Этот приют существовал на деньги благотворителей, денег не всегда хватало, и поэтому ей приходилось самой что-то предпринимать и организовывать, например, литературно — музыкальные вечера, на которые приглашались дирижеры, музыканты и чтецы, выступавшие бесплатно. После таких вечеров в приют начинали поступать пожертвования от богатых купцов, в огромных количествах присылавших бумагею, сукно, бумагу, книги и прочее. Софья была несказанно довольна.

Много времени у нее уходило и на прием гостей. Так, однажды ее навестил редактор журнала «Жизнь для всех» Поссе вместе с очень известным уже Максимом Горьким, которого Лёвочка называл «лохматым». Как-то к ним приехал прославленный Федор Шаляпин, очень веселый, талантливый, голосистый, но который не очень понравился мужу из-за

своего «громкого» голоса. Приходили и «странные» посетители, прибывшие в Россию с острова Ява и с мыса Доброй Надежды специально для того, чтобы встретиться с гениальным писателем. Посещали их гостеприимный дом принц Ольденбургский, моряк Шереметев, граф Ламсдорф, которые просто «впивались» глазами в мужа. Также к ним наведывался критик Владимир Стасов. В общем, от многочисленных гостей не было продоху, из-за них Софья порой не могла заняться музицированием или предаться воспоминаниям. Тем не менее она по — прежнему посещала музыкальные вечера, где играл Танеев, для которого шила новые туалеты. Дочь Саша в такие моменты отмечала про себя: «Опять новое платье, и это означало встречу с Сергеем Ивановичем». А муж, так и не дождавшись ее вовремя, сам заказывал повару скромный постный обед, состоявший из пирога с рисом и семгой.

Их супружеская жизнь становилась все более умирительной, оба непременно желали чем-то помочь друг другу, и это было для них самым главным. Они старались быть мудрее, жить сегодняшним днем, а не завтрашним и не прошлым. Сын Сережа тоже подлаживался под их жизнь, беспокоился о здоровье отца, робко предлагая ему свою помощь. Но отец был особенно благодарен ему за помощь духоборам. Конечно, было много волнений, связанных с детьми: из-за гайморита у бедной Тани; из-за подавленного состояния Маши, утратившей былую энергию после выхода замуж за ленивого и вечно сонного Колю Оболенского. Особенно досадно было то, что обе дочери никак не могли родить здорового ребенка. Дети рождались мертвыми. В этом она винила их вегетарианство. Благо, что у невесток дела обстояли иначе, и к этому времени Софья уже не раз становилась бабушкой, в ее честь даже была названа одна из внучек, ставшая ее полной тезкой. Она была благодарна сыну Андрею и невестке Ольге, которые пожелали так назвать свою дочку, родившуюся 12 апреля 1900 года в Ясной Поляне. Софья радовалась тому, что ее сын основательно занялся хозяйством и его жизнь в яснополянской усадьбе не проходила даром. А ведь он был еще так молод. Об этом она думала во время своей поездки в Петербург, предпринятой ею для встречи с графиней Александрин Толстой, которая восприняла это посещение с превеликой благодарностью и приняла его как «жертвоприношение» Софьи. Александрин не знала о главной причине ее поездки, о которой легко догадывалась дочь Саша, сопровождавшая мама, в том числе и по концертным залам, где она видела Танеева.

Между тем недобрые слухи о судьбе «Воскресения», постоянно витавшие в воздухе, не на шутку встревожили Софью. Она узнала, что ее

мужа ожидают очередные неприятности из-за издания романа за границей, в частности в Америке, и что уже появилось якобы высочайшее повеление, грозящее строжайшими запретами, в том числе лишением возможности церковных похорон после смерти Лёвочки. Однако тьма всяких забот отвлекала от грустных мыслей. Надо было думать о хлебе насущном: о продаже по выгодной цене самарских земель Андрея и Миши, о покупке имения Мансурова Ильей и т. д. Софья так устала от этих имущественных вопросов, что порой приходила в отчаяние, желая, чтобы все пропало: «и хозяйство, и книги, и московский дом, и дела с артельщиками, и уборка библиотеки, и обивка мебели». Хорошо, что все были здоровы, в том числе и Лёвочка. Это еще как-то вдохновляло ее на посадку трех сотен яблонь и лиственниц, на заказ в Воронеже шестидесяти штук вишневых деревьев от Карлсона, которые, к ее большому огорчению, погибли, не прижились на яснополянской земле. Кроме этого, приходилось еще учить свою Сашу, у которой вкусы были самые, что ни на есть, «первобытные», что чувствовалось, например, в ее «ужасном громком» смехе.

День их с Лёвочкой свадьбы, 23 сентября, Софья решила провести в одиночестве, а потому достала старинные ноты, принадлежавшие маменьке мужа, чтобы сыграть Бетховена. За этим лиричным занятием ее и застал Танеев. Он сразу же сел за рояль и с блеском исполнил сонату Бетховена *d.moll*, теперь ставшую для нее самой любимой. Лёвочка, охладевший к плотской любви, не смог ей предложить взамен дружбы. Она же мечтала о муже — друге.

Танеев поведал Софье об ужасных интригах и скандалах в консерватории. На последнем заседании директор консерватории Сафонов нагло накричал на него, и Сергей Иванович тотчас же подал заявление об уходе. Софья немедленно написала письмо великому князю Константину Константиновичу, мать которого являлась председательницей музыкального общества, в котором рассказала о беспорядках, происходящих в консерватории не без участия Сафонова. Благодаря ее обращению тот был уволен и на его место назначен Ипполитов — Иванов. Это место сначала было предложено Сергею Ивановичу, но он отказался.

Вскоре Софье стало не до этого: умер внук Лёвушка, и ее невестка Дора хотела броситься в могилу, когда опускали гроб с младенцем. Но беда не приходит одна: следом за этим печаль — ным известием последовало еще одно: дочь Таня снова родила мертвую девочку. Радости жизни словно совсем оставили ее. Тане даже горевать было не с кем, муж Михаил в это время находился за границей, в теплых краях, потому что терпеть не мог российских холодов. Так смешивалось в жизни Софьи хорошее с плохим.

Но вскоре пришло радостное известие: сын Миша, пользовавшийся большим успехом в свете, решил жениться на прехорошенькой и любящей его Лине Глебовой. Софья стала готовиться к свадьбе: шила молодым свадебные мешочки, заказала приглашения. Все делала с большим удовольствием, потому что материнский инстинкт подсказывал ей, что выбор сына был сделан верно: жена была одного уровня с ним, а значит, они будут жить хорошо. 31 января 1901 года молодые обвенчались. Свадьба вышла великосветской и очень пышной, на ней присутствовал великий князь Сергей Александрович, специально прибывший из Петербурга. Прихожане, видя Софью, спрашивали друг друга: «А это мать жениха?» — «Какая красавица!» После венчания супруги отправились в Ясную Поляну. Остальные дети разъехались кто куда. Теперь с родителями осталась только младшая дочь Саша.

Тем временем недобрая молва о романе «Воскресение» не выходила у Софьи из головы. Многие в этом сочинении настораживало ее. Ей не нравилось описание обедни, а также странное отношение автора к причастию. Но она по — прежнему продолжала старательно заниматься корректурой «Воскресения». 22 февраля 1901 года состоялось заседание Синода, на котором ее мужа обвинили во всех грехах, объявили еретиком и богохульником, отпавшим от православной церкви. Об этом было опубликовано 24 февраля в «Церковных ведомостях». Лёвочка воспринял это известие с полным равнодушием.

А внутри Софьи все просто закипело от возмутительного вердикта Синода. Она была оскорблена, возмущена и, обдумав ответ, написала два письма. Первое было адресовано Победоносцеву, который, как помнила Софья, прежде высказывался гораздо осторожнее, считая, что нельзя лишать Толстого церковных похорон, потому что никому не дано знать, что может произойти в душе умирающего за две минуты до смерти. До возвращения мужа с прогулки она успела отправить письмо с почтой. Второе письмо, черновик которого Софья зачитала мужу, предназначалось митрополиту Антонию: «Прочитав вчера в газетах жестокое распоряжение Синода об отлучении от Церкви мужа моего, графа Льва Николаевича Толстого, и увидев в числе подписей пастырей Церкви и Вашу подпись, я не могла остаться к этому вполне равнодушна. Горестному негодованию моему нет пределов. И не с точки зрения того, что от этой бумаги духовно погибнет муж мой: это не дело людей, а дело Божье. Жизнь души человеческой с религиозной точки зрения никому, кроме Бога, не ведома и, к счастью, не подвластна. Но с точки зрения той Церкви, к которой я принадлежу и от которой никогда не отступлю, которая создана Христом

для благословения именем Божиим всех значительнейших моментов человеческой жизни: рождений, браков, смертей, горестей и радостей людских... которая громко должна провозглашать закон любви, всепрощения, любовь к врагам, к ненавидящим нас, молиться за всех, — с этой точки зрения для меня непостижимо распоряжение Синода. Оно вызовет не сочувствие... а негодование в людях и большую любовь и сочувствие Льву Николаевичу. Уже мы получаем такие изъятия, и им не будет конца, со всего мира.

Не могу не упомянуть еще о горе, испытанном мной от той бессмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно: о секретном распоряжении Синода священникам не отпевать в церкви Льва Николаевича в случае его смерти. Кого же хотят наказывать? Умершего, ничего не чувствующего уже человека или окружающих его, верующих и близких ему людей? Если это угроза, то кому и чему? Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим богом любви, или непорядочного, которого я подкуплю большими деньгами для этой цели? Но мне этого и не нужно. Для меня Церковь есть понятие отвлеченное, и служителями ее я признаю только тех, кто истинно понимает значение Церкви. Если же признать церковью людей, дерзающих своей злобой нарушать высший закон — любовь Христа, то давно бы все мы, истинно верующие и посещающие церковь, ушли бы от нее.

И виновны в грешных отступлениях от Церкви не заблудившиеся люди, а те, которые гордо признали себя во главе ее и вместо любви, смирения и всепрощения стали духовными палачами тех, кого вернее простит Бог за их смиренную, полную отречения от земных благ, любви и помощи людям жизнь, хотя и вне Церкви, чем носящих бриллиантовые митры и звезды, но карающих и отлучающих от церкви пастырей ее.

Опровергнуть мои слова лицемерными доводами легко. Но глубокое понимание истины и настоящих людей никого не обманет.

Москва, Хамовнический пер., 21. Графиня Софья Толстая. 26 февраля 1901 г.».

Муж спокойно прослушал обращение Софьи, похожее на крик души, снисходительно улыбнулся и сказал, что об этом вопросе написано столько книг, которые все не уместились бы целиком в их большом доме, а ты собралась их учить своим письмом. Но она была уверена, что поступила правильно. Вскоре ее страстное письмо облетело весь мир: многие ее хвалили за столь смелый шаг и такой честный поступок. Чуть позже

написал свой «Ответ Синоду» Лёвочка, но он не вызвал такого шума и такой бурной реакции, как ее письмо, ходившее по рукам, которое все переписывали.

После этого за Лёвочку заступился, кажется, весь мир. Сразу же взбунтовались студенты Петербурга и Москвы. Весь народ высыпал на площади и улицы. Кого только здесь не было! Приказчики, извозчики, рабочие, интеллигенция — все встали на защиту Толстого, все возмущались его отлучением от церкви. Многотысячная толпа своим выходом на улицы города как бы демонстрировала свое негодование выходкой Синода. В это время Лёвочка прогуливался, как всегда, в районе Лубянской площади. Кто-то, увидев его, крикнул: «Вот он дьявол в образе человека!» Толпа заволновалась, стала приветствовать его криками: «Ура! Лев Николаевич! Здравствуйте! Лев Николаевич! Ура! Привет великому человеку!» Лёвочка захотел поскорее уехать на извозчике, но все кричали «ура!» и не давали это сделать. С трудом ему удалось выбраться из толпы.

Потом состоялась еще одна мощная демонстрация в столице, на Казанской площади, в которой принимали участие писатели, многие из них были арестованы. После этого закрыли Союз русских писателей и был арестован князь Л. Д. Вяземский, невзирая на его придворное звание.

Только одна Софья знала о Лёвочкиной тайне. Однажды, когда она протирала книги на одной из полок, он, увидев это, строго — настрого запретил ей прикасаться к ним. Она была заинтригована запретом и как-то, когда его не было дома, из женского любопытства решила покопаться на полке. Каково же было ее удивление, когда за книгами она увидела припрятанную иконку Божьей Матери, которой его благословила тетенька, когда он отправлялся на Кавказскую войну. Софья открыла для себя трогательное благочестие мужа, его набожную робость, проявившуюся в желании скрыть от постороннего взгляда то, во что он верил. Какое целомудрие и какая любовь к дивному образу!

Новое столетие Лёвочка встретил не в лучшей форме. Зимой, живя в Москве, он часто хворал, силы покидали его. Он, так долго напоминавший могучее дерево, стал все чаще и чаще скрипеть. Плохо спал и мало ел. Однажды, переев на ночь гречневой каши, сильно заболел. Начались адские боли в печени и желудке, рвота с кровью, он кричал на весь дом, но не позволял приглашать докторов. Софья знала, что муж — очень трудный пациент.

Все дети жили в своих имениях, кроме Лёвы, который находился во Флоренции, и Тани, лечившейся в это время в Риме. Сама же Софья устала жить только материальными заботами и делами и занялась изучением

итальянского языка, купила самоучитель и одновременно брала уроки музыки у гувернантки дочери Саши.

Всю зиму муж был «больнешеньким», приходилось кормить его из ложечки и регулярно делать массаж. У Софьи была легкая рука и способность к лечению, доставшаяся ей от отца по наследству. Она постоянно кого-нибудь лечила: то своихдетей, то народ, то Лёвочку, причем его — с особым терпением. В общем, Софья с полным основанием могла считать себя главным домашним врачом. Пережив самые тяжелые месяцы, которыми были для него февраль и март, Лёвочка к лету так и не оправился от болезни. Тем не менее продолжал самолечение, был, как он выражался, сам себе доктором, верящим индийским браминам, которые излечивались от недугов ходьбой, работой и верой в собственное здоровье и бодрый дух. Он нашел для себя единственное лекарство, которое могло спасти от старости, — вегетарианство. Однако чувствовал себя «стабильно очень нехорошо». Если в молодости он болел изредка, во взрослые годы — раз в месяц, то в старости — каждые пять дней. В борьбе с недугами предпочитал закаливание и гигиену. Хорошо зная доводы мужа против лечения, Софья упорно делала свое дело: лечила его не только словом, но и медикаментами, предписанными докторами для спасения «умирающей жизни». Глядя на мужа, она отмечала, как он сильно похудел и постарел. Он постоянно недомогал, то пальцы сводило, то желудок «не варил».

28 июня 1901 года, в день рождения их старшего сына Сережи, муж заболел очень тяжелой формой малярии и находился между жизнью и смертью. У него были жар, сильная боль в груди, пульс 150 ударов в минуту. Софья сразу же послала за тульским врачом Дрейером, который диагностировал малярию и прописал хинин, кофеин и строфант для сердца. С помощью хинина удалось снизить температуру, но пульс по — прежнему оставался высоким. Лёвочка худел, слабел, находился на распутье — вперед к смерти или назад к жизни. Порой ему становилось лучше, и он начинал упрекать жену за лечение, сердиться на докторов, которых она приглашала. Но когда он чувствовал себя плохо, то всегда послушно лечился, мечтая поскорее поправиться, чтобы совершать прогулки по яснополянским лесам. Однако до этого было еще очень далеко, потому что ходил он ещё плохо. А ночью постоянно стонал от ревматических болей или от плохого кровообращения. Софья делала ему горячие солевые ванны, поила минеральной водой.

Такую тяжелую болезнь муж сам спровоцировал путешествием из Кочетов в Ясную Поляну. Побывав у дочери Тани, он пешком отправился до ближайшей железнодорожной станции без провожатого, прошагав

больше полутора часов, стал уставать и сбился с дороги. Не заметил, как наступили сумерки, и он в темноте карабкался по холмам, теряя при этом немало сил. Наконец услышал собачий лай и вскоре увидел пастухов, стал просить их достать ему лошадь, но те отказали. Пришлось идти дальше в кромешной тьме и искать дорогу, полагаясь на свой охотничий инстинкт. После такого отчаянного блуждания Лёвочка слег.

Тем временем сердце больного утомилось, Бог услышал мольбу бедной жены об отсрочке смерти мужа. Консилиум врачей, определивший у пациента грудную жабу, рекомендовал поездку в Крым. Узнав о болезни знаменитого писателя, графиня С. В. Панина, одна из самых состоятельных женщин России, предложила Лёвочке свою роскошную дачу в Гаспре. На семейном совете было решено принять приглашение и в ближайшее время отправиться на всю зиму в Крым. К их крошечной семье, состоявшей теперь из трех человек, должны были присоединиться и бывшие ее члены — Таня и Маша с мужьями, Андрюша с семейством, сыновья Сережа и Миша.

Выезжали из Ясной Поляны темной и сырой осенью в двух колясках, она с Лёвочкой, Маша с Колей, Саша и последователь мужа Павел Буланже. Конюх Филя освещал дорогу факелом. Из Тулы до Севастополя ехали в отдельном вагоне, в котором были кухня, столовая, спальни. Буланже выхлопотал у себя на службе этот чудо — вагон. В Харькове на платформе их приветствовала толпа поклонников писателя, кричавшая: «Толстой! У — р-р — р-а!» А в Севастополе их ждала четырехместная коляска, на которой они благополучно добрались до гостиницы.

Муж словно оживал на глазах Софьи, оказавшись в этих, до боли знакомых местах, он сразу же стал расспрашивать, где находится знаменитый четвертый бастион. По городу гулял с большим удовольствием, с интересом что-то узнавал, в том числе в экспозиции военного музея, где увидел и свой портрет. На следующий день они отправились в Гаспру, любуясь чудными пейзажами этого благодатного края.

Уже вечерело, когда они подъехали к дворцу графини Паниной, напоминавшему средневековый замок. Все было удобно и роскошно, так что лучшего желать было просто невозможно. Их огромная семья разместилась в комнатах верхнего этажа, а на первом этаже они пользовались только столовой. Лёвочку также разместили внизу, рядом с гостиной. Для себя Софья выбрала комнату с огромными окнами и с дверью, ведущей на роскошную террасу, где стояла подзорная труба, в которую она разглядывала проходившие мимо Гаспры пароходы и катера.

Удобства в огромном замке, выполненном в псевдоготическом стиле, были просто царскими. Мраморные лестницы, ковры, картины, камин, восхитительные виды из окон дворца — все было впечатляющим. Посреди двора журчал огромный каменный фонтан, чуть дальше виднелся купол домово́й церкви. Кругом благоухали розы, магнолии, канны, росли кипарисы и грецкие орехи. В общем, вполне презентабельное палаццо, в таком никто из них никогда не жил. Да еще красота моря и гор! Со всех сторон панинскую дачу окружали имения великих князей. Лёвочке замок очень понравился, он радовался, восхищался всем, словно дитя.

Софья ездила то в Алупку, то в Ялту, чтобы насладиться красотой южных мест. Частенько принимала гостей сама: то великого князя Николая Михайловича, то старинных Лёвочкиных знакомых, Самарина и Оболенского, а еще Чехова, Горького и Бальмонта. Чтобы доставить удовольствие мужу, она играла на рояле. Благодарный слушатель не раз хвалил ее.

Между тем Лёвочкины страдания не прекращались, сопровождаясь постоянными болями, то в коленях, то в пальцах ног, то сильнейшими стеснениями в груди, то перебоями в сердце, то скверным пищеварением, то угнетенным состоянием духа. Бессонными ночами Софья постоянно прислушивалась к его дыханию. Муж категорически не желал видеть докторов, злился, брюзжал, протестовал, отказывался принимать лекарства, но в то же время мог поминутно щупать и считать свой пульс, а иногда просил об этом Машу. Что и говорить, Софье все время приходилось бороться то с Лёвочкой, то с его болезнью, спасая его жизнь и обманом давая лекарственные препараты, хотя бы кофеин.

Вскоре Софья заметила, что стала полнеть, что ее душа потихоньку засыпает. Ее избаловал комфорт, к которому она не была приучена. Она не желала такой жизни, с короткими днями, длинными ночами, опавшими листьями, летним теплом и осенней тьмой. Кругом было тихо и однообразно. Даже дочь Таня казалась какой-то «тихой», возможно, из-за того, что она снова была «с брюшком», постоянно что-то вязала, думала о муже, «Михайлушке», который вот — вот должен был приехать сюда, поселиться с ней во флигеле, где ему будет тепло. А в большом доме было холодно и сыро из-за того, что невозможно было должным образом отопить такой огромный каменный замок. С приездом Тани было решено, что все они останутся здесь до весны, к величайшему сожалению Софьи.

Теперь вечерами все собирались в огромной гостиной, украшенной копиями Мурильо в золоченых рамах, японскими фарфоровыми вазами. Около камина грелся Сережа, а на диване лежал «больнeshенький»

Лёвочка. Саша, как всегда, что-то переписывала для папа, а бедная Таня уже знала, что снова носит в себе мертвого ребенка и роптала на горькую судьбу. А Софья готовилась к тому, что ей придется разрываться между больным мужем и несчастной дочерью. К тому же прислуги в доме было явно недостаточно.

Софье было жутковато и очень одиноко в этом огромном дворце. Ее не могли отвлечь от грустных мыслей даже море и цветы. В такие минуты Крым казался ей слишком «наглым», с его цветущими миллионами роз, «зараженным, инфекционным местом», а замок графини она находила похожим на тюрьму, из которой не сможет больше выйти.

Таня родила мертвого мальчика и чувствовала себя ужасно, ее постоянно лихорадило из-за сильного прилива молока. А Лёвочка уже пять дней лежал неподвижно и все время повторял: «Карета подана». Он часто бредил, говорил, что «Севастополь горит», просыпаясь, начинал перебирать руками край вязаного шерстяного одеяла, просил, чтобы пригласили врачей Бертенсона и Щуровского. Врачам приходилось впрыскивать ему мышьяк. Таня с мужем собрались уезжать из Гаспры. Без нее Софья чувствовала себя совсем одинокой. Даже приезжавшие сюда Илюша и Андрюша не могли ее утешить. Они постоянно играли в столь ненавистные ей карты. Она же, вместе с Сашей, продолжала «толстеть», объясняя это своей однообразной жизнью, слишком тоскливой, а также очень полюбившимся ей виноградом «изабелла». Однажды ночью поднялась сильная буря, переколотившая все стекла в доме и даже кое — где вырвавшая оконные рамы, чем всех крайне напугала. Однако Новый год они встречали в одних только платьях, будто наступило лето. Кним надачу пришли ряженые, которые, топая ногами, дико плясали под аккомпанемент Саши.

Состояние здоровья Лёвочки постоянно менялось, то он чувствовал себя плохо, то чуть лучше, то снова плохо. Теперь Софья все больше доверялась ялтинскому доктору Альтшуллеру, которого в свое время порекомендовал Тане Антон Павлович Чехов, лечившийся у него. Но муж слабел, жизнь его шла под гору. Поэтому Софья рискнула побеспокоить врача Тихонова, лечившего великого князя, который, осмотрев больного, не нашел никакой непосредственной опасности, но тем не ме — нее пригрозил плохим исходом, если муж будет переедать и утомляться. Софья не оставляла Лёвочку одного даже на полчаса. Ночью непременно давала ему молоко, в которое добавляла ложечку коньяка и строфант. Он был угнетен своей продолжительной болезнью, отдалялся от всех, порой бунтовал, отказывался от лекарств. Конечно, Софья уставала из-за

постоянной борьбы с мужниными уловками. Он пытался противостоять ей, когда она заставляла его принять лекарство. Здоровье больного благодаря ее уходу и заботам врачей немного поправилось. Муж даже стал иногда что-нибудь пописывать или играть в винт. Однако было необходимо снова изменить диету, а упрямый Лёвочка ни за что не желал подчиниться ей, например, питаться рыбой или курицей, а настойчиво ел морковь или цветную капусту.

Доктора не понимали, почему у их пациента продолжается жар, а сам он так медленно идет на поправку. У него болел левый бок. Софья мазала больное место йодом и клала на него компресс. Но боль в боку не исчезала. Софью охватило отчаяние от бессилия местных врачей Елпатьевского и Альтшуллера. Тогда приехал московский врач Щуровский, а вслед за ним прибыл из Петербурга почетный лейб — медик Бертенсон. Он очень беспокоился, что больного лечат не так и тем самым вредят его выздоровлению. Бертенсон считал, что Лёвочка принимал слишком много хинина, чем нанес вред своей печени, которая из-за этого уплотнилась. Он прописал пациенту строгий режим: не утомляться, понемногу гулять, отдыхать днем около полутора часов, ложиться в постель раздетым и есть три раза в день, не употребляя при этом гороха, чечевицы и цветной капусты, пить кофе с молоком не меньше четырех стаканов в день, соблюдая при этом строгую пропорцию. Так, на три четверти молока должна была приходиться одна четверть кофе. Молоко разрешалось пить и без кофе, но только непременно с солью. Также доктор Бертенсон рекомендовал вино или портер, но не больше двух мадерных рюмок в день. Еще была предписана ванна с температурой воды в 28 градусов и с разведенными в ней полутора фунтами мыла. Прием ванны не должен был превышать пяти минут, после этого необходимо было обливаться чистой водой такой же температуры. Такую ванну врач рекомендовал принимать не менее одного раза в две недели. В промежутках между их приемом предусматривалось обтирание тела спиртом или одеколоном с мылом.

Кроме этого, Бертенсон расписал больному курс лечения: масляные клизмы на ночь два раза в неделю; в остальные дни на ночь принимать пилюли, от одной до пяти; в течение месяца трижды в день, за полчаса до утреннего кофе, перед завтраком и перед обедом, выпивать треть стакана слегка подогретой минеральной воды «Karlsbad Muhlbrunn»; прием облаток каломели в течение трех дней по три ежедневно, после трехдневного перерыва курс необходимо было повторить. По усмотрению врача надо принимать сердечное средство строфант, а в случае сильных нервных болей показаны облатки от боли и, возможно, хинин.

Еще было сделано отдельное предписание по режиму питания, предусматривавшее потребление ограниченного количества блюд. Прежде всего каши — гречневая, рисовая, овсяная и молочная манная, а также яйца — сбитые, глазунья, со спаржей, овощи — морковь, репа, салат, предварительно ошпаренный кипятком, из фруктов — печеные протертые яблоки и вареные плоды.

Теперь, подумала Софья, она уже больше ни за что не позволит мужу набрасываться на еду, с которой больной желудок плохо справлялся, ведь у Лёвочки почти не было зубов и пища оставалась непереваренной. Врачи также советовали Софье обязательно примешивать к вегетарианским супам мясные бульоны, но чтобы муж не догадывался об этом. Она не без гордости заявила докторам, что уже давно так делает.

Однако после отъезда Бертенсона Лёвочке стало совсем плохо. Температура поднялась до сорока градусов, пульс был 150 ударов в минуту, дыхание частым. Положение выглядело безнадежным. Врачи диагностировали у больного катаральное двухстороннее воспаление легких, которое оказалось к тому же еще и ползучим, а потому смертельно опасным. Несколько дней и ночей Лёвочка находился между жизнью и смертью, в руках Божьих. Софья раскаивалась в том, что так мучила его все эти годы, но она была бессильна что-либо вернуть и исправить. Ей оставалось только жалеть любимого человека и надеяться на то, что ей не удастся пережить его.

Теперь у постели больного дежурили двое врачей, местный Волков и ялтинский Альтшуллер, которые сменяли друг друга через ночь. Надежды на выздоровление больного больше не было. Лёвочка стонал и постоянно просил открыть окна. Врачи избегали Софью, не решаясь обнадежить ее. Им не хотелось врать ей и лукавить. Никто из них не брал денег. Кроме докторов дежурили все родные: Маша, Сережа, Саша и, конечно, Софья. А вновь прибывший в Гаспру Щуровский постоянно следил за сердцем больного. Наконец, все с облегчением вздохнули: «Кризис, кажется, миновал». Теперь по утрам больному можно было расчесывать гребнем волосы и умывать лицо. Лёвочка был совсем немощный. Его осторожно сажали в больничное кресло, подвозили к окну, чтобы он мог видеть море и больше не говорить: «Пора старинушке под холстинушку». Зато он уже снова читал сам книги, письма и газеты. Сам ел и пил.

Только — только Лёвочка оправился от тяжелой болезни, как в середине апреля захворал снова, теперь уже брюшным тифом, опять оказавшись на пороге смерти. Софья просто окаменела, услышав диагноз врачей. Как она будет жить без него? Вместе с мужем, казалось, умирает и

она. Кто-то из докторов говорил, что дела совсем плохи, другой уверял, что больной наверняка выкарабкается, а третий просто молчал. Физическая усталость совсем притупила горе Софьи. По ночам она сидела у постели своего мужа, дрожа от холода, но ни разу не сомкнула глаз и не позволила себе положить голову на подушку.

Слава богу, тиф миновал, но Лёвочка все еще лежал в постели и говорил, что ждал третьей болезни и смерти. Он пребывал в скверном настроении. А Софья молилась, и это, как всегда, ей помогало пережить это тяжелое время, которое было сравнимо с тем, что она испытала после смерти Ванечки.

Теперь ее беспокоило большое количество людей, занимавших все флигели. Каждый день за столом завтракали и обедали девятнадцать человек. Сама Софья не могла хозяйничать здесь, ведь она была не у себя дома. Прислуга же едва справлялась. Наконец-то собрались все дети, многие были со своими женами или мужьями. Приехали еще близкие и родные: дядя Костя, Жули, Буланже. Забота о них занимала столько времени и сил, что, казалось, некогда жить. Тем не менее Софья не позволяла себе распускаться и плакать. Напротив, она хотела выглядеть бодрой, перестала беспрестанно расспрашивать докторов о состоянии мужа. Ответом ей был сам пациент, демонстрировавший свою потрясающую волю к жизни. Он шел на поправку. Силы же Софьи были совсем истощены. Она похудела и постарела на целых десять лет! Но она думала не об этом, а о том, где найти постоянного домашнего доктора для мужа, который должен быть человеком порядочным, приятным и любящим Льва Николаевича. Также она думала и о том, сколько это будет стоить — определила месячную плату доктору в 100 рублей.

В Гаспру приехал молодой врач Никитин, чтобы следить за здоровьем дорогого пациента. А Софья в это время отправилась в Москву по делам, доверив мужа Сереже, Мише, Коле Оболенскому и Саше. Лёвочка теперь уже ходил по комнатам, хоть и с палочкой. Через несколько дней вернувшись в Гаспру, она нашла мужа снова захворавшим, мучающимся инфлюэнцей и поносом. Пришлось снова уповать на небеса.

Наконец 25 июня 1902 года вся большая толстовская семья выехала из Гаспры с заболевшей Сашей, которую Сережа нес на руках до коляски и всю дорогу ухаживал то за сестрой, то за отцом. Их пришли провожать ялтинские доктора Альтшуллер и Елпатьевский. До Севастополя Толстые плыли на пароходе, где познакомились с А. И. Куприным. А потом уже добирались в специальном директорском вагоне начальника Московско-Курской железной дороги. Лёвочка благодарил Бога за болезнь, которая

помогла ему многое понять, в том числе «верить батюшке отцу Амвросию, а не батюшке Альтшуллеру». Сама же Софья думала о том, что в словах мужа о спасении больного хорошей сиделкой, терпеливо кормящей его с ложечки, регулярно делавшей массажи, постоянно заботящейся о том, чтобы он поправился, — вся правда.

Глава XXVIII. «Не удержать!»

В Ясной Поляне жизнь снова вошла в прежнее русло. Лёвочка потихоньку выкарабкивался из болезни, даже пополнел, оказавшись в привычной среде, и опять начал писать. Горький был прав, когда говорил Софье в Гаспре, что «гений сильнее смерти».

Софья решила оставить в прошлом все суетные счета, взаимные упреки и осуждения и больше никогда не нарушать крепость своих отношений с мужем ни одним движением пальца. Ей нравилось смотреть, как ее Лёвочка работает над «Хаджи Муратом», но безумно раздражала его легенда «Разрушение ада и восстановление его», переполненная упреками к Церкви. Когда Софья читала эту гнусную, злобную клевету на православную церковь, ей хотелось плакать. Тем не менее у такого взгляда были сторонники, например, даже в очень просвещенной Германии прошел суд над Лёвочкой за его ответ Синоду, так оскорбивший религиозные чувства саксонского гражданина Виггхорна, что он представил суду целый обвинительный акт против писателя. Однако лейпцигская судебная палата оправдала русского классика, посчитав его труды вполне понятными и устремленными на восстановление чистоты учения Христа. А в Париже в это же время художественный журнал «Ехресс» объявил сбор средств на памятник мужу работы Паоло Трубецкого. Парижане ожидали увидеть на этом торжестве самого Толстого и были горды тем, что их город первым воздвиг памятник живому гению.

Невероятно быстро пролетала жизнь Софьи, наполненная повседневными заботами о внуках, о здоровье детей, о счетах и заказах, об издании сочинений мужа. Целыми днями она была занята, даже для любимой музыки не находила времени. Слава богу, жизнь протекала спокойно, дружно и хорошо. Но вскоре спокойствие внезапно было нарушено из-за дочери Маши и ее мужа Коли, который всегда был ее «тенью».

После 1891 года Толстой не раз возвращался к мысли о передаче своих произведений народу. В 1895 году Софье стало известно, что он сделал какую-то пространную запись в своем дневнике, в которой просил наследников отказаться в пользу общества от своих прав на издание его сочинений, даже тех, что были написаны им до 1881 года. Софья случайно узнала об этом от сына Ильи, а еще о том, что «чужая» ей дочь Маша вместе со своим Колей сделала три копии с этой завещательной записи,

одну из которых она оставила у себя, другую отдала Черткову, а третью брату Сергею. Незадолго до отъезда в Гаспру Маша тайно подписала у больного отца свою копию. Софья была просто поражена услышанным. Она была уверена в своей правоте и считала идею Лёвочки о передаче издательских прав обществу нелепой и антисемейной. Софья любила свою семью и желала ей благополучия, поэтому не собиралась все передавать «обществу», а на самом деле богатым владельцам крупных издательств, таким как Цейтлин и Маркс. В свое время она наотрез отказала Цейтлину, предлагавшему ей один миллион рублей за монопольное право издавать сочинения мужа. Она убеждала Лёвочку забрать бумагу у Маши и отдать ей. В противном случае, грозила Софья, если он умрет раньше нее, она ни за что не исполнит его желание и не откажется от своих прав на его сочинения, даже если бы считала это хорошим и справедливым решением. Муж был вынужден уступить и вручил ей эту злополучную бумагу. А Маша пришла в ярость, кричала вместе со своим Николаем, пугая тем, что обязательно обнародует после смерти отца его завещание, в котором тот просил, чтобы его сочинения не продавались, а его жена собирается торговать ими. Накричавшись и хлопнув дверью, Маша решила тотчас же покинуть Ясную Поляну, но Софья остановила дочь, помирилась с ней, и к общей радости родителей Маша осталась жить, как и прежде, во флигеле.

Вскоре Софья успокоилась, решив, что после смерти мужа вся эта история все равно потеряет смысл. Это было больше похоже на бурю в стакане воды. Ведь даже подписанная мужем копия, из-за которой кипели бурные страсти, не имела никакой юридической силы. Все-таки ей гораздо легче дышалось, когда бумага была при ней, и теперь она ни за что не выпустит ее из своих рук. Все возражения своих оппонентов, что, дескать, запись мужа в дневнике просто так стереть не удастся, Софья легко парировала тем, что дневники эти находятся в музее, ключ хранится у нее и она положит их туда на пятьдесят лет. Что ж, она сумела отстоять не просто свои доходы, а интересы семьи, которые для нее были священны. Теперь Софью больше волновал вопрос, как будет похоронен муж в случае его смерти. Конечно же она хотела, чтобы все было в соответствии с церковными обрядами, даже собиралась обратиться к государю, но дочь Таня стала возражать, напомнив ей об отцовском распоряжении в дневнике, чтобы его похоронили в лесу Старый Заказ, без обрядов и памятников. На это замечание дочери Софья очень спокойно ответила: «Ну, кто там будет копать и искать». Конечно, был один неприятный свидетель, дочь Маша, которая знала о содержании завещания, но она вроде бы успокоилась, урезоненная матерью.

Софья была довольна тем, что завладела завещанием полновластно, усмотрела в этом свою большую победу, позволявшую ей маневрировать не только между детьми, но и среди единомышленников Лёвочки. Имея завещание в своих руках, она, таким образом, возвращала не только деньги, вложенные в издание, но и обеспечивала себе единоличное право на публикацию всех сочинений мужа на последующие годы. Она твердо решила никому ни за что не отдавать завещание, чтобы никто и никогда не узнал об истинном желании мужа.

Теперь Лёвочкин кабинет, по рекомендации врачей, переехал из комнаты под сводами на второй этаж, в комнату рядом со спальней. Кабинет занимал очень светлую комнату с огромным венецианским окном, выходившим на восток. Муж, думала Софья, будет работать над своими сочинениями, окруженный светом. Но, самое главное, было не в этом, а в том, что Лёвочка отныне находился в непосредственной близости от нее и она могла приходить к нему гораздо чаще.

Она должна была все контролировать. Однажды, отдыхая с гостями в зале, Софья почувствовала легкий запах гари. Она быстро направилась к двери, ведущей на чердак, откуда уже начал валить дым. Пожар оказался нешуточным. На чердаке обгорели четыре толстые балки, как раз над спальней Лёвочки. Софьей руководила рука Божья, и она не уставала благодарить Бога за это. Божья рука руководила ею и в выборе мужа. За свою пятидесятивосьмилетнюю жизнь она оценила только трех мужчин: мужа, Урусова и Танеева. Из них главным был конечно же Лёвочка. А вообще, она не любила тех мужчин, которые были ей неприятны физически, как и тех, кто цинично относился к браку. Муж говорил, что женитьба есть церковная печать на прелюбодеянии. Ей было горько это слышать, но она знала, что гениальный человек гораздо лучше в своих сочинениях, нежели в жизни. Еще раз это ее мнение подтвердилось, когда она готовила корректуры «Казаков» для одиннадцатого издания «Сочинений графа Толстого».

В декабре 1903 года Лёвочка заболел, и она подумала, что Бог не захотел продлить его жизнь из-за сочиненной им легенды о дьяволе. А доктор Никитин уверял, что это очередной приступ малярии. Софья досадовала на судьбу, что из-за болезни мужа не попадет на концерт Никита, о чем так мечтала. Но потом жалость к мужу одержала верх. Однажды он, полушутя, сказал ей: «Ангел смерти приходил за мной, но Бог отозвал его к другим делам. Теперь он отделался и опять пришел за мной». Слушая мужа, она успокаивала его, брала его голову обеими руками и нежно целовала. Ему становилось чуть лучше, и он говорил немного

сконфуженно: «Боюсь, что долго вас промучаю». А Софья в это время думала о том, что никогда за долгие годы супружества не имела сил идти против Лёвочки, потому что и по уму, и по возрасту, и по имущественному положению она находилась под властью мужа. Поэтому утешалась музыкой, но исполнение своего долга по уходу за мужем было гораздо важнее. Жажда жизни у Лёвочки оказалась сильнее недуга, и он уже стал готовиться к 75-летнему юбилею, который слегка «щекотал» его тщеславие, но с этой «глупостью» он справился достаточно быстро и легко.

В 1904 году мартиролог Софьи пополнился еще двумя именами очень близких и дорогих ей людей. Так, 1 апреля скончалась Александрин Толстая, которой было уже под девяносто лет, а 23 августа ушел из жизни ее деверь Сергей Николаевич Толстой. В этом же году отправился на Русско — японскую войну сын Андрей, которого она проводила до Тамбова. Софья очень тяжело перенесла развод сына и его второй брак с Екатериной Арцимович, бывшей губернаторшей, бросившей ради Андрея шестерых детей. Лёвочка очень боялся, что сын скоро разведется и со второй женой. Андрей воевал на Дальнем Востоке около четырех месяцев, был контужен, награжден Георгиевским крестом и вернулся домой.

Самым радостным событием, случившимся в их семье за последнее время, было конечно же рождение девочки у дочери Тани 6 ноября 1905 года. После многочисленных неудачных беременностей Таня долго и упорно лечилась у швейцарского профессора, «посадившего» ее на «макаронную» диету, состоявшую исключительно из молочной и мучной пищи. В первый раз ей удалось перейти роковую черту седьмого месяца беременности и благополучно доносить своего ребенка. Теперь вся толстовская семья называла долгожданного ребенка Татьяной Татьяновной. С ее появлением Лёвочка стал дедом аж пятнадцати внуков, среди которых были и двойняшки.

Было много и других событий, которые не сбросишь со счетов. Так, недавно скончалась от чахотки невестка Маня, жена старшего сына Сергея. Но он снова женился, теперь на графине Марии Зубовой, которую все хорошо знали. Софья считала, что она больше подходила ее сыну, а значит, его жизнь станет счастливее. Правительство ненадолго разрешило «злодею» Черткову приехать в Россию, чтобы повидаться с матерью. Софья была уверена, что встреча с матерью — всего лишь повод, а истинная причина заключалась в другом, в том, чтобы увидеть Лёвочку. Она нервничала из-за этого, была очень раздражена и потому не могла удержаться, когда узнала об очередной порубке леса крестьянами, за что тотчас привлекла виновных к судебной ответственности. Крестьянам

грозила тюрьма. Из-за этого у Софьи серьезно обострились отношения с мужем. Он хотел уйти из Ясной Поляны, но помешали обстоятельства. Софья не на шутку захворала. Она всегда расходилась с мужем в отношении к «третьему возрасту», то есть к старости. Он убеждал жену, что старость самый прелестный возраст, но она думала иначе. Ей казалось, что в старости все скверно. Ее день рождения, 22 августа 1906 года, прошел незамеченным. Софью никто не поздравил. Утром этого дня она заболела страшной кишечной невралгией. Душан Петрович Маковидкий, их домашний врач, сделал ей три подкожных впрыскивания атропина. Самочувствие Софьи было ужасным, Лёвочка перепугался и постоянно заходил к ней. Теперь пришло время ему ухаживать за женой. Болезнь давала о себе знать и раньше, еще в июле 1905 года. Она вспоминала, как однажды, когда была в магазине Мюра, почувствовала адскую боль в левом боку, тогда еле сдержалась, а потом слегла на восемь дней. Два гинеколога лечили ее и, казалось, избавили от недуга. Но болезнь просто отступила, коварно притаилась, чтобы спустя время дать о себе знать.

Весь дом был встревожен болезнью Софьи. Дети съехались в Ясную Поляну. Она пролежала несколько дней в постели, страшно мучаясь из-за ужасных болей. Длившаяся больше года женская болезнь привела к очень серьезным последствиям, к фиброме, приведшей к перитониту. Выход был только один — операция. Ночью у нее начались сильнейшие острые боли в левой части живота. Накануне ей исполнилось 62 года. Неужели она уже так стара?! Обеспокоившись своим скверным состоянием, Софья послала телеграмму профессору Снегиреву, прося его совета. А вслед за телеграммой отправили секретаря, Виктора Лебрена, за самим Снегиревым и хирургом Чеканом. Вскоре появился Снегирев с четырьмя ассистентами, осмотрел Софью и диагностировал у пациентки не опухоль, а гнойник. На какое-то время больной стало лучше, и операцию отложили. Муж хохотал над докторами, столпившимися вокруг жены, говорил, что их «семь штук и они ничего не знают». Между тем очень скоро боли повторились с новой силой. Откладывая операцию, Софья дотянула до такого состояния, когда «уже стало невозможно терпеть». Муж стал забрасывать Снегирева телеграммами. Софья лежала в постели, опухоль не спадала, боли не отпускали. Она забеспокоилась, стала просить маленькую иконку, которую хотела положить себе в постель, позвала священника. Софья громко стонала, атропин не помогал. Морфий же домашний врач не решался впрыснуть, боясь нарушить картину болезни, диагноз которой еще не был точно установлен. Вскоре снова прибыл профессор Снегирев, сразу же сделал укол — «полтора сантиграмма морфия», считая, что у пациентки

начался абсцесс. Просил, говоря: «Ради меня это сделайте!» — чтобы вызвали гинеколога Феноменова из Петербурга. Дом был полон докторов, а Софье становилось все хуже и хуже, у нее началась рвота, хотя боли на время утихли. Было решено установить дежурство врачей. 1 сентября, пополудни, приехали доктора Чекан, Улитин и Гайчман, стали готовить операционную комнату, привезли из Тулы медикаменты и все необходимое. Началась суматоха. У Софьи поднялась температура. Врачи совещались, а Лёвочка долго не осмеливался подойти к ней. Потом все-таки тихо вошел в комнату, сел на табуретку подальше от кровати, между дверью и постелью. Она спросила: «Кто это?» Он ответил: «А ты думала кто?» — подошел к ней, подал воды, поцеловал, тихо сказал: «Спи» и вышел. Потом он еще не раз на цыпочках заходил к ней.

На следующий день, 2 сентября, Софье предстояла лапаротомия (вскрытие брюшной полости. — **Н. Н.**). Утром муж отправился на верховую прогулку, а она стала прощаться со всеми, просила у всех прощения, в том числе у няни. В комнату к ней приходили не только родные, но и прислуга. Если бы она умерла теперь, то умерла бы святой, благословляемая всеми, кто ее знал. Так считали многие. Как умиротворяет смерть!

Снегирев, конечно, советовался с мужем, делать ли операцию. Лёвочка совершенно не доверял врачам, а потому уже молитвенно готовился к смерти Софьи. Он отказался от принятия решения насчет операции, сказал: пускай решат жена и дети. Во время операции он ушел в Чепыж, ходил и молился, а перед этим попросил кого-нибудь из детей позвонить в колокол. Если операция пройдет удачно, то должно последовать два удара, если нет, то..., но быстро передумав, просил не звонить, решил, что придет сам и все узнает. После окончания операции Илья с Машей побежали за отцом в лес, нашли его бледным и испуганным. Едва переводя дыхание, они объявили радостную весть: операция прошла благополучно. Муж вздохнул с облегчением. За это время он так устал, так перенервничал! Он пришел к жене, когда она очнулась от наркоза, и Софья стала говорить ему, как это ужасно, когда человеку не дают спокойно умереть. Муж пришел в ужас, увидев жену с разрезанным животом, привязанную к кровати, без подушки под головой, стонавшую гораздо сильнее, чем до операции. Лёвочка назвал происходящее пыткой. Спустя несколько дней, когда здоровье Софьи пришло в норму, он успокоился и прекратил нападать на докторов. После операции врачи стали разъезжаться, но оставался Снегирев, приехала сиделка, а Софья все еще кричала от боли, жаловалась на то, что после операции ей вовсе не лучше, что ей не всю опухоль удалили, что-то

оставили. Тем не менее по прошествии трех недель она в первый раз присела на кушетку в зале. Профессор Снегирев стал уговаривать ее уехать в Гагру. Лёвочка тоже считал, что такая поездка пойдет ей на пользу. Он собирался и сам ради жены поехать на Кавказ. Но Софья считала, что поправится, потому что верит в свои силы и душа вновь вошла в ее плоть. Софья всегда боялась осени, особенно удручающе действовал на нее ноябрь. Всюду грязь непролазная, сырость и кромешная тьма. Лучшее время для ее болезней. Осень не обошла стороной и дочь Машу. Она сильно простудилась, заболела воспалением легких. У нее появились страшные боли в боку, кашель, ей становилось все хуже и хуже, она почти не могла дышать. Маша скончалась 26 ноября 1906 года в час ночи на руках у отца. Ей было всего 36 лет. Лёвочка считал, что четверть часа, проведенные им у постели умиравшей дочери, были самыми важными в его жизни. Но Софью очень волновало ее собственное здоровье.

Со временем она поправилась, и всё вернулось на круги своя. Теперь снова в доме была пропасть народа, своих и гостей, все нарядные, ели, пили, что-то требовали. Софья тоже была нарядно одета, в шелковой шикарной коричневой накидке, отороченной дорогим мехом, с черной маленькой кружевной наколкой на голове и лорнеткой в руке. Ей казалось, что она красива. Она приветливо со всеми общалась, прищуривая близорукие глаза.

Обычно все собирались на площадке перед домом под вязами, обедали, отведывая по десять разных кушаний. Непременно подавалось мороженое. На столе было серебро, а обслуживали гостей вымуштрованные лакеи. После таких застолий у Лёвочки порой побаливал желудок, он с болью взирал на подобную праздность, но чаще, махнув на это рукой, продолжал вести обычную жизнь с поездками по окрестным местам верхом на любимом Делире. Временами, глядя на нарочитую мужнину дистанцированность от семьи, Софья тоже хотела выкинуть какое-нибудь коленце и хоть в чем-то выразить ему свое несогласие. Например, у нее вызывал резкое возражение проект Генри Джорджа, реализация которого не позволила бы ее детям, до сих пор жившим на доходы от земельной собственности, пользоваться ею. Муж, в свою очередь, зачитывал ей письма своих корреспондентов, негативно настроенных по отношению к помещичьей собственности, давая понять своим сыновьям, что так жить нельзя. Те же в ответ демонстративно вставали из-за стола и выходили из зала. А иногда вступали в спор, чтобы позлить отца, оправдывали смертную казнь, задевая его за живое. Такие споры заканчивались хлопаньем дверями. Софью все это раздражало, она

кричала на сыновей, бранила их за непочтительное отношение к отцу.

Она понимала, что необходимо как-то защитить усадьбу от грабежей. Крестьяне все чаще стали без спроса заглядывать в ее владения, чтобы рубить деревья для своих надобностей. Бабы постоянно крали капусту, хворост, унося его огромными вязанками, траву для корма скота, набивая ею здоровенные мешки. Нужно было принимать официальные меры. Ясная Поляна нуждалась в охране.

По совету Андрюши Софья попросила тульского губернатора Арцимовича прислать в усадьбу стражников, которые смогли бы «отобрать у крестьян револьверы и ружья и напугать их». После этого маховик власти заработал, в деревне начались обыски, троих человек арестовали, подозрительных обыскивали, беспаспортных ставили на особый учет. Наступил конец беззаконию. Софья наняла стражника — черкеса Ахмета, который был особенно бдительным защитником господских интересов. Конечно, муж умолял ее, чтобы она убрала черкеса из усадьбы, ведь страшно было смотреть на то, как он тянул за собой на веревке старика, больного грыжей, едва волочившего ноги. Но Софья стояла на своем, становилась все более властной, любила отдавать приказания, бранить за плохо исполненную работу, хотела, чтобы все было под ее контролем, в том числе кабинет и спальня Лёвочки. Он больше не мог работать в своем кабинете запершись, не мог даже на ночь закрыть дверь своей спальни. Она должна была знать, что делал ее муж, с кем разговаривал. Поэтому Софья сняла даже шторы с его окон, чтобы, стоя на балконе, видеть, что происходило в его комнатах. Она не находила себе покоя ни днем ни ночью, желала знать, что он написал за последнее время в своих дневниках, где хранил свою маленькую тетрадку, интимный дневник для одного себя, который он днем засовывал в голенище сапога, а на ночь куда-то прятал.

Лёвочка все это видел и из-за этого мучился, терял силы, а его сердце, с которым он всех мог пережить, как говорил доктор Никитин, теперь стало плохо работать. А каково было ей?! Софья постоянно находилась в заботах, то должна была сменить приказчика, то собрать деньги с крестьян за покос на Калиновом лугу. Тряслась за каждую копейку. За покос она собрала 1400 рублей, а за сад выручила 1200. Она была очень рада этим денежным сборам, потому что планировала все полученные деньги направить на содержание усадьбы. В этом случае ей бы не пришлось искать дополнительные средства. Еще прибавилось почти полторы тысячи рублей за аренду земли. И эти, вырученные ею деньги, должны были пойти на ремонт флигеля и плотины Нижнего пруда. Еще она вспомнила об уплате 400 рублей поденным, учла и эту сумму в своих незамысловатых

подсчетах.

Тем временем ее схватка с расхитителями усадебного добра продолжалась — обокрали пустующий, нежилой флигель, в котором хранился разный домашний скарб: матрасы, гардины, лампы, потом своровали мед из ульев, срубили больше сотни прекрасных дубов, чтобы продать в Туле. Разумеется, Софья не могла не отреагировать на эти ужасные проделки грумантских и яснополянских крестьян. Весь свой праведный гнев она направила на бездельников — стражников, под носом которых происходили кражи. Лёвочка советовал отпустить стражников, от которых нет никакого толка, а один только срам.

Жизнь шла к роковому финалу, и противостоять этому было невозможно. Как и прежде, муж совершал верховые прогулки, наслаждался домашним комфортом, любил вкусную еду, мягкую постель. Софья была очень рада, что дочь Таня поселилась теперь во флигеле со своей маленькой Танечкой. Миша Сухотин в это время жил за границей со своими больными сыновьями. Из детей с родителями проживал еще Андрюша, который развелся со своей первой женой. Младшая дочь Саша была увлечена музыкой. Частенько навещался и старший сын Сергей.

У Софьи, как всегда, было немало забот, связанных с хранением Лёвочкиных рукописей. Ее беспокоил этот вопрос, ведь она заплатила 50 тысяч рублей и не желала, чтобы кто-то, кроме нее, имел к ним доступ. Поэтому она сдала их от греха подальше в Исторический музей, присовокупив к ним еще и часть своего архива, а также письменный стол с принадлежностями. В будущем она намеревалась отдать все рукописи и вещи, чтобы спасти их от возможного бестолкового расхищения детьми и внуками. Теперь Софье приходилось частенько просиживать в музее, разбираясь в бумагах мужа, порой целыми днями. В этой кропотливой работе ей помогал Павел Иванович Бирюков, готовивший в это время свои материалы для биографии Толстого. Еще она составляла каталог их огромной библиотеки, шила, переписывала свои письма, играла на рояле и занималась живописью, забывая в это время о денежных счетах, хозяйстве, неприятностях с прислугой и т. п.

Софья любила писать на пленэре пейзажи, цветы, изучала по книгам перспективу, снова бралась за кисть и писала дочь Сашу, потом стала копировать пейзажи Похитонова, переписывалась с Екатериной Федоровной Юнге, троюродной сестрой Лёвочки, талантливой художницей. Любую свободную минуту она использовала, чтобы взяться за кисть, предаться любимому занятию и таким образом забыть о перенесенной операции, о страданиях, с ней связанных. Теперь она уже

могла «бегать» по выставкам, наслаждаться полотнами Борисова-Мусатова и Нестерова, ужасаться увлечению русских художников декадентством и переживать за дочь Таню, из-за того, что та так и не стала профессиональным художником, ведь многие пророчили ей успех на этом поприще. Но еще больше Софья досадовала на то, что сама не смогла стать художницей, хотя мечтала об этом.

Общение с живописцами, приезжавшими в Ясную Поляну, приносило ей истинное наслаждение. Так, Похитонов, гостивший у них в доме, делился с ней тайнами своего мастерства, демонстрируя только что написанные им пейзажи, приводящие ее в восторг своим изяществом. Софья с удовольствием общалась с Ильей Репиным и его женой Нордман — Северовой, большой оригиналкой, страстно популяризировавшей вегетарианство и нахваливавшей полезные травяные супчики и удобства крутящегося стола, избавлявшего хозяйку от прислуги. Она ценила общение с теми людьми, от которых получала полезную информацию. Например, от знаменитого гостя — ученого Мечникова она узнала много интересных сведений о старости, борьба с которой ей только предстояла.

А муж уже знал один из этих рецептов и в последнее время активно им пользовался. Со старостью он боролся с помощью вегетарианства. Теперь он не мог спокойно слышать крика курицы, когда повар ее резал, не мог смотреть, когда тот вытирал о траву окровавленный нож. Лёвочка перестал пить молоко и есть яйца. По утрам он выпивал горячую воду и съедал хлеб с маслом, а спустя некоторое время прекратил делать и это. Софья сердилась на мужа, а он говорил, что каждый день упрекает себя за то, что когда-то съедал так много лишнего. Он много купался в речке Воронке даже после Ильина дня. Лёвочка чувствовал себя комфортно не со своими гостями, а с Конфуцием.

Поэтому после надоедливых и скучных визитеров он вскакивал из-за стола, крича: «Нумидийскую!» — и, подняв правую руку, бегал вприпрыжку вокруг стола. Ему было восемьдесят два года.

В последнее время Софья постоянно мучилась из-за ужасных подозрений. Ей казалось, что Чертков отнял у нее мужа, что он встречается с Лёвочкой за ее спиной. Поэтому она протестовала против поездки мужа в Стокгольм на 18-й Международный конгресс мира, предпринимала меры для высылки Черткова из России, требовала, чтобы ему запретили появляться в Тульской губернии, в чем ее поддерживал сын Лёва, у которого Чертков просил в долг денег, хотя сам «ворочал» миллионами. В знак протеста Софья даже убегала из дома, и муж с доктором Маковицким находил ее лежащей на траве. Лёва ругал за это отца, хотел возбудить

судебное дело против Черткова за то, что тот осмелился бесплатно опубликовать «Детство», авторским правом на которое владела его мать. В ответ на эти угрозы Чертков лишь гримасничал и показывал язык.

Наконец Лёвочка принял решение: забрать свой дневник у Черткова с тем, чтобы передать его дочери Тане, которая должна была сдать его на хранение в Тульский банк. После этого он пригласил психиатра Россолимо, который поставил Софье диагноз «паранойя» и предписал супругам находиться в разлуке друг с другом. А сын Лёва отреагировал на это событие так: лечить надо не мама, а отца. Конечно, Софья сопротивлялась разлуке с мужем, потому что была уверена, что ее место будет сразу же занято Чертковым. Она написала заявление для газет, в котором сообщала о своей верности мужу на протяжении их долгой супружеской жизни. Потом решила уйти от Лёвочки, но сын Андрюша уговорил ее не делать этого, и она вернулась. А муж успокоил ее своим обещанием больше не видеться с Чертковым.

Но человек предполагает, а Бог располагает. Встречи мужа с Чертковым продолжились, особенно когда тот стал строить огромный дом в Телятинках, в двух шагах от Ясной Поляны. Софья была вне себя, когда узнала, что часть рукописей Лёвочки и семь тетрадей дневников находятся у ненавистного ей Черткова. Всем этим по праву должна была распоряжаться только она одна. Рукописи должны были вернуться в ее руки, и это стало главным условием компромисса между ней и Чертковым. Только тогда она могла позволить ему бывать в Ясной Поляне. Но в ответ Софья слышала лишь одни обещания, в которых чувствовала коварство и обман. Муж и дочь Саша постоянно о чем-то шептались с Чертковым. Когда Лёвочка сидел с ним бок о бок на диване, прикасаясь к нему коленями, Софью всю просто «переворачивало» от возмущения и ревности. Она слышала от Лёвочкиного друга немало оскорбительных слов в свой адрес, например, он говорил, что непременно застрелился бы, будь она его женой. В ответ Софья сорвала со стены мужниного кабинета фотографию Черткова, а заодно и фотографию дочери Саши, а взамен повесила свою. Не раз она врывается в Лёвочкин кабинет с пугачом в руках, стреляла по портретам единомышленников мужа, рвала их на клочки, потом стреляла в воздух, выгоняла дочь Сашу из дома вместе с ее подругой Юлией Игумновой. Так она, как могла, противостояла «захвату» Лёвочки его единомышленниками. Наконец, Саша отправилась в Телятинки, и муж снова стал принадлежать только ей одной.

Между тем старшие дети, Сергей и Таня, постоянно просили Софью расстаться с отцом, в противном случае угрожали назначить над ней опеку.

В результате скандалов с Лёвочкой случился припадок: он издавал странные, мычащие звуки, терял сознание, у него начались судороги. Софья не растерялась: положила к ногам мужа бутылки с горячей водой, на голову — компресс, подала кофе с ромом, поднесла флакон с нюхательными травами и стала молиться. Она просила Бога: «Только бы не сейчас!» Во время этой всеобщей суматохи она хотела забрать портфель с бумагами мужа, но Таня, увидев это, запротестовала, и Софья была вынуждена ретироваться. Благодаря Божьей милости муж выжил.

Несмотря на коварные замыслы своих противников, их «захват» дневников и рукописей мужа, она продолжала заниматься привычными домашними делами: разбирала письма в тетенькиной шкатулке, а также юбилейные телеграммы, чтобы отвезти их в Москву в Исторический музей, перешивала теплую фуфайку и метила гладью платки мужа, работала над корректурами уже двадцатитомного собрания его сочинений, корректурой трилогии, ездила за провизией к Елисееву, чистила кладовую, гуляла с внучкой Танюшкой, играла на фортепиано, записывала в каталоги новые книги, красила скамейки и столбы, писала свои «Записки», читала внукам свой рассказ «Скелетцы», собирала деньги за покос, делала учет проданных книг, вышивала, составляла завещание, «металась по покупкам», возилась с граммофоном, делала корзиночки из яичной скорлупы для внуков, «чинила» зубы, ездила в банк, «порола» платье, писала свой портрет и другие картины, печатала фотографии, следила за малярами, плотниками и штукатурами, ремонтировавшими дом, выслушивала донесения черкеса Ахмета, убирала кабинет и спальню мужа, пила чай на балконе.

Ела мало. Обычно в шесть вечера за обедом она съедала что-нибудь горячее. А до этого, в двенадцать часов дня она выпивала кофе с белым хлебом и кусочком сыра, и потом, уже в десять вечера, пила чай с белым хлебом и вареньем. Как любили шутить ее дети, она не ела, а клевала пищу.

В постоянных хлопотах и заботах проходил день за днем, и ей порой казалось, что она «кипела в смоле». Но не раз она «закипала» из-за ругани, которую ей нередко доводилось слышать в свой адрес. Софья предпочитала ни перед кем ни в чем не оправдываться. Она никогда не лукавила и ни за кого не пряталась. Ей хотелось просто достойно завершить историю своей супружеской жизни, тем более что она подошла уже к ее эпилогу.

Теперь Софье была необходима уверенность в том, что она является единственной обладательницей авторского права, и поэтому она решила проконсультироваться на эту тему с опытным юристом Денисенко, мужем Лёвочкиной племянницы, которому она доверяла. Софья позвала его в свою комнату для конфиденциального разговора и показала доверенность,

выданную ей в 1891 году мужем на управление его издательскими делами. Ее интересовал вопрос: может ли она возбудить преследование литератора П. А. Сергеевко, который без ее разрешения выпустил толстовские сборники и хрестоматии, нанеся ей таким образом серьезный материальный ущерб? Денисенко заверил Софью, что сочинения мужа, написанные им до 1881 года, не являются ее собственностью, а то, что она издает их только по доверенности, никак юридически не оформленной, об этом никто не знает и не догадывается. Софья слезно просила его не разглашать этот факт. После компетентной консультации юриста она решила во что бы то ни стало получить официальную доверенность от Лёвочки, по которой она могла бы с полным правом преследовать охотников до чужих денег и собственности. Но для мужа подобные просьбы были чем-то вроде пакостной отрывки грешной собственности, воплощавшей в себе всю мерзость мира. Слушая его речи, Софья впадала в уныние, думая о своей грядущей нищей старости, которую ей уготовил муж. Что ж, «все печально!», как говорил в подобных случаях ее любимый Ванечка. Софья все больше свыкалась со своей одинокой жизнью (при живом-то муже!) и все чаще оставалась наедине со своими горькими мыслями. Ее сыновья постоянно жаловались на отсутствие денег, и она была вынуждена искать средства для их безбедного существования.

Действительно, дела у них шли не так уж гладко. Андрюша с Ильей частенько обращались к ней за помощью. Андрей после развода с Ольгой отдал бывшей жене и детям свое имение, а сам жил на скромное жалованье, которого, разумеется, ему не хватало. Илья был вообще непрактичным, да и семейство у него было немалым. Софья была вынуждена им помогать, и поэтому самым решительным образом стала требовать от мужа передачи ей всех прав на его сочинения. В противном случае она грозила принять морфий. Лёвочка, конечно, протестовал и твердил одно: он и так уже очень сильно нагрешил тем, что отдал детям свое состояние. Он был убежден, что своим поступком только всем навредил, включая дочерей. Софья же думала о том, что если не будет юридически закреплено ее право на издания мужа за ней раз и навсегда, то все сочинения перейдут в безвозмездную общественную собственность, станут достоянием не семьи, а народа. Поэтому она самым решительным образом сосредоточилась на скорейшем оформлении права наследования на свое имя. Она была убеждена, что при живых наследниках оно не может быть оформлено на абстрактного собственника и, таким образом, принадлежать всем, а не конкретному лицу.

Безусловно, в этих ненавистных хитросплетениях она усматривала

интриганский почерк Лёвочкиного «друга» Черткова. Поэтому в знак протеста Софья продолжала срывать ненавистные ей фотографии своего врага, приглашала в дом священников, чтобы они отслужили в доме молебен с водосвятием для изгнания его злодейского духа. Теперь кабинет мужа был наполнен запахом ладана. Младшую дочь Сашу Софья считала предательницей. Она нередко видела ее, о чем-то перешептывавшуюся с отцом или с оглядкой выбегавшую из его комнаты, боясь, что кто-то подслушивает их разговоры. Софье казалось, что она окружена какой-то «морально непроницаемой стеной», за которой должна была сидеть и томиться, словно в заточении, и принимать все это как наказание за свои грехи, как тяжкий крест, как испытание.

Она хотела знать наверняка содержание завещания, написано оно или нет. Муж, как считала Софья, должен был находиться под ее постоянным наблюдением, она не желала больше отпускать его от себя ни на шаг, пока семья не пригласит «черносотенных» врачей, чтобы завещание Лёвочки признать недействительным. Теперь она часто стояла у окна зала, зорко наблюдая за всем происходившим у въезда в усадьбу: кто приехал, а кто уехал из нее. Софья жаловалась сыновьям на мужа, и они строго расспрашивали отца, есть ли «бумага» и где она хранится.

Наконец Лёвочка решил исполнить пять условий жены, о чем уведомил ее письмом: 1) дневник решил держать у себя;

2) старые дневники нужно забрать у Черткова и хранить в банке; 3) должен дать оценку своему отношению к ней, признаться в любви к ней на протяжении всей их супружеской жизни, ни в чем не упрекнув; 4) ради нее не видеться с Чертковым; 5) она должна разрешить ему выезжать из Ясной Поляны, но только не к Черткову. Когда Софья читала это письмо, муж в это время отправлял дочь Сашу к Черткову в Телятинки за дневниками.

В присутствии Саши друзья — толстовцы очень ловко и быстро скопировали те записи Толстого из всех семи дневниковых тетрадей, которые могли бы скомпрометировать его жену. Дочь передала отцу все тетради, которые он отдал Тане, а Софья, предупрежденная сыном Львом, вырвала их из рук старшей дочери и стала читать. Зять Сухотин отобрал у нее дневник и запер в свой шкаф, с тем чтобы чуть позже отвезти его на хранение в банк. Софья возмущенно кричала, пугала принятием опиума, а муж категорично заявил ей, что уйдет из дома. После этого она успокоилась и позволила Черткову приезжать в Ясную Поляну, но вскоре изменила свое решение. Лёвочка упрямился своего друга пока не приезжать, и между ними, как подметила Софья, завязалась «тайная любовная переписка». Муж робко возражал ей, но она стояла на своем, показывая ему

в качестве доказательства его же дневниковую запись поры молодости: «Я никогда не был влюблен в женщин...»

Их дом теперь, как говорила дочь Таня, был со стеклянными стенами, открытым для всех. Каждый мог проникать в интимные подробности их семейной жизни и выносить на публичный суд результаты своих наблюдений. Софья была согласна с дочерью и продолжала искать ответ на неоднозначный вопрос: кто виноват? Его она нашла в отношении Лёвочки к своей семье. Как он не мог понять простой сути: чем богаче будет она и их дети, а потом и внуки, тем будет лучше всем им. Ведь она была не только женой, но матерью и бабушкой, мечтавшей о благополучии своих наследников. Андрей и Лев уговаривали Софью объявить отца умалишенным, тем самым дезавуировать завещание, составленное им в состоянии помутнения рассудка. Но она решила поступить иначе. Пока она еще не нашла завещания и не знала точно его сути, а потому надумала сама на свой страх и риск опубликовать произведения мужа, написанные им уже после 1881 года. Софья успокаивала себя тем, что даты на этих сочинениях не проставлены. Поэтому можно считать, что написаны они до 1881 года.

Кажется, чутье ее не подвело. Она, догадываясь о существовании завещания, постоянно искала его и однажды нашла маленький дневник мужа. Узнав из него о завещании, испугалась, что оно помешает ее изданию, помешает всему. Софья обвинила мужа во лжи, потому что он долго и упорно отрицал факт написания завещания. Теперь она настойчиво требовала, чтобы он не запирал двери кабинета. 28 октября 1910 года в третьем часу ночи она тихо прошла в его кабинет, зажгла свечу и стала искать «бумагу». Отворила дверь в спальню мужа, спросила о здоровье, удивилась, что у него в комнате горит свет.

Утром Софья вышла из своей спальни, как всегда, в полдень, чтобы поприветствовать мужа и выпить кофе, но, осмотрев дом и нигде не найдя Лёвочку, обратилась к Саше с вопросом, где папа. «Уехал», — ответила дочь и передала ей письмо. Быстро пробежав взглядом письмо мужа, она поняла, что он исчез из ее жизни навсегда. Не дочитав письмо до конца, в слезах и в полном смятении, Софья выбежала из дома и бросилась в Средний пруд. Дочь Саша, секретарь Булгаков и дворник Шураев вытащили ее оттуда. Она была в отчаянии из-за того, что ее спасли. Как же теперь она будет жить без него? Вскоре вокруг нее собрались все дети. Они не утешили ее, хотя и были очень внимательны и учтивы. Кто-то считал, что отец «убивал» ее, а кто-то считал иначе.

День и ночь напролет Софья плакала, страдала и узнавала от своих близких все, что было известно о муже. Так, ее известили, что он побывал у

сестры — монахини в Шамордине и поехал куда-то дальше. Как же жестоко муж поступил с ней! С каждым днем она слабела, перестала есть, только пила воду, бродила по дому, прижимала к груди маленькую подушечку Лёвочки и винила во всем «зверя» Черткова, металась, звала мужа, написала покаянное письмо, просила разрешения повидаться с ним и проститься. Софья причащалась и беседовала со священником, а также с врачом — психиатром.

2 ноября пришла телеграмма: «Л. Н. заболел в Астапове. Температура 40». Софья тотчас же выехала с Таней, Андрюшей и фельдшерицей экстренным поездом на эту железнодорожную станцию, взяв с собой его любимую подушечку. 3 ноября в Астапове ее не пустили в домик, где лежал Лёвочка, и Софья томила в тягостном ожидании и терзалась совестью. 5 ноября приехали доктора Щуровский и Усов, но надежды на выздоровление больного было мало. 7 ноября в шесть часов утра Лёвочка скончался, и Софью допустили к его последним вздохам. 8 ноября его тело повезли в том самом вагоне, в котором она жила все эти дни в Астапове. На следующий день прибыли на станцию Козлова Засека, где поезд ожидала пропасть народа. Все шли за фобом от Засеки до Ясной Поляны. Хоронили. Софья не плакала.

Глава XXIX. «Кипела в смоле»

После смерти мужа Софья Андреевна много дней пролежала в постели, болела, страдала бессонницей и невралгией, у нее все валилось из рук. Мучили воспоминания. Прожив почти полвека вместе с Львом Николаевичем, став с ним единым целым, она не могла осознать, что там, на краю оврага лежит он, ее любимый человек. Она никак не могла свыкнуться с ужасным понятием — вдова. Чувство одиночества сделало дом неприятным, нежилым, без будущего. Теперь в свитом ею когда-то с такой любовью гнезде было холодно и чуждо. Выручали только прежние слуги. Сыновья, которые были для Софьи Андреевны всегда своими, не то что дочь Саша, разъехались. Пока оставались только «Душа Петрович» Маковицкий да Юлия Ивановна Игумнова. Каждый день Софья Андреевна ходила на могилу мужа, разговаривала с ним, просила прощения, приносила цветы, чаще всего любимые им белые и розовые гиацинты, а еще примулы. Принимала сонные таблетки, потому что среди ночи будили мыши, говорила с сестрой милосердия, а потом писала письма Танееву с тихой надеждой на понимание. Софья Андреевна изливала ему всю свою боль и горе, рассказывала о нервной болезни из-за нелюбви к Черткову, который разлучил ее с мужем, о своих страданиях.

Став вдовой, Софья Андреевна не забыла обид, которые ей причинил Чертков. Она приложила немало усилий, чтобы отдалить его от мужа. Как-то она призналась Душану Петровичу Маковицкому в том, что «предпримет все, чтобы его выслали: будет собирать подписи дворян, дойдет до Столыпина, до царя». А уже спустя какое-то время, после того как Чертков был все-таки вынужден покинуть яснополянскую среду, Маковицкий узнал дошедшее до Анны Константиновны, жены Черткова, мнение о том, что «высылку Черткова устроил Андрей Львович». Теперь, когда круг ее жизни почти замкнулся, Софья Андреевна горевала о своем одиночестве, о том, что не смогла побороть в себе чувства нелюбви к «злому, хитрому и глупому» Черткову, не смирилась с тем, что муж так пристрастно любил его. Она сожалела о том, что не позволяла Льву Николаевичу любить кого он захочет, а навязывала ему свою волю, затыкала уши, убегала, хлопала дверьми, когда слышала похвалы мужа и утверждения, что Чертков «самый близкий ему человек». А для нее он был не человеком, а просто дьяволом, с которым ее муж целовался. Конечно, это ее неприятие друга Льва Николаевича, как и борьба за монопольное

владение авторским правом, уже потеряли свою остроту и актуальность, зато всякая неприятная болтовня вокруг ее имени продолжалась.

Теперь Софье Андреевне пришлось заниматься совсем другими проблемами, самой главной из которых стала продажа Ясной Поляны. Смерть мужа еще больше сблизила ее с сыновьями, которые относились к ней с особым вниманием. Порой разговоры с ними получались очень тяжелыми из-за расстроенных денежных дел, которые чаще всего заканчивались вопросами о наследстве отца, о продаже Ясной Поляны, об оспаривании завещания. Софья Андреевна особенно запомнила рассказ Ильи об уходе Льва Николаевича, прокомментированный старым профессором Снегиревым с медицинской точки зрения. Так, профессор констатировал существование особой формы воспаления легких, когда в самом начале болезни происходит «ненормальное возбуждение мозга». Зараженный ядом инфекции подобного воспаления больной бежит из дома сам не зная куда. Лев Николаевич бежал из дома по такому же сценарию, сам не зная куда. Снегирев был убежден, что ее муж больным уехал из Ясной Поляны.

Встречи Софьи с сыновьями заканчивались их скорыми отъездами. Они приезжали в яснополянскую усадьбу только для того, чтобы обсудить денежные вопросы. Как-то они нахлынули все разом и выпросили у нее 1500 рублей, собирали Илью в Америку, чтобы договориться о продаже Ясной Поляны. Она переживала из-за этих грустных, противных и несочувственных ей проектов, из-за намерения Андрея оспорить отцовское завещание. Софья Андреевна желала видеть усадьбу «в русских руках и всенародных».

Дом ветшал, зарастал парк, лес вырубался, хозяйство разваливалось. Конечно, без мужа Ясная Поляна потеряла смысл. Надежды на ее любимых сыновей, которых Софья Андреевна всегда и во всем поддерживала, таяли. Каждый из них был озабочен собственными семейными проблемами, им было не до нее. По сути, она была их донором, помогала деньгами то одному, то другому, выдавая то по две, то по три тысячи регулярно, а порой и больше. Душой она отдыхала только с Сережей.

Чтобы хоть как-то помочь сыновьям, Софья Андреевна решила продать за 125 тысяч рублей хамовнический дом, который у нее выкупила Московская городская дума. Грустно было разорять свои гнезда, где все напоминало о когда-то счастливой жизни. А еще она продала Сытину остаток книг собрания сочинений Л. Н. Толстого своего последнего издания. С этим изданием у нее было много сложностей и неприятностей. 12 февраля 1911 года Софья Андреевна получила телеграмму,

уведомляющую ее о том, что все издание готово. Обрадовавшись этому известию, она стала торопиться с его продажей и отправилась на книжный склад, чтобы сделать кое — какие распоряжения, потом поехала в банк, чтобы уяснить счета, но вскоре узнала, что XVI, XIX и XX тома собрания сочинений арестованы. С утра 21 февраля уже началась продажа нового издания. Софья Андреевна уплатила 20 тысяч рублей за бумагу, более 15 тысяч отдала типографии, а потом полиция опечатала на складе целых три части. Она умоляла пристава не портить книг, когда будут накладывать печать, потом занялась газетными объявлениями о новом издании, но стала сомневаться, что кто-то станет приобретать это собрание с отсутствующими томами.

Вскоре Софья Андреевна узнала, что виновником всего этого безобразия стал цензор Московского комитета по делам печати, который сделал доклад, на основе чего было возбуждено судебное преследование издателей за включение в него «преступных произведений», на которые и был наложен арест. Судебная палата постановила уничтожить XVI, XIX и XX тома 12-го издания за «богохуление» и за возбуждение враждебного отношения к правительству в этих томах. Софья Андреевна побывала в судебной палате и в Цензурном комитете, старалась разжалобить чиновников, чтобы добиться от них списка запрещенных произведений, а заодно и разрешения их перепечатать. Она добились-таки своего. 28 апреля на ее складе в присутствии представителей Цензурного комитета, полиции и представителя типографии произошло снятие печатей с конфискованных книг, а после этого они были перевезены в типографию с целью проведения там вырезки из них запрещенных статей. Слава богу, что все благополучно разрешилось, а то императрица, к которой Софья Андреевна обратилась до этого с просьбой принять ее, отказала в этом, объяснив, что графиня Толстая будто бы обманула Александра III, пообещав ему не продавать отдельно «Крейцерову сонату», а сама опубликовала ее отдельным изданием у подпольных издателей. 12 мая Софья Андреевна уже сдала в типографию весь материал для перепечатывания трех арестованных томов. Так завершилась ее издательская эпопея, стоившая ей многих сил и нервов в ее совсем немолодые годы, притом без какой-либо поддержки с чьей-либо стороны.

В ноябре 1911 года Софья Андреевна, как и планировала, получила деньги от Московской городской думы за продажу дома в Хамовниках. Она решила отдать детям 180 тысяч рублей, всем, кроме Саши. Та, по ее мнению, была и «так богата, и она одна». А сыновья постоянно жаловались на свои плохие дела. Илья, приехав однажды, напугал ее своим ужасным

«застрелюсь». Андрей был очень «жалок своей нервной неустойчивостью». «Приезжали сыновья, — меланхолически констатировала она в ежедневнике в январе 1913 года, — Андрюша, еще нездоровый, и Илья, которому дала займы (якобы) 6000 рублей, и он повеселел сразу. Надолго ли?» Их постоянное безденежье вкупе с равнодушием к тому, что собиралось родителями всю жизнь, порой приводило Софью Андреевну в отчаяние. Однажды, когда вместе с Андреем она разбирала вещи в хамовническом доме и решала, что из них пока поместить на склад Ступина, что перевезти в Ясную Поляну, а что продать, ее охватила острая тоска: «Грустно, все разоряется, все приходит к концу, и, главное, прекрасная, прошлая жизнь умерла, а не продолжается в детях».

Если с московской усадьбой дело все же как-то устраивалось, то куда запутаннее оно обстояло с Ясной Поляной. То, что усадьба после нее должна принадлежать людям, миру, Софья Андреевна осознавала, возможно, как никто другой. Поняла она это сразу же после того, как стала вдовой. Но как и, главное, на какие деньги усадьбу беречь и лелеять?

Идея сыновей (к ней не имел никакого отношения Сергей Львович, поскольку отказался от своей доли наследства. — **Н. Н.**) заключалась в выкупе самой усадьбы на получаемые в «цивилизованных странах» деньги и передаче ее в некую «международную собственность». Землю имения предполагалось продать американским промышленникам за полтора миллиона долларов. С этой целью ее племянник Михаил Кузминский в качестве посредника прибыл 1 января 1911 года в Нью — Йорк. После публикации интервью с ним дело приобрело скандальный характер. Поднялась волна протестов с публикациями писем и статей. Так, Максим Горький, с которым Софья Андреевна не раз встречалась, делился с Анциферовым своими мрачными предположениями на этот счет: «А тут еще письмо из Америки о том, что организовался синдикат для покупки и эксплуатации Ясной Поляны. Знаете ли вы, что по нашим законам тело неотпетого человека владелец земли, в коей оно закопано, может вырыть и увезти... Нехорошо все». Так же думала и Софья Андреевна, говорила об этом сыновьям, снова акцентируя внимание на том, что хотела бы видеть Ясную Поляну «в руках русских и всенародных».

Наконец, не без влияния Софьи Андреевны, в последних числах апреля газета «Утро Харькова» поместила интервью с ее сыновьями, в котором они пояснили свою позицию: «Мы действительно вели переговоры с американскими миллиардерами, но речь шла только о продаже земли, но не усадьбы. Наше общее желание продать все в национальную собственность». Так или иначе, дело с продажей сыновьями имения

американцам было остановлено, а возникшие обстоятельства заставили Софью Андреевну предпринять самые энергичные действия.

В начале мая 1911 года по просьбе сыновей она отправилась в Петербург обсудить возможность продажи Ясной Поляны. У нее состоялась встреча с Петром Аркадьевичем Столыпиным. Премьер был давно знаком с их семьей как сын старинного приятеля мужа по Севастополю. Во время этой встречи Софья Андреевна поверила, что Столыпин «вполне понимает необходимость покупки Ясной Поляны» государством, и 10 мая, по его рекомендации, в Зимнем дворце через свою знакомую гофмейстерину Елизавету Нарышкину она передала обращение к царю с просьбой о приобретении усадьбы в государственную собственность. А уже 28 мая «Русское слово» сообщило о решении правительства выкупить у С. А. Толстой и ее сыновей Ясную Поляну за 500 тысяч рублей. Именно такую сумму запросила она с сыновьями.

В середине июня в яснополянскую усадьбу прибыли чиновники из Петербурга и Тулы для оценки имущества. Были оговорены все условия, по которым Софье Андреевне было гарантировано пожизненное право проживания во флигеле, а после смерти ее и сыновей — погребение рядом с могилой мужа. Началась опись вещей дома, в июле приехал землемер, но осенью все вдруг затормозилось.

В октябре «Русские ведомости» ошеломили Софью Андреевну неожиданной новостью: «правительство сняло с очереди покупку Ясной Поляны». Ей было над чем призадуматься. Могла ли резкая перемена мнений при дворе по поводу выкупа Ясной Поляны каким-либо образом быть связана с убийством Столыпина в сентябре 1911 года? Ведь выкуп, по предложению Столыпина, должен был происходить через Крестьянский банк — его детище. Так что, вполне вероятно, полагала вдова, он сам активно содействовал проекту национализации ее усадьбы. Правда, в той их майской беседе Петр Аркадьевич высказал небезосновательные опасения относительно «церковных веяний». Когда его не стало, они незамедлительно дали о себе знать.

Потом Софье Андреевне стало известно о серьезных трениях и дебатах на заседании Совета министров 14 октября. Ясная Поляна была оценена в 200 тысяч рублей. Эту сумму при Столыпине предполагалось выплатить через Крестьянский банк, а выплату дополнительных 300 тысяч правительство брало на себя. Но на заседании против этого очень резко выступили министр народного просвещения Л. А. Кассо и обер — прокурор Синода К. Саблер, не желавший «за казенный счет» «увековечивать память отшельника, отлученного от Церкви».

Формально вопрос так и остался «открытым», как сообщали те же «Русские ведомости». Но Софье Андреевне было ясно: дело обретало совсем иной характер. Поэтому 18 ноября она решила незамедлительно предпринять еще одну попытку по спасению Ясной Поляны и написала очередное письмо Николаю 11, в котором сообщала: «Если русское правительство не купит Ясную Поляну, сыновья мои, находящиеся, некоторые из них, в большой нужде, принуждены будут, хотя и с глубокой сердечной болью, продавать ее участками или полностью в частное владение. И тогда сердце русского народа и потомков Льва Толстого дрогнет и опечалится тем, что правительство не защитило колыбели и могилы человека, на весь мир прославившего русское имя... Не позволяйте бесповоротно погубить Ясную Поляну, допустив продажу ее не русскому правительству, а частным лицам».

В действительности Софья Андреевна оказалась заложницей собственных детей, а потому мучилась из-за своей раздвоенности: как помочь детям и как сохранить усадьбу? А «церковные веяния» всюду гуляли в залах Зимнего дворца. Еще как-то мог содействовать успешному завершению дела министр финансов В. Н. Коковцов, сторонник Столыпина. Но у него не было того авторитета, которым обладал премьер. 20 декабря при очередном просмотре Особого журнала Совета министров на определенной странице царь оставил запись, которая поставила точку в яснополянской истории: «Нахожу покупку имения гр. Толстого правительством недопустимой». Здесь же попутно предлагалось Совету министров обсудить размер пенсии, могущей быть назначенной вдове писателя. Этот размер государственной помощи оказался весьма значительным — десять тысяч рублей в год. С такими пенсиями тогда уходили в отставку чиновники высочайшего статуса. Софья Андреевна была польщена и ответила Коковцову письмом, в котором выразила свою величайшую благодарность государю.

Что ж, приходилось лишь сожалеть о том, что правительству не суждено было выкупить Ясную Поляну. Если бы это случилось, думала Софья Андреевна, судьбы ее сыновей могли бы сложиться иначе, более счастливо, а ей самой не пришлось бы изливать безысходную опустошенность на страницах дневников, наблюдая за тем, как дети тратят жизнь на что попало, без особых размышлений и в свое удовольствие, а став пожилыми, берутся за перо, чтобы заняться литературой, а главным образом, чтобы писать мемуары. Сыновья не стали сторонниками отцовского отрицания всех материальных сторон жизни. Ее «Львовичей», кроме, пожалуй, Сергея, в большей степени интересовали вопросы

имущественные: что они еще получают в наследство от отца, а потом от нее, своей матери?

Со временем страсти в ее семье поутихли. Теперь, когда собиралась вся семья, говорили главным образом о постороннем, о жизни, протекавшей за пределами Ясной Поляны, в Петербурге или Москве. Исчезали косые, недобрые взгляды, не было уже открытых противостояний. Софье Андреевне казалось, что жизнь в ее доме стала как-то проще и даже безмятежнее.

Гостей в их доме больше не встречал молчаливый упрек мужа, который постоянно мучился собой, и от него эти мучения, как круги по воде, расходились по всей их большой семье. Теперь не надо было ломать голову над малоразрешаемыми проблемами о народе, о смерти и бессмертии, которые были окружающим не по силам. Собираясь вместе, играли в крокет или теннис, совершали конные прогулки по окрестностям Ясной Поляны, а потом усаживались в зале за карточные столы. Сыновья делились с ней своими планами. Так, Илья вновь увлекся живописью, писал этюды с видами усадьбы, затеял издание своей газеты «Новая Россия», писал очерки об отце и Ясной Поляне. Льва притягивали заграничные поездки, он готовился посетить Китай и Японию. Софья Андреевна помогла ему деньгами, но была очень расстроена, когда узнала от дочери Тани, что часть этих денег сын проиграл в Москве. У нее снова был камень на сердце. Андрей отправился с женой в Ниццу. Софья Андреевна нервничала из-за того, что эта поездка обойдется сыну втридорога. Ей ли было не знать о его привычках к первоклассным отелям, дорогим обедам со знакомыми из *grand monde*, среди которых встречались и такие, как великий князь Михаил Александрович. Сын Михаил, пожалуй, чаще других навещал мать со своим большим семейством. Он неизменно галантно целовал ей руку, справлялся о ее здоровье, гулял с ней по парку, беззаботно хохотал с братьями, если они оказывались рядом с ним.

Только Сергей, которому в 1913 году исполнилось пятьдесят лет, все больше осознавал неизбежную соподчиненность между своей жизнью и отцовским делом и стремился понять свою личную ответственность за то, что так или иначе связано с памятью об отце. Сын увлеченно и кропотливо собирал материалы для готовившейся выставки в Историческом музее или составлял «для посетителей» описания Ясной Поляны, своего рода первый путеводитель по усадьбе. Софья Андреевна радовалась, что у нее есть надежный сподвижник по сбережению памяти мужа и по созданию музея в Ясной Поляне, о чем она мечтала, когда еще был жив Лев Николаевич. Но тогда муж отнесся к идее организации музея в родной усадьбе

неодобрительно.

Вскоре Софья Андреевна узнала, что дочь Александра вместе с Чертковым занялась подготовкой трехтомника произведений Льва Николаевича. После того как «американская история» завершилась, к счастью, безрезультатно, а правительственный выкуп Ясной Поляны, увы, не состоялся, дочь стала реализовывать волю отца, заключавшуюся в передаче земли крестьянам. Саша предложила матери и братьям простое компромиссное решение, которое удовлетворяло, как ей казалось, сразу всех: на полученные от продажи трехтомника деньги она выкупает у родственников западную часть имения, которую раздает крестьянам согласно воле покойного отца. Споров не возникло. Крестьянам же дар показался слишком необычным. А Софья Андреевна подумала, что она могла бы еще раньше преподнести крестьянам такой подарок. Как печально все это! Муж лишил семью своих сочинений, а крестьян — земли. Если бы все было в ее руках, она оставила бы права на сочинения, написанные мужем до 1881 года, себе, а всю землю, более 500 десятин, отдала бы крестьянам. Но Лев Николаевич захотел, чтобы все было не так.

Получив за посмертное издание книг отца 120 тысяч рублей, Саша выкупила Ясную Поляну у матери и братьев. Софья Андреевна оставила себе дом, а всю землю западной части имения, согласно воле отца, дочь отдала яснополянским крестьянам на определенных условиях: они не вправе были полученную землю продавать, закладывать или отдавать в аренду. Выкуп земли у братьев был осуществлен на очень выгодных для них условиях, гораздо выгоднее, чем вариант, предложенный правительством. Таким образом, из 826 десятин земли 600 было выкуплено Сашей для передачи крестьянам, а остальные 226 десятин остались за Софьей Андреевной, которая продала свою наследственную часть Саше в пользу крестьян, а на полученные деньги выкупила у детей саму усадьбу.

Оформление выкупа оплачивалось по двойной для этих мест цене, по 500 рублей за десятину пашни при ее реальной цене в 250 рублей за десятину. Кроме того, сыновья получали привилегию в виде долговременной отсрочки передачи крестьянам земли, занятой лесом. Дочь выплачивала Софье Андреевне и братьям 400 тысяч рублей. Если учесть, что сама усадьба в 200 с лишним десятин оставалась за ней, тогда как проект государственного выкупа предполагал для нее лишь пожизненное владение флигелем, то выгода от этой сделки была очевидной. Итак, одна проблема была решена, но на этом их семейные неурядицы не закончились. Нерешенным оставался главный вопрос, связанный с правами на хранение рукописей Льва Николаевича.

Тяжба между матерью и младшей дочерью тянулась почти четыре года, и хотя обе старались не распространять ее на свои личные отношения, все-таки сведения об этом дошли до печати и получили широкую огласку. Еще в конце ноября 1910 года, когда завещание вступило в законную силу, адвокат Н. К. Муравьев сразу же обратился в Исторический музей, где Софья Андреевна хранила часть архивов мужа и своих, с заявлением о необходимости опечатать хранилище рукописей Толстого, чтобы соблюсти издательские интересы их реальной наследницы Саши. Тот же Муравьев подготовил еще и нотариальное завещание, адресовав его типографии товарищества Кушнерева, где говорилось о том, что «согласно завещанию печатание или издание кем-либо сочинений Л. Н. Толстого, помимо А. Л. Толстой, является нарушением ее интересов». Таким образом, приостанавливалась вся издательская деятельность Софьи Андреевны. Был брошен камень в ее огород, и она знала, кто на самом деле его запустил.

В срочном порядке она провела переговоры с ответственными лицами типографии и настояла на том, чтобы эти требования типография отклонила. Ее аргументация была такой: она сделала заказ на печатание двадцатитомного собрания, доставила бумагу, читала корректуры, разбирала рукописи, то есть была целиком и полностью единственной собственницей данного заказа. Софья Андреевна умела отстаивать свои права. Она не желала уступать свои позиции дочери Саше, которую постоянно натравливал на мать Чертков. Конечно же это он стоял за нотариальными запретами адвоката Муравьева. Она была расстроена гнусным поведением дочери и решила нанести ответный и адекватный удар. У нее были очень хорошие отношения с руководством Исторического музея, она пообщалась с представителями совета, а потом подала им бумагу, в которой запрещала кому-либо появляться в той комнате, где она хранила вещи и рукописи мужа. А Саша уже строчила матери ответ с угрозой навредить ее изданиям.

Софья Андреевна еще раз продемонстрировала свою способность отражать страшные удары судьбы. Она совсем оправилась и доказала дочери, что у нее хватит сил урезонить Черткова, вступившего с ней в схватку. Газеты «Русское слово», «Речь», «Русские ведомости» пестрели статьями и обращениями с обеих враждовавших сторон. Узнав об этом, дочь Таня писала матери из Рима: «Я бы во имя любви и памяти мужа, не выносившего борьбы и ненависти, и для того, чтобы спасти и удержать дочь от недостойной и позорящей ее борьбы с родной матерью, я открыла бы ей двери музея и отдала бы на ответственность ее (и общества) сохранность рукописей».

Действительно, дочь Таня оставалась «чистой» от всяческих газетных скандалов. Но Софья Андреевна предпочитала действовать по — своему, не желая уступать «враждебным силам». Поэтому «дело о рукописях» разрасталось, кочуя от председателя совета Исторического музея Н. С. Щербатова к министру просвещения Л. А. Кассо, от них — к министру юстиции И. Г. Шегловитову. Чувствуя слабость юридической аргументации своих интересов, Софья Андреевна пыталась передать рукописи в Академию наук, от которой, в лице А. А. Шахматова, она получила на то согласие. Дело, наконец, попало в Сенат. За это время она успела найти свидетелей, которые могли подтвердить, что муж сам подарил ей свои рукописи, которые она хранила в Историческом музее. Чертков тоже не молчал, опубликовал свои аргументы, а Саша напечатала свои «объяснения».

В 1913 году Сенат подвел черту под этим спором, сделав заключение, что он «не вправе входить в обсуждение того, кому именно принадлежит хранящийся в Историческом музее материал», а будет только обсуждать «законность действий музея, наложившего арест на имущество, не имея на то специальных распоряжений судебных органов». В декабре 1913 года обсуждалась жалоба Софьи Андреевны на министра Кассо, но дело было отложено из-за отсутствия кворума, только в октябре следующего года Сенат предложил министру просвещения «незамедлительно снять арест с рукописей и выдать их в распоряжение гр. С. А. Толстой». Что ж, эта тяжба, не ею спровоцированная, наконец закончилась ее победой.

Теперь Софья Андреевна, легко вздохнув, занялась активной реализацией нераспроданных собраний сочинений мужа через Сытина, который выкупил у нее остатки всех изданий за 100 тысяч рублей. Деньги она раздала сыновьям, а любимой дочери Тане взяла банковский билет в 20 тысяч рублей. Со временем она ограничила свои издательские дела, которые все больше переходили в руки тридцатилетней Саши. Из-за Черткова, общением с которым все больше тяготилась, дочь продала свой дом в Телятинках и купила небольшой хутор вблизи Ясной Поляны, названный ею «Новой Поляной». Таким образом, мать и дочь становились ближайшими соседями, что накладывало на них дополнительные обязательства мирного сосуществования.

Их общими усилиями в Ясной Поляне была построена великолепная купальня, усадьба снова наполнилась смехом и весельем, свойственными Саше. В июне 1914 года они отметили день рождения младшей дочери, пили шоколад, ели пироги, фрукты, сладости, много гуляли по окрестностям Ясной Поляны. Все были очень довольны. Но вскоре

началась Первая мировая война, Саша записалась на курсы сестер милосердия, отправилась в Москву, а потом в санитарном поезде отбыла на фронт. Кроме дочери из семьи Софьи Андреевны были взяты на действительную военную службу сын Михаил, двое внуков, детей Ильи, а Лев отправился на театр военных действий в качестве помощника главноуполномоченного Красного Креста. Илья же уехал на войну в качестве корреспондента столичной газеты.

Яснополянская усадьба опустела. Война потребовала от Софьи Андреевны забот о поставках лошадей, фуража, кормов, всего не перечесать, что ей приходилось приобретать по дорогой цене для собственного хозяйства. Для стареющей хозяйки Ясной Поляны это было досадным и убыточным делом. А однажды темной октябрьской ночью в усадьбу нагрянула полиция, которая арестовала Валентина Булгакова, помогавшего ей описывать их семейную библиотеку, а потом забрали еще и Маковицкого. Оказалось, что они совместно с другими толстовцами подписали пацифистское обращение: «Опомнитесь, люди — братья!» От Софьи Андреевны и ее детей посыпались телеграммы и ходатайства в различные инстанции. Спустя год под залог, внесенный Сашей, был освобожден Булгаков, а потом и «Душа Петрович», которые вскоре были совсем оправданы.

Раскаты войны все чаще доносились до Ясной Поляны, стали появляться потоки беженцев. Софья Андреевна снабжала их картошкой, капустой, шила одежду их детям, готовила «респираторы от удушливых газов, пускаемых немцами». А сын Миша, служивший прапорщиком у великого князя Михаила Александровича в известной Дикой дивизии, совсем иначе воспринимал войну, которая напоминала ему «псовую охоту». 50-летний сын Ильи, корреспондент «Русского слова», писал репортажи с разных участков фронта, а для его сына Миши, внука Софьи Андреевны, война закончилась пленом. Другой ее внук, Владимир, был награжден двумя Георгиями. Софья Андреевна догадывалась о «русопятствовании» сына Андрея по частому посещению им столичных ресторанов, догадывалась, что не только война, но и вполне мирная жизнь ее сына, прожигаемая в разгулах, может быть очень опасной. Сын слабел не по дням, а по часам, все усилия врачей его спасти были тщетны, болезнь одерживала верх, и Софья Андреевна, вызванная из Ясной Поляны в Петроград, успела только к кончине Андрея. Она вместе с сыном Лёвой доехала через Тулу в Петроград в невообразимой тесноте на поезде, куда они еле — еле втиснулись. Андрея они увидели лежащим на постели, лицо его было зеленовато — желтого цвета, он страдал от плеврита и от печени.

Сын все время стонал, отчего Софья Андреевна затыкала уши и в отчаянии выбегала из комнаты. Он умер 24 февраля 1916 года. Его похоронили в Александро — Невской лавре.

Спасение от нового горя Софья Андреевна видела в работе над рукописями мужа, своими дневниками, а также в ожидании детей, внуков и добрых знакомых. Очень часто в Ясной Поляне появлялся П. А. Сергеенко, которого она не любила, но в ее одиночестве и он был развлечением от скуки. В усадьбу приезжало много непривычных посетителей, гимназистов, молодых людей, «рабочих — революционеров». Время было такое, что ей становилось тревожно, когда она раскрывала газеты и узнавала об убийстве Распутина или скандалах в правительственных кругах. Новый, 1917 год Софья Андреевна встречала с Сергеем, Таней и внуками. Илья был в Америке, Лёва — в Японии, Саша и Миша — на войне. В усадьбу приходили рабочие чугунолитейного завода с Косой Горы, чтобы поклониться дому и ей, вдове писателя. Они пели, говорили речи, держали красные флаги. Она же не радовалась таким гостям, а побаивалась их.

Все чаще и чаще Софья Андреевна узнавала о смерти близких ей людей. В марте 1917 года умер А. М. Кузминский, муж сестры Татьяны. С ним сделался удар. Убитая горем сестра, прожившая с ним 49 лет, приехала в Ясную Поляну, где по сравнению со столицей жизнь казалась более спокойной и размеренной. Но отношения Софьи Андреевны с сестрой не заладились, они часто раздражались друг другом. Помимо внезапной смерти Саши Кузминского была еще одна беда: скончался Михаил Сухотин. Дочь Таня овдовела и теперь жила с любимой Танечкой в Ясной Поляне, во флигеле. Время было странное. Надвигалась волна усадебных погромов, кругом грабили и жгли помещиков. Зловещие слухи ползли отовсюду, наводя ужас на Софью Андреевну. Она слышала от своих яснополянских мужиков, что крестьяне из соседних деревень пойдут громить Ясную Поляну. Вскоре слухи подтвердились. Толпы людей подступали все ближе и ближе к яснополянской усадьбе.

Жизнь превратилась в полусон. Софья Андреевна вместе с дочерью Таней запрягла лошадей, собираясь «бежать», не зная куда. Они сидели в ожидании на сундуках. Потом мужики донесли ей, что первый напор отбили сами яснополянские крестьяне, встретив «бунтовщиков с топорами, рогачами, вилами». Хаос повсеместно и быстро нарастал, вызывая у Софьи Андреевны чувство большой тревоги. Было разгромлено пушкинское Михайловское, а вскоре начались погромы Пирогова — и Большого, где когда-то проживал ее деверь Сергей Николаевич, и Малого — имения ее

покойной дочери Маши, в котором со своей новой женой проживал «Колаша» Оболенский. Теперь он тоже перебрался в Ясную Поляну. Угроза разгрома нависла и над усадьбой сына Сергея в Никольском — Вяземском. А вскоре волнения, как зараза, перекинулись и на яснополянскую усадьбу. Положение Софьи Андреевны было в это время непредсказуемым.

Еще весной 1917 года она, предчувствуя погромы, телеграфировала Временному правительству о грозящей опасности потерять историческую усадьбу. Керенский особым распоряжением направил в Ясную Поляну отряд драгун, но это только подлило масло в огонь. Отряд, никем и ничем не обеспеченный, оказался на крестьянском довольствии. Драгуны вскоре исчезли. А в сентябре вся деревня снова заговорила о погроме усадьбы. Начались сходки, на которых одни припоминали обиды прежних солдат и недавних драгун, другие «пробивали» свой аргумент в пользу растаскивания усадьбы: Толстой де сам отказался от имения и покинул его.

Большинство крестьян были против того, чтобы идти громить толстовскую усадьбу, но сторонники разгрома продолжали будоражить народ и инициировали новые сходки. А в это время стала орудовать банда молодых яснополянцев, возглавляемая Иваном Жаровым. Софья Андреевна направила в Министерство внутренних дел письмо с просьбой принять срочные меры по охране усадьбы. Министерство, идя ей навстречу, командировало в Ясную Поляну П. А. Сергеенко, как лицо, «знакомое крестьянам и близкое покойному Л. Н. Толстому», с целью организации охраны исторического места. Прибыв в усадьбу, Сергеенко отправился на сходки, стал вести переговоры с мужиками. Однако накал страстей не спадал. Счет шел не на дни, а на часы. Дочь Таня, не выдержав напряжения, позвонила в Тулу секретарю губернской следственной комиссии Е. Д. Высокомирному, хорошо знавшему многих яснополянских крестьян, и он тотчас же доложил об этом звонке президиуму губернского совета депутатов. Через несколько часов отряд из двенадцати солдат на грузовике вместе с самим Высокомирным прибыл в Ясную Поляну. При виде вооруженных людей сход затих и крестьяне мирно разошлись по домам. Между тем Крапивенский уезд почти весь полыхал от поджогов. В яснополянском доме никто не спал.

Конечно, активная деятельность Сергеенко, вмешательство косогорской милиции, прибывшие на грузовиках солдаты, тотальный голод, все вместе взятое, сделало свое дело. Все надежды крестьян теперь были обращены на Сергеенко, который правдами и неправдами добился снабжения Ясной Поляны продуктами: мукой, макаронами, фасолью, рисом, сахаром. Теперь яснополянцам можно было отказаться от выпекания

«желудевого хлеба», от которого у всех зубы становились черными. Добычливый Сергеенко, с легкой руки Татьяны Андреевны Кузминской, получил прозвище «батюшки — благодетеля». Софья Андреевна, недолюбливавшая его, тем не менее признавала, что он действительно много хлопотал и помогал им всем. Теперь ей продавали муку на Косой Горе, и Сергеенко же обеспечил ей охрану, прислав пятнадцать милиционеров.

Однако положение Ясной Поляны было совсем неясным. Вскоре последовали всякие демарши со стороны местных представителей власти: попытки отобрать приусадебный лес, намерение лишить Софью Андреевну пенсии. Поэтому дочери Таня и Саша вместе с Сергеенко вновь поставили перед центральными органами вопрос о судьбе яснополянской усадьбы. После этого проблема охраны Ясной Поляны обсуждалась Наркоматом внутренних дел, где были приняты «энергичные» меры по охране усадебного дома, а потом была подтверждена выплата Софье Андреевне ее прежней пенсии в 10 тысяч рублей и назначено единовременное пособие в 16 тысяч рублей «на поддержание усадьбы».

После тихой, спокойной зимы весной 1918 года крестьянские сходки забурили снова. Кто-то в деревне уже готовился к распахке усадебной земли. Закипевшие вокруг «барской земли» страсти вновь заставили Софью Андреевну обратиться за помощью к лучшим представителям тульской интеллигенции, те приезжали на народные сходы и убеждали крестьян в неразумности их решений. В конечном итоге справедливость восторжествовала и яснополянские крестьяне на своем собрании постановили считать Ясную Поляну «национальной собственностью». После этого делегация крестьян направилась сначала к Софье Андреевне, а потом с пением «Вечной памяти» — к могиле ее мужа. Они заверили вдову, что «больше недоразумений не будет».

В Туле на Стародворянской улице появилось «Просветительское общество «Ясная Поляна»». «Уполномоченный общества» Сергеенко решил окончательно поселиться в Ясной Поляне и занял в усадебном доме бывший кабинет Льва Николаевича, что, конечно, еще больше добавило неприятных эмоций Софье Андреевне и ее близким, которые оказались там на положении «бедных родственников». Сначала общество развило бурную деятельность, принося немалую пользу Ясной Поляне. Была даже сформирована специальная дружина для охраны усадьбы, сделана попытка устроить здесь трудовую школу — памятник, организован конкурс на проект нового здания школы.

Софья Андреевна старела и стремительно сдавала свои позиции.

Теперь она все более отстранение смотрела на происходившее вокруг нее. В ежедневнике от 10 декабря 1918 года она писала: «Приехал Сергеенко и привез архитектора соображать предполагаемую для народа образцовую школу. Ничего не удастся, затея велика». Она оказалась права.

Софья Андреевна понимала, что планы общества весьма неопределенные, а бурная деятельность Сергеенко, перекидываясь с одной проблемы на другую, при невероятных пафосных декларациях смахивала на элементарное надувательство. Так, предназначенный для школы «прекрасный сосновый лес исчез куда-то так же таинственно, как и появился», а сам Сергеенко, торжественно открыв заложенный фундамент школы, так и непостроенной в дальнейшем, взялся за прокладку шоссе. Он умел говорить «ласково и сладко», окутывая таинственным туманом все свои начинания.

Софье Андреевне становилось все труднее противостоять «благодетелю», как и добродушной, но нерешительной дочери Тане. Тем не менее в феврале 1919 года она все-таки обратилась в правление общества с заявлением, в котором вместе со старшей дочерью просила общество взять усадьбу под свое управление: «Не имея возможности собственными силами продолжать вести хозяйство в Ясной Поляне и поддерживать в надлежащем порядке усадьбу и дом, в котором жил и работал Лев Николаевич Толстой, и, опасаясь, что все это может прийти в упадок и разорение, мы считали бы наилучшим выходом из создавшегося положения передачу управления как усадьбой, так и всем имением, обществу «Ясная Поляна» в память Л. Н. Толстого, ввиду чего и обращаемся к правлению общества с просьбой принять имение Ясная Поляна в свое управление».

Видимо, дело объективно шло к этому. Не могла, не имела больше сил думать о прохудившихся крышах, заброшенной скотине, запущенном парке женщина, которой исполнялось семьдесят четыре года. Софья Андреевна устала от постоянной смены властей, которые то ставили охрану, то снимали ее. Иногда помогали ей какими-то материалами для починки усадебных построек, а затем опять забывали о ней. Яснополянские крестьяне то отбивали ей поклоны, а то подумывали о том, как бы распорядиться «грахским имением». В конце 1918 года волостной финансовый отдел наложил на Софью Андреевну, как на «представительницу буржуазного класса», контрибуцию в 75 тысяч рублей. Она поехала в Тулу, разобралась, налог отменили, но стало очевидно, что жизнь семьи и судьба усадьбы непредсказуемы. Могло случиться все, что угодно. Поэтому попечение со стороны организовавшегося общества казалось Софье Андреевне спасением. Ей все чаще бросались в глаза

«невоспитанность» Сергеенко, его необоснованная претензия на роль «батюшки — благодетеля», его мания величия.

Она вспомнила, как в конце января 1919 года он словно «подкрался» к ней и «полтора часа душил разговорами» о том, как «из какого-то крапивенского комитета охраны детей приезжали люди, которые хотят выселить» из усадьбы всех родственников Толстого, кроме нее, и «устроить детский приют на двенадцать детей», а ее поместить «в двух комнатах». Софья Андреевна, конечно, не верила, но ожидала всего, и, в конце концов, подобные разговоры достигали своей цели. Их с дочерью заявление было принято, за этим последовала серия различных организационных мероприятий, имеющих вполне благие намерения. Общество обращало все «доходы на культурно — хозяйственные цели», и вскоре организации была выдана «Охранная грамота».

Софья Андреевна чувствовала, что надвигается нечто страшное. В Ясную Поляну пригнали пропасть волов, лошадей и фургонов. Жить стало невыносимо. Ходили слухи о том, что в усадьбу придет Деникин, и тогда в ходе боевых действий усадьба погибнет. Дочь Таня намеревалась уехать из Ясной Поляны. Она ненавидела Сергеенко, устала от семьи Оболенских, от детского шума и от забот о пропитании. А саму Софью Андреевну поджидало одиночество без двух ее любимых Татьян, которым она передарила золотые часы с цепочкой, брошь с большим бриллиантом, кольцо с двумя бриллиантами и рубином, когда-то подаренное ей мужем, а еще золотой браслет — презент своей матери. Она часто ходила на могилу Льва Николаевича, приносила туда гирлянды из цветов, врыла горшок, чтобы ставить в него большие букеты. Играла с внучкой Анночкой сонаты Моцарта в четыре руки, рисовала красками татарник, по вечерам читала Евангелие и изумлялась, до каких лет ей удалось дожить. Задумывалась: где находятся ее несчастные дети и внуки? Ей приходилось много платить поденным, пенсии вдовам, принимать посетителей, которые постоянно прибывали в Ясную Поляну, словно это был Иерусалим или Мекка.

Тем временем Сергеенко так вошел в роль покровителя, что стал привычно покрикивать на Софью Андреевну и ее старшую дочь. Когда они слабо протестовали против его произвольной «распределитовки» скудных продуктов, он сразу же указывал им на их место, велел не вмешиваться «не в свое дело», в котором они ничего, как он считал, не понимали, потому что их «удельный вес равен нулю», и заявлял, что решать все будет только он один. Сергеенко грубил ей, Софья Андреевна в ответ говорила ему, что если бы Лев Николаевич мог слышать, как посторонний человек груб с его женой, то выбросил бы его в окно. Споры учащались и потом разбирались

на заседаниях и правлениях общества, но толку от этого было мало.

«Колаша» Оболенский оказался никудышным хозяином, чувствовал себя временным жильцом в Ясной Поляне и был полностью апатичен ко всему происходящему. Он мог часами лежать на диване в кабинете. Читал, скучал, не мог найти себе места и применения. В общем, усадьбой распоряжались абсолютно чуждые люди, которые именем Льва Толстого выпрашивали себе подачки от правительства. Несправедливо распределяли продукты, окружали себя родственниками и фаворитами, а Ясная Поляна приходила в упадок. Парк зарастал, плодовые деревья гибли, постройки разрушались. В доме все переворошили и перепутали, все изменили. «Только две комнаты Льва Николаевича оставались в том же виде, что и при нем». Для Тани общество придумало символическую должность хранительницы дома, но Софья Андреевна никак не могла добиться исполнения такого пустяка, как вымыть и вставить в доме вторые рамы. Между тем флигель, в котором жил Оболенский, был давно утеплен. Наконец она не выдержала и сама стала мыть окна, стоя на сквозняке. Надо было послушать Сашу, которая советовала Тане попросту выгнать Сергеенко.

Вскоре начались волнения, вызванные слухами, что вот — вот все-таки нагрянут деникинцы. На здании почты уже появился белый флаг. А в самой усадьбе скапливались военнопленные, в деревне расположился целый эскадрон. Софья Андреевна, ужасаясь столпотворению в Ясной Поляне, просила общество, чтобы оно добилось от Совнаркома вывода красноармейских частей из имения, беспокоилась за сохранность усадьбы.

Жена писателя доживала свои последние дни. Понимала, что в земной жизни для нее все завершено и с печалью записала в дневнике 1 августа 1919 года: «Слабею умом и пониманием: «Под гору пошла дорога», как говорил Тургенев». Изменились многие ее представления об устоях жизни. Фантазмагория быта становилась нормой, а редкие проявления прежней жизни считались уже аномалией. На новогодней елке вместо детей и внуков теперь «танцевали солдаты, пленные» вперемежку с горничными и дворовыми. Сергеенко называл это «демократическим балом».

Нередко Софья Андреевна оставалась в большом пустом доме при свете одной лампы или восковой свечи. За один пуд скверного керосина просили 60 рублей. Его доставал все тот же Сергеенко. Она узнала, что разогнали Учредительное собрание, матросы убили двух министров, Шингарева и Кокошкина. Софья Андреевна чувствовала себя спокойнее, когда в Ясной Поляне появился Высокомирный с милицией и солдатами. Он был ей симпатичен, они пили чай, она показывала ему альбомы и

рисунки, каталоги книг. Софья Андреевна продолжала копировать репинский портрет мужа, разбирала письма, дописывала «Мою жизнь», переживала из-за потери шести листов описи яснополянских вещей в верхнем этаже дома. Пересуживала с сестрой, сидя в зале за большим круглым столом, тех, кто составлял круг их семьи и кого уже не было в живых. Из прежних остались только тихий «Душа Петрович», Илья Васильевич Сидорков, камердинер Льва Николаевича, одиноко бродивший по комнатам, милая Ольга Дитерихс, первая жена сына Андрея да «две Тани» — дочь и четырнадцатилетняя внучка.

А «благодетель» Сергеенко доставал то хлеб, то картошку, то овсяные отруби. Ей было тяжело с ним общаться. Он был с ней «то сентиментален, то невозможно груб», но «его помощь была так велика», что ей приходилось терпеть. Порой дочери были вынуждены отдавать свои платья в обмен на картошку или муку. Вопреки всему, Софья Андреевна сумела сохранить привычный распорядок. Так, в обед она по — прежнему быстро и легко почти вбегала в столовую, садилась на свое обычное место у самовара, а после нее усаживались все остальные. Начинался обед, а лакей в белых перчатках «подавал на стол день за днем одну и ту же... вареную кормовую свеклу». Вместо чая заваривали сушеные листья земляники, а кофе заменил напиток из жареных желудей. Вскоре научились сами выращивать картошку, зелень — под грядки для нее пришлось перекопать цветочные клумбы. У каждого был свой «надел».

Несмотря ни на что, посетителей в Ясной Поляне все прибавлялось. «Железнодорожные учителя», «голодные курсистки», «разные комиссары и неизвестные господа», «дети, девицы, гимназисты, члены какого-то трибунала» представляли пестрый фантастический набор. К нему еще прибавлялись делегаты от шведского посольства с графиней Дуглас, корреспондент от французской «Petit Paris», грузин, возглавлявший какое-то правительственное учреждение. А однажды, 18 сентября 1919 года, в Ясную Поляну пожаловал М. И. Калинин с «хорошими манерами» «умного мужика». Он понравился дочери Тане, ходил по комнатам, внимательно осматривал дом, потом за чаепитием на террасе у Софьи Андреевны состоялся с ним разговор, не приведший, однако, к взаимному согласию. Встреча получилась несколько сумбурной из-за того, что у нее перед этим было украдено восьмидесятирублевое ведро, чем она была очень расстроена. А гость в свою очередь явно желал поспорить «с Толстым». Разговор поэтому вышел довольно странным. Калинин доказывал необходимость теперешней войны с белыми, верил в победу большевиков во всем мире, а в ответ слышал от Софьи Андреевны и ее

дочери Тани утверждения о невозможности совершения насилия и убийств кого бы то ни было. Несмотря на возникшие разногласия и взаимные «фехтования» друг с другом, прощались с гостем вполне дружелюбно. Уезжая, Калинин обронил даже что-то вроде прощения.

Софье Андреевне было гораздо приятнее, когда сюда приезжал Валентин Булгаков, «умный и хороший человек», с которым она с удовольствием говорила «о толстовских делах», то есть о работе своих детей, Саши и Сережи, в Румянцевском музее разбиравших рукописи покойного мужа. С Булгаковым ей было легко. Она возвращалась к своим прежним привычным занятиям, когда ей без усталости приходилось помогать Льву Николаевичу переписывать и править его тексты. Сопереживая Сергею и Саше, вспоминая свой опыт, Софья Андреевна предупреждала их о том, «какую огромную и сложную работу» они взвалили на свои плечи. К примеру, те же «рукописи «Войны и мира» побывали в канаве, да и кроме того, были запиханы кое-как в двух ящиках. Это все обрывки, вырезки и трудно придумать систему, как привести все в порядок. Одному работать — немыслимо».

В эти последние месяцы самым радостным казалось сближение с дочерью Сашей. Новая, все перепутавшая жизнь помирила Софью Андреевну со своей младшей, волевой характер которой позволял ей самым решительным образом защищать мать, быть ее опорой. Еще в феврале прошлого, 1918 года Софья Андреевна передала ей и Сереже свои права на рукописи, которыми владела столько лет. Такой нелепый и затянувшийся спор между матерью и дочерью наконец завершился к чести обеих. Дочь познакомила ее со своим проектом нового издания полного собрания сочинений отца.

3 сентября 1918 года Софья Андреевна составила новое завещание, в котором ввела дочь Сашу в число наследников. Теперь она, провожая дочь в Москву, собирала ей с собой еду, испытывая страх за нее, как та доедет ночью, и радовалась каждой новой встрече с ней, когда Саша возвращалась в Ясную Поляну после работы в Румянцевском музее. Казалось, младшей дочери не был страшен ни голод, ни холод, ничто не влияло на ее жизнерадостность.

Как-то в Ясную Поляну приехал литератор Иван Тихонович Полнер, которого Софья Андреевна встретила «с достоинством, устало и спокойно». В свои 74 года она оставалась все такой же высокой, правда, сильно похудевшей. Она «тихо, как тень скользила» по комнатам дома, и Полнеру казалось, что при сильном дуновении ветра Софья Андреевна едва ли смогла бы удержаться на ногах. Разговаривала с ним она без улыбки, но

очень охотно. Она словно потухла, хотя с удовольствием читала вслух свои воспоминания о счастливых днях Ясной Поляны.

Последний свой Троицын день, 8 июня 1919 года, Софья Андреевна встретила так, как уже давно не встречала. Ярко светило солнце, заливались голосистые соловьи, цвели ландыши и сирень. Этот чудный день она провела с Сашей и внучкой Анночкой. Везде слышались песни, бабы плясали и водили хороводы, как прежде, бросали венки в воду. Подумалось: неужели прошлое вернулось к ней?

В конце октября 1919 года у Софьи Андреевны начался сильный жар. Мытье окон на холодном осеннем ветру не прошло даром, и она заболела тем же, чем болел перед смертью ее муж, — воспалением легких. Саша передумала ехать в Москву, осталась с ней, вызвала из Тулы врача и сообщила о болезни брату Сергею. Добраться из Москвы в Ясную Поляну было непросто, и Сергей Львович обратился за помощью к Бонч — Бруевичу, которого хорошо знал еще со времен их первой встречи в Англии у Черткова, благополучно запасся удостоверением за подписью Ленина и приехал в усадьбу 28 октября.

Софья Андреевна очень страдала, но никому не жаловалась и не раздражалась. Чувствовала, что умирает, и не боялась этого. Еще в июле она составила письмо к родным с надписью на конверте «После моей смерти», в нем говорилось: «Очевидно, замыкается круг моей жизни, я постепенно умираю, и мне хотелось сказать всем, с кем я жила и раньше, и последнее время — прощайте и простите меня...» За два дня до смерти она позвала обеих дочерей к себе и сказала: «Прежде, чем я умру, мне бы хотелось сказать вам, что я очень виновата перед вашим отцом. Может быть, он и умер бы не так быстро, если бы я его не мучила. Я горько об этом раскаиваюсь. И еще хотелось вам сказать, что я никогда не переставала любить его и всегда была ему верной женой». Софья Андреевна попросила прощения у всех близких, у сына и дочерей. Она умерла ранним утром 4 ноября. Родные колебались, где ее хоронить. Раньше она просила похоронить ее рядом с мужем, но незадолго до болезни вдруг обмолвилась: «Если нельзя, то в Кочаках, рядом с моими детьми». Дети понимали, что имя отца больше принадлежит миру, чем семье. Софью Андреевну похоронили на Кочаковском кладбище. Так завершился круг ее земной жизни, и началась жизнь вечная.

Основные даты жизни С. А. Толстой

1844, 22 августа — в подмосковном Покровском — Стрешневе у московского гофмедика Андрея Евстафьевича Берса (1808–1868) и его жены Любоми Александровны, урожденной Иславиной (1826–1886), родилась вторая дочь Софья.

1844–1862 — Софья с семьей живет в Москве в кремлевской квартире.
1851, конец апреля — Лев Толстой приезжает к Берсам, чтобы попрощаться перед отбытием на Кавказскую войну.

1856, лето — новый приезд Льва Толстого к Берсам произвел на Софью огромное впечатление, о чем она записала в дневнике.

1860–1861 — Софья учится на курсах при Московском университете и после сдачи экзаменов получает диплом домашней учительницы.
1860–1862 — увлечена другом старшего брата Александра, Митрофаном Андреевичем Поливановым (1842–1913), впоследствии гвардейским офицером.

1862, начало августа — сестры Берс вместе с матерью и братом два дня гостили в Ясной Поляне. В имении деда, в Ивицах, Толстой объяснился Софье в любви.

16 сентября — Толстой сделал Софье предложение, и она дала согласие стать его женой.

17 сентября — именины Софьи, помолвка с Толстым.

23 сентября — Лев Толстой и Софья Берс венчаются в придворной церкви Рождества Богородицы и уезжают в Ясную Поляну.

1863, 28 июня — в семье Толстых родился сын Сергей.

1863–1868 — Софья переписывает черновики романа Толстого «Война и мир».

1864, 4 октября — в семье Толстых родилась дочь Татьяна.

1866, 22 мая — рождение сына Ильи.

1867, 7 июня — издание «Войны и мира» в типографии Каткова.

1868, 1 июня — умер отец Софьи А. Е. Берс.

1869, 20 мая — в семье Толстых родился сын Лев.

1871, 12 февраля — рождение дочери Марии.

1872, 13 июня — рождение сына Петра.

1873–1878 — Софья переписывает черновики романа «Анна Каренина».

1873, 9 ноября — от крупа умер сын Петр.

1874, 22 апреля — рождение сына Николая.

1875, 20 февраля — умер сын Толстых Николай.

Октябрь — ноябрь — Софья опасно больна воспалением брюшины. 30 октября — рождение шестимесячной дочери Варвары, умершей в тот же день.

1877, 6 декабря — рождение сына Андрея.

1878 — Софья Андреевна написала первую биографию Льва Николаевича Толстого, включенную в том его избранных сочинений в серии «Русская библиотека».

Январь — март — знакомство с тульским вице — губернатором Л. Д. Урусовым. Выход в свет романа «Анна Каренина».

1879, 20 декабря — рождение сына Михаила.

1880, 2 мая — приезд И. С. Тургенева в Ясную Поляну.

1881, март — убийство Александра II; разлад в семье, вызванный письмом мужа к Александру III с просьбой простить убийц отца. Сентябрь — поступление сына Сергея в Московский университет на естественный факультет. Переезд семьи в Москву в Денежный переулок. Поступление сыновей Ильи и Льва в частную гимназию Л. И. Поливанова.

31 октября — рождение сына Алексея.

Ноябрь — поступление дочери Тани в Школу живописи, ваяния и зодчества в Москве.

1879, май — покупка дома у коллежского секретаря И. А. Арнаутова в Долго — Хамовническом переулке в Москве.

26 августа — муж объявил Софье о «страстном» желании уйти из семьи.

1880, 21 мая — Софья Андреевна получает доверенность от мужа на ведение имущественных дел.

1884 — Софья Андреевна увлечена светской жизнью.

17 июня — Лев Николаевич решил уйти из семьи.

18 июня — рождение дочери Александры.

1885, начало января — Софья становится издательницей сочинений мужа.

23 сентября — смерть князя Л. Д. Урусова.

16 ноября — Софья Андреевна встречается в Петербурге с вдовой Достоевского Анной Григорьевной.

1886, январь — художник Н. Н. Ге пишет портрет Софьи в московском доме Толстых.

Октябрь — переписывание драмы «Власть тьмы».

Ноябрь — поездка в Ялту в связи с кончиной матери, Л. А. Берс.

1887, *июнь* — переписывание трактата «О жизни и смерти» и перевод его на французский язык.

Сентябрь — передача рукописей мужа на хранение в московский Румянцевский музей.

1888, 28 *февраля* — женитьба сына Ильи на Софье Николаевне Филосо — фовой.

31 *марта* — рождение сына Ивана.

Конец мая — пожар в деревне Ясная Поляна.

24 *декабря* — рождение первой внучки Анны от сына Ильи.

1890 — переписывание дневников мужа.

1891, 25 *февраля* — наложение ареста на «Крейцерову сонату».

13 *апреля* — свидание с Александром III, разрешившим издание «Крейцеровой сонаты» в полном собрании сочинений мужа.

21 *июля* — у Софьи Андреевны возникает желание покончить жизнь самоубийством из-за намерений мужа отказаться от авторских прав на свои поздние сочинения.

1892 — пишет автобиографическую повесть «Чья вина? (По поводу «Крейцеровой сонаты» Льва Толстого)». Полемический ответ Софьи на произведение мужа, описание дружбы с князем Л. Д. Урусовым.

1894, 6 *февраля* — Софья Андреевна уходит из дома в состоянии «безумной ревности» из-за рассказа «Хозяин и работник», переданного мужем Любови Гуревич, возглавлявшей «Северный вестник».

1895, 23 *февраля* — от скарлатины умер семилетний сын Ванечка.

15 *мая* — женитьба сына Льва на Доре Вестерлунд.

3 *июня* — приезд в Ясную Поляну композитора С. И. Танеева.

1895–1900 — Софья Андреевна пишет повесть «Песня без слов», в которой отразилась ее история взаимоотношений с Танеевым.

1897, 2 *июня* — бракосочетание Марии Толстой и Николая Оболенского.

1898, 8 *июня* — рождение внука Льва от сына Льва.

28 *августа* — празднование 70-летия Льва Николаевича, на которое прибыло 40 гостей и было получено более 100 телеграмм.

1899, 8 *января* — женитьба сына Андрея в Петербурге на О. К. Дитерихс.

Октябрь — визит к великому князю Сергею Александровичу с просьбой об определении сына Михаила в Сумской полк.

1900–1902 — Софья Андреевна является попечительницей приюта для беспризорных детей, существовавшего на благотворительные средства.

1901, 26 *февраля* — пишет письмо Победоносцеву и митрополиту

Антонию в связи с отлучением Толстого от церкви.

Сентябрь — уезжает из Ясной Поляны в Крым в связи с болезнью мужа.

1902, 15 *февраля* — получает письмо от митрополита Антония с обращением возвратиться к Христу и церкви.

7 *октября* — Софья Андреевна потребовала от мужа копию его завещания.

1904, 24 *февраля* — начинает писать мемуары «Моя жизнь».

25 *февраля* — у тульского нотариуса Белобородова Софья Андреевна заверила доверенность, выданную ей мужем 21 мая 1883 года на ведение всех имущественных дел.

Март — публикует поэму в «Журнале для всех» под псевдонимом «Усталая».

1905, 6 *ноября* — рождение внучки Тани от дочери Татьяны.

1906, 2 *сентября* — Софья Андреевна перенесла операцию по удалению фибромы.

26 *ноября* — умерла дочь Мария.

1910, *май* — уход Софьи Андреевны из дома.

17 *июля* — профессор — невропатолог Г. И. Россолимо диагностировал у Софьи Андреевны паранойю и истерию.

2 *сентября* — Софья Андреевна устроила в яснополянском доме молебен с водосвятием для изгнания духа В. Г. Черткова.

23 *сентября* — Софья Андреевна «нашла в голенище сапога мужа его дневник для одного себя».

27–28 *октября* — Софья Андреевна в третьем часу ночи тайно читала бумаги мужа в его кабинете, а в 11 утра дочь Александра сообщила ей об окончательном уходе отца из Ясной Поляны. Софья Андреевна бросается в пруд.

2 *ноября* — Софья Андреевна с детьми прибыла экстренным поездом в 23 часа 44 минуты в Астапово.

3 *ноября* — дети Толстого приняли решение о недопущении матери к умирающему отцу.

6 *ноября* — около пяти часов утра Софью Андреевну допустили к мужу, который был уже без сознания.

7 *ноября* — скончался Лев Николаевич Толстой.

9 *ноября* — похороны Льва Николаевича в лесу на краю оврага Старого Заказа.

1911, *май* — обращение Софьи Андреевны к Николаю II с просьбой приобрести Ясную Поляну в государственную собственность; подготовка к

печати сборника писем мужа к ней.

1912— Софье Андреевне пожалована пенсия в размере 10 тысяч рублей от Государственного казначейства. Она приступила к переписыванию и редактированию писем мужа.

1913, *февраль — март* — выкупает 200 десятин у сыновей за 150 тысяч рублей, свою землю продает дочери Саше.

Июнь — посредством газет Софья Андреевна довела до сведения почитателей мужа о возможности посещения Ясной Поляны по четвергам, с 10 до 12 часов.

Декабрь — Софья Андреевна завершила писать автобиографию. 1914–1918 — составила подробное описание вещей дома Толстого.

Декабрь — отдала яснополянский флигель в пожизненное пользование дочери Тане.

1916, 24 *февраля* — в Петербурге умер сын Андрей.

1918 — делала опись библиотеки и спальни Льва Николаевича.

1919, *октябрь* — на заседаниях «Общества «Ясная Поляна»» обсуждалось состояние усадьбы.

4 *ноября* — Софья Андреевна Толстая скончалась, похоронена на семейном кладбище в Кочаках вблизи Ясной Поляны.

Библиография

Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. В 4 т. 3-е изд., испр. и доп. М.; Пг., 1922–1923. Т. 1. 1923; Т. 2. 1923; Т. 3. 1922; Т. 4. 1923.

Горький М. О С. А. Толстой // Литературные портреты. М. 1983.

Жданов В. А. Толстой и Софья Берс. М., 2008.

Жиляев Н. Труды, дни и гибель. М., 2008.

Киреев Р. Т. Яснополянская драма (Л. Н. и С. А. Толстые) // Богини Парнаса [О тех, кого любили русские писатели]. М., 2005.

Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986.

Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1978.

Л. Н. Толстой и его близкие. М., 1986.

Л. Н. Толстой и С. А. Толстая: Переписка с Н. Н. Страховым. Оттава: Славянская группа при Оттавском университете. — Государственный музей Л. Н. Толстого, 2000.

Минувшее: Исторический альманах. Вып. 9. М.: Открытое общество «Феникс», 1992.

Никитина Т. В. Один эпизод из московской встречи (С. А. Толстая и А. Л. Достоевская) // Лев Толстой и Общество любителей русской словесности. М., 2008.

Письма графа Л. Н. Толстого к жене. 1862–1910 [Предисл. С. А. Толстой]. М., 1915.

Поваренная книга С. А. Толстой. Тула, 1991.

Полнер Т. И. Лев Толстой и его жена [История одной любви]. М.; Екатеринбург, 2008.

Сафонова О. Ю. Род Берсов в России. М., 1999.

Снегирев В. Ф. Операция (Из записок врача) // О Толстом. Международный Толстовский альманах. М., 1909.

Софья Толстая. Полина Виардо — Гарсиа. Айседора Дункан. Минск, 1999.

Сухотина — Толстая Т. М. (Альбертини). Моя бабушка // Яснополянский сборник. Тула, 1984.

Толстая А. Отец. В 2 т. М., 2001.

Толстая А. Дочь. М., 1992.

Толстая С. А. Куколки — скелетцы и другие рассказы. С 8 рисунками в красках, исполн. по плану автора худож. А. Моравовым. 1910.

Толстая С. А. Краткая автобиография // Начала. 1921. № 1.

- Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. 1862–1910. М.; Л., 1936.
- Толстая С. А. Моя жизнь. Рукопись. Архив ГМТ. (Целиком не опубликована.)
- Толстая С. А. Моя жизнь // Новый мир. 1978. № 8.
- Толстая С. А. Дневники. В 2 т. М., 1978.
- Толстая С. А. Моя жизнь // Прометей. М., 1980. Т.12.
- Толстая С. А. Моя жизнь: [Избранные главы] // Октябрь. 1998. № 9.
- Толстая С. А. Умру душой и телом только твоей женой// Слово. 1999. № 5.
- Толстой — это целый мир: статьи и исследования. М.: Пашков дом, 2004.
- Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1968.
- Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1969.
- Труайя А. Лев Толстой. М., 2005 (см.: часть IV. Соня).
- Фет А. А. Мои воспоминания. Ч. 1. М., 1890.
- Фет А. А. Вечерние огни. М., 1981 (см.: стихотворения, посвященные С. А. Толстой).
- Bendavid-Val Lean*. Song without words. National Geographic, 2007.
- Kjetsaa Geir*. Lev Tolstoj. Gyldendal Norsk Forlag ASA, 1999.
- Smoluchowski Louise*. Leon et Sophie. Paris, 1988.

Никитина Н. А. Софья Толстая
Нина Никитина. — М.: Молодая гвардия, 2010. — 261 [11] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1229).
ISBN 978–5–235–03214–9

Эта книга будет безусловно интересна ценителям творчества Льва Николаевича Толстого. Быть спутницей жизни гениального человека необычайно сложно. Культуролог и писатель Н. А. Никитина рассказывает о Софье Андреевне Толстой, разделившей судьбу классика русской литературы и посвятившей после его смерти свою жизнь сохранению его памяти.

УДК 821.161.1.0(092) ББК 83.3(2Рос=Рус)6=8

Никитина Нина Алексеевна

СОФЬЯ ТОЛСТАЯ

Главный редактор А. В. Петров

Редактор И. И. Никифорова

Художественный редактор Е. В. Кошелева

Технический редактор В. В. Пилкова

Корректоры Т. И. Маляренко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 21.08.2009. Подписано в печать 23.12.2009. Формат 84х108/32.

Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Уел. печ. л. 14,28+1,68 вкл. Тираж 4000 экз. Заказ 93200

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Суцеская ул., 21.

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Суцеская ул., 21

ISBN 978–5-235–03214–9

notes

Примечания

1

Козел отпущения (*фр.*).

Жертва (*фр.*).